

**В данной книге,  
использованы журнальные иллюстрации**

**Художников:**

**Андрея КАРАПЕТЯНА  
«ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ»**

**Евгении СТЕРЛИГОВОЙ  
«ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ»**

**Э.ГОРОХОВСКОГО  
«ДНИ ЗАТМЕНИЯ»**

**Гарифа БАСЫРОВА  
«ТУЧА»**

**В.РОДИНА  
«ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА»**

**ПУБЛИКАЦИИ:**

**«ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ»  
Уральский следопыт 1989 №4,5**

**«ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ»  
Уральский следопыт 1990 №5**

**«ДНИ ЗАТМЕНИЯ»  
Знание-сила 1987 №5-8**

**«ТУЧА»  
Химия и жизнь 1987 №8-10**

**«ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА»  
Изобретатель и рационализатор 1985 №7,8**

**СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА**

**БРАТЯ СТРУГАЦКИЕ  
В ЖУРНАЛЬНЫХ  
ИЛЛЮСТРАЦИЯХ**

**Выпуск 5**

**Сборник**

**СТРЕЛА ВРЕМЕНИ**

**2020**

## ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ

### (Сценарий трехсерийного фильма)

Чужая планета среди звезд: огромный пятнистый красно-оранжевый серп, неподалеку — два серпа поменьше, луны этой планеты.

Серп стремительно надвигается, тьма застилает экран, и одновременно — механический, прерываемый помехами голос начинает монотонно читать текст радиограммы.

ПЛАНЕТА САРАКШ БАЗА ПРОГРЕССОРОВ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ ВЧЕРА ВЫЕЗДНОЙ ВРАЧ БАЗЫ ТРИСТАН ГУТЕНФЕЛЬД ВЫЛЕТЕЛ НА СВОЕМ БОТЕ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЛЬВА АБАЛКИНА ДЕЙСТВУЮЩЕГО В РОЛИ ШИФРОВАЛЬЩИКА АДМИРАЛТЕЙСТВА ОСТРОВНОЙ ИМПЕРИИ К НАЗНАЧЕННОМУ ВРЕМЕНИ НЕ ВЕРНУЛСЯ НА СВЯЗЬ НЕ ВЫХОДИЛ О ПРИБЫТИИ НА ТОЧКУ РАНДЕВУ НЕ ДОКЛАДЫВАЛ...

Ночь, проливной дождь. Панически мечутся лучи прожекторов, отвратительно воеет тревожная сирена. Вспышки выстрелов, треск автоматных очередей.

Грубо клепанный железный борт какого-то сооружения. Распахивается люк, из него выскакивает рослый человек в пятнистом комбинезоне, простоволосый, оскаленный от напряжения и ненависти. На плече у него висит безжизненное тело, облаченное в обтягивающий блестящий черный костюм.

Человек в комбинезоне огромными скачками несетя сквозь дождь, тьму и прожекторные сполохи. Под ногами у него бетонные плиты, проросшие на стыках мелкой травкой, вокруг угадываются безобразные военные сооружения — капониры, поворачивающиеся уши локаторов, Сторожевые башни, с которых вспыхивают прожектора и выстрелы.

Человек в комбинезоне бежит к громадному грузовику с трейлером. На трейлере громоздится непривычного вида летательный аппарат, похожий на большое яйцо тупым концом вниз. Около трейлера — несколько охранников в мокрых плащах с капюшонами. Они стреляют из автоматов навстречу бегущему, но попасть в него невозможно: он передвигается с невероятной скоростью непредсказуемыми зигзагами, временами исчезая напрочь и вновь появляясь там, где никто не ожидает его увидеть.

Он набегаёт на охранников — неожиданно сбоку. Плотные мужики в плащах катятся по бетону, как пластмассовые кегли. Высоко в воздух взлетает, болтая оборванным ремнем, выбитый из рук автомат.

А человек в комбинезоне уже на трейлере. Он пытается раскрыть дверцу яйцеобразного аппарата. Дверца не открывается. Пули с визгом отлетают от матовой брони. Человек в комбинезоне хватается вялую руку мертвеца и прижимает мертвую ладонь к отпечатку пятерни рядом с дверцей, и тогда дверца распахивается.

Яйцеобразный аппарат абсолютно беззвучно взмывает в мокрую тьму, сопровождаемый лучами прожекторов и трассами автоматных очередей.

...СЕГОДНЯ НА ЕГО БОТЕ НА БАЗУ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» ПРИБЫЛ ЛЕВ АБАЛКИН ПО ЕГО СЛОВАМ ТРИСТАН ГУТЕНФЕЛЬД ПРИ НЕИЗВЕСТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ БЫЛ СХВАЧЕН И УБИТ КОНТРАРАЗВЕДКОЙ ИМПЕРСКОГО АДМИРАЛТЕЙСТВА СПАСАЯ ТЕЛО ГУТЕНФЕЛЬДА ЛЕВ АБАЛКИН БЫЛ ВЫНУЖДЕН РАСКРЫТЬ СЕБЯ ПРИ ПРОРЫВЕ ФИЗИЧЕСКИ НЕ ПОСТРАДАЛ ОДНАКО НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ ПСИХИЧЕСКОГО СПАЗМА ПО ЕГО НАСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОСЬБЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ РЕЙСОВЫМ ШЕСТЬСОТ ОДИННАДЦАТЬ...

Полос чужой планеты. Ночь. Снежное безмолвие. Стремительно несутся по экрану очертания торосов, снежных дюн, ледяного крошева.

И вдруг небольшой город встает из снегов. Светятся круглые окна приземистых зданий, отсвечивает матовая броня яйцеобразных аппаратов, рядами стоящих на площади перед главным зданием. В отдалении — странные очертания массивных конусообразных сооружений. Это космические корабли. Они кажутся мохнатыми живыми существами. Они словно покрыты длинной черной шерстью, и по этой шерсти пульсациями идут волны — от вершины конуса к основанию.

Яйцеобразный аппарат садится перед главным входом, человек в комбинезоне с мертвым черным телом на руках тяжело спрыгивает в снег. Он входит в здание, навстречу ему из света бегут люди в легких ярких костюмах.

...ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕЛА ТРИСТАНА ГУТЕНФЕЛЬДА ПОКАЗАЛО, ЧТО СМЕРТЬ НАСТУПИЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОБРАТИМОГО РАЗРУШЕНИЯ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ВЫЗВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕИЗВЕСТНОГО ТОКСИНА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НЕСОМНЕННЫМ

## ЧТО ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ТРИСТАН ГУТЕНФЕЛЬД БЫЛ ПОДВЕРГНУТ ЖЕСТОКИМ ПЫТКАМ...

Один из псевдоживых конусов-звездолетов наливается вдруг красным светом, беззвучно поднимается над снежным полем, делается оранжевым, желтым проходит через все цвета спектра до фиолетового, становится прозрачным— серп местной луны просвечивает сквозь него — и исчезает вовсе.

Голос Максима Каммерера:

— Экселенц вызвал меня к себе в полдень. Это был неожиданный вызов, и я сразу понял, что это неспроста. Он был озабочен и недоволен. Что-то произошло. Что-то чрезвычайное...

Максим вошел в кабинет Экселенца, и Экселенц, не поднимая на него глаз, неприветливо произнес:

— Садись.

Максим сел в кресло у стола напротив него.

— Надо найти одного человека, — сказал Экселенц и замолчал. Надолго. Максим подождал, потом спросил:

— Кого именно?

— Его зовут Лев Вячеславович Абалкин. Он прогрессор. Отбыл позавчера на. Землю с полярной базы Саракша. На Земле не зарегистрировался. Надо его найти.

Он опять замолчал. Поднял, наконец, глаза. Уставился на Максима.

— Есть основания предполагать, что Лев Абалкин скрывается... Ты его найдешь и сообщишь мне. Никаких силовых контактов. Вообще никаких контактов. Найти, установить наблюдение и сообщить мне.

Максим кивнул. Но Экселенц смотрел на него так пристально, что Максим подобрался и повторил приказ:

— Я должен обнаружить его, взять под наблюдение и сообщить вам. Не попадаться ему на глаза, не пытаться его задержать и не вступать с ним ни в какие разговоры.

— Так, — сказал Экселенц. — Теперь следующее. Никто в КОМ-КОНе не знает, что я интересуюсь этим человеком. И никто не должен знать. Работать ты будешь один. Никаких помощников. Отчитываться будешь передо мной и только передо мной. Никаких исключений.

Несколько ошеломленный Максим спросил:

— Что значит — никаких исключений?

— Никаких — в данном случае означает просто: никаких. В ходе поиска тебе придется говорить со многими людьми. Каждый раз ты



будешь пользоваться какой-нибудь легендой. О легендах изволь позаботиться сам. Без легенды будешь разговаривать только со мной. Только!

— Да, Экселенц, — сказал Максим смиренно.

— Далее, — продолжал Экселенц. Он полез в стол и извлек оттуда толстую папку. — Видимо, тебе придется начать с его связей. Все, что мы знаем о его связях, находится здесь. — Он постучал пальцем по папке. — Не слишком много, но для начала достаточно. Возьми.

Максим принял папку. На верхней корочке ее было вытиснено кармином: ЛЕВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АБАЛКИН. А ниже — цифры: 07.

— Послушайте, Экселенц, — сказал Максим. — А почему в таком древнем виде?

— Потому что в другом виде этих материалов нет, — холодно ответил Экселенц. — Кстати, никакого копирования не разрешаю. Еще вопросы есть?

— Сроки?

— Пять суток. Не больше.

— Могу я быть уверен, что он точно на Земле?

— Можешь.

Максим поднялся, чтобы идти, но Экселенц еще не отпустил его. Он смотрел на Максима — снизу вверх и молчал. Потом сказал с нажимом:

— Я хочу, чтобы ты обязательно понял: это очень опасный объект. Ты никогда в жизни не имел дела с таким опасным. Постарайся мне поверить.

Максим криво улыбнулся.

— Запугивать изволите, шеф? — произнес он.

— Иди работай, — сказал Экселенц.

У себя в кабинете Максим уселся за стол и положил папку перед собой. Голос Максима:

— Так. Очень опасный объект. Лев Вячеславович Абалкин, прогрессор. Признаюсь совершенно откровенно: я не люблю профессоров. И никто их не любит. Почему, интересно? Потому что они опасны. Наверное, единственные опасные люди в нашем безопасном мире...

Он раскрыл папку. Первое, что он увидел, — радиограмма о чрезвычайном происшествии на Саракше.

...Значит, он был шифровальщиком имперского адмиралтейства. Я не знаю более омерзительного государства, чем Островная империя на планете Саракш... а имперское адмиралтейство, говорят, самое омерзительное учреждение в этом государстве. Наши бедные прогрессоры из кожи лезут вон, пытаясь сделать эту клоаку хоть немного лучше, но клоака остается клоакой, а прогрессоры делаются хуже. Они становятся опасными... Прогрессор, работавший имперским шифровальщиком и оказавшийся на грани психического спазма, — да, пожалуй, это действительно опасно... Но не настолько же опасно, чтобы напугать Экселенца! Впервые в жизни я видел напуганного Экселенца...

Максим отложил радиogramму и принялся просматривать содержимое папки. Там были фотографии, психосоциометрические таблицы, копии медицинских и педагогических заключений, копии рабочих характеристик, отзывы, отчеты, рапорты. Он внимательно разглядывал фотографии, быстро пробежал глазами документы, а когда попадались твердые квадратики видеоклипов, то вставлял их в настольный проектор и просматривал отснятые кем-то видео эпизоды, — иногда любительские, а иногда вполне профессиональные, сделанные скрытой камерой.

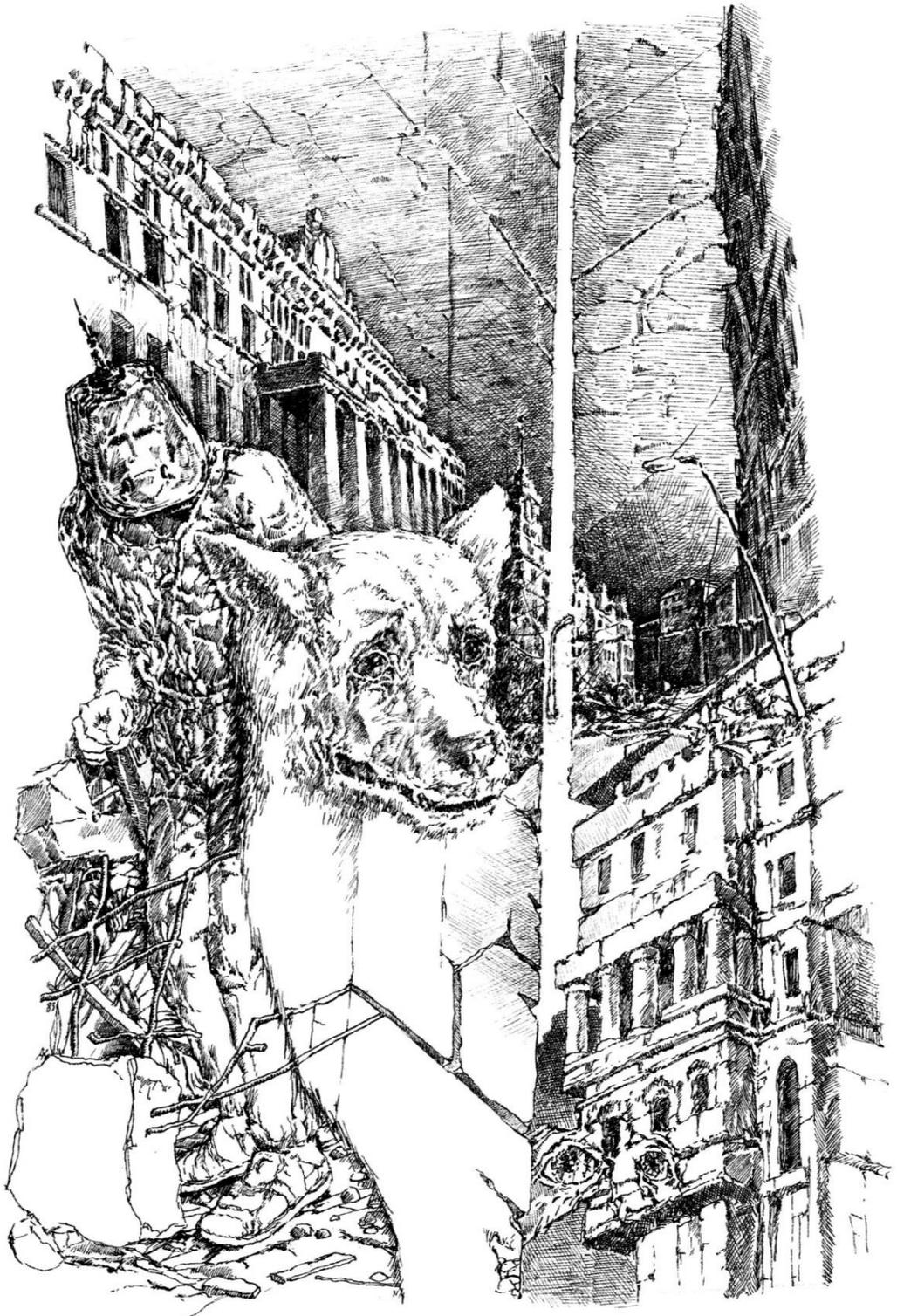
...Так. Это его последняя фотография. Прошлый год... Странно, знакомое лицо. Этого человека я уже где-то видел, только здесь он в форме имперского офицера... Любопытно, где я с ним мог встречаться...

...Так. Родился шестого октября тридцать восьмого. Воспитывался в двести сорок первой школе-интернате. Сыктывкар... Значит, здесь ему лет десять... (На фотографии длинноволосый, дочерна загорелый мальчик, стоит, положив руку на холку лосенку. Школьный сад. Жара. Такие же загорелые ребяташки в отдалении.) Учителем у него был Сергей Павлович Федосеев. Что ж, известный человек. Учитель у него был, прямо скажем, экстра-класс...

...Образование наш Абалкин получил в школе прогрессоров номер три. Европа. Одна из старейших школ прогрессоров. Знаменитая школа. Видимо, мальчик много обещал... Здесь он хорош, ничего не скажешь! (На фотографии двадцатилетний Абалкин — в причудливом средневековом наряде — стоит с прямыми мечами в руках в странной позе, видимо, разыгрывает какой-то прогрессорский этюд. За столом справа несколько незнакомых землян внимательно наблюдают за ним.) А наставником в школе был у него, между прочим, сам Эрнст Юлий Горн. Лично! Ну и ну! Этот мальчик подавал очень большие надежды, с младых ногтей его ведут профессионалы высочайшего класса...

...Вот что интересно. И в интернате, и в школе прогрессоров профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика. И соответственно профессиональные показания: зоопсихология, театральная ксенология. То есть парню с самого начала жизни хотелось заниматься животными, и был у него к этому талант. Как же случилось, что его определили в прогрессоры?..

...Позвольте, а это что такое? Это же голован! (На фотографии Лев Абалкин в походном комбинезоне «следопыта» на фоне оплетенных зеленью руин сидит на корточках рядом с огромной большеголовой пушистой собакой. У собаки такой вид, словно ей не нравится, что ее



фотографируют.) Это наш Абалкин на планете Надежда, операция «Мертвый мир» ... Я помню эту историю: впервые представитель разумных собак принимал участие в экспедиции землян на другую планету... и теперь я вспомнил, где я встречал этого Абалкина... Это было на Саракше за Голубой Змеей... Они прибыли туда изучать голованов: Комов, Раулингсон, Марта и этот угрюмый парнишка-практикант... У него было тогда очень бледное лицо и длинные прямые волосы, как у американского индейца... Я помню, все поразились, как голованы приняли его. Они его полюбили. Голованы любить не умеют, но этого парнишку они полюбили сразу... Тесен мир! Ладно, посмотрим, что с ним стало дальше...

— А дальше его отправляют работать по специальности на Гиганду. Первый опыт самостоятельного внедрения: псарь тамошнего маршала Нагон-Гига, потом егермейстер герцога Алайского. Так выглядят егермейстеры герцога Алайского. (На фотографии Лев Абалкин почти неузнаваем — нелепый балахон, огромный пегий парик с буклями до пупа и с какими-то торчащими перьями. На сворке у него причудливо изогнутые неправдоподобные борзые герцога Алайского, тучного мужика, который присутствует тут же, с брезгливыми губами, в низко надвинутой на брови меховой шапке с ушами до земли.) Егермейстером он проработал два с половиной года, а потом его отправили на курсы переподготовки, и в конце семидесятого он оказался на Саракше, где и был внедрен. Замечательный послужной список: заключенный концентрационного лагеря (четыре месяца без связи), переводчик комендатуры концлагеря, солдат строительных частей, старший солдат Береговой охраны, переводчик штаба частей Береговой охраны, переводчик-шифровальщик флагмана второго подводного флота, шифровальщик имперского адмиралтейства... Вчуже страшно...

На дрянной древней фотографии зафиксирован момент попойки имперских офицеров: мундиры расстегнуты, волосы взлохмачены, морды красные, между ними какие-то полуголые особы женского пола в аллегорических позах, бутылки, воздетые бокалы, дым коромыслом, и посреди всего этого Лев Абалкин в распахнутой сорочке, глаза бешеные, рот разинут не то в песне, не то в крике.

...А это что такое? Похоже на букву «Ж». Похоже также на японский иероглиф «сандзю», что означает число тридцать... Непонятно, что это и зачем сюда положено... Так. Теперь врачи. В интернате — Ядвига Михайловна Леканова... Ну, я уже устал удивляться. Конечно, у этого ребенка лечащим врачом мог быть только действительный член Всемирной академии. Спустилась с горных высот

фундаментальной науки, дабы скромно обслуживать мальчишку из Сыктывкарского интерната. «Правда, в школе прогрессоров за ним наблюдал Ромуальд Кресеску. Это имя я тоже слышал, но не более того... Впрочем, вполне возможно, что у них, прогрессоров, он тоже звезда первой величины. А вот погибший Тристан Гутенфельд — о нем я не слышал никогда и ничего. А между тем он вел Льва Абалкина последние двадцать два года, бесменно. Один. Он и только он. Что само по себе поразительно, если учесть, что Лев Абалкин мотался по всему космосу... Что-то вроде персонального врача... Здоровье нашего Льва Абалкина представляло такую общественную ценность, что к нему был приставлен персональный врач...

Родители. Абалкина Стелла Владимировна, Цюрупа Вячеслав Борисович. Оказывается, он круглый сирота, ему года не было, как они погибли...

...Ну что же, Лев Абалкин, теперь я уже могу начинать искать тебя. Я знаю, кто твой учитель, я знаю, кто твой наставник, я знаю твоих наблюдающих врачей... А вот чего я не знаю, так это зачем Экселенцу понадобилось тебя искать. Ты, конечно, очень странный человек, Лев Абалкин, и может быть, все дело в том, что ты очень ценный человек, Лев Абалкин...

Стоп, стоп, стоп! Меня это совершенно не касается. Приказано искать — ищи. Почему он, вернувшись на Землю, не зарегистрировался, как все нормальные люди? Психический спазм. Отвращение к своему делу. Прогрессор на грани психического спазма возвращается на родную планету, где он не был по меньшей мере пятнадцать лет. Куда он пойдет? Родителей нет, значит, учитель? Или наставник? Это возможно. Это вполне вероятно. Поплакаться в жилетку. Причем скорее учитель, чем наставник. Ведь наставник как-никак твой коллега, а у тебя — отвращение к своему делу. Прежде всего обратимся к информаторию и поищем адреса...

...Федосеев Сергей Павлович. Живет и здравствует на берегу Аятского озера в своей усадьбе с предостерегающим названием «Комарики» ... сейчас ему уже за сто... Мало того, что он великий учитель, он еще, оказывается, и археолог. У него в «Комариках» личный музей по палеолиту Северного Урала... Что же, это будет у меня номер первый.

...Ах, черт побери, какая жалость! Эрнст Юлий Горн вне пределов досягаемости. Некая планета Лу, я даже никогда не слышал о такой. Ему сто шестнадцать лет, а он продолжает работать. И никакие спазмы его не берут. Впрочем, если очень понадобится, доберемся и до планеты Лу.

...А вот до Ромуальда Кресеску я уже не доберусь никогда. В семьдесят втором году погиб на Венере при восхождении на пик Строгова. Значит, остается Ядвига Михайловна Леканова... Сейчас она, оказывается, работает в передвижном институте земной этнологии в бассейне Амазонки. Адреса нет, желающие могут установить с нею связь через стационар в Манаосе. Что ж, и на том спасибо... хотя сомнительно, конечно, чтобы мой клиент в своем нынешнем состоянии потащился плакать в жилетку к своему детскому врачу, да еще в эти первобытные дебри...

...Да. Вот еще шанс. Головановы. Головановы любили Льва Абалкина, и Лев Абалкин любил голованов. У него был друг — голован Щекн-Итрч. Они вместе работали на планете Надежда. Они вообще вместе работали до тех пор, пока умные дяди не определили прирожденного зоопсихолога Льва Абалкина прогрессором на Гиганду... На Земле есть постоянная миссия голованов, где-то в Канаде. Надобно иметь это в виду. Но начинать следует с учителя...

Максим Каммерер вышел из здания КОМКОНа и по бульвару Красных Кленов направился к ближайшей будке нуль-транспортровки. К будке стояла небольшая очередь, человек пять. Последним стоял долговязый юноша с диковинным котом на плече.

Очередь двигалась быстро. Над входом загорался зеленый плафон, человек входил, зеленый свет сменялся красным, потом желтым и снова зеленым. Максим был уже вторым, когда к будке прямо сквозь кусты сирени продрался какой-то запыхавшийся, потный человек с роскошными бакенбардами и, прижимая к груди короткопалые ладони, умоляюще проговорил по-русски с сильным акцентом:

— Очень прошу! Страшная срочность! Судьба!

Его, улыбаясь, пропустили, и он исчез за дверью будки.

Потом настала очередь Максима. Он вошел, закрыл за собой дверь, набрал на клавишном пульте девятизначный код, вспыхнула лиловая лампа у него над головой, зажглись зеленые огни на двери, и Максим вышел в шумящий сосновый бор. От площадки, где стояла будка, разбегались тропинки и дороги с указателями. Максим нашел глазами указатель «Комарики» и двинулся по песчаной, усыпанной хвоей дорожке между соснами.

Усадьба «Комарики» стояла на высоком обрыве над самой водой, открытая всем ветрам. Хозяин встретил Максима без особой радости, но достаточно приветливо. Они расположились на веранде у овального антикварного столика, на который поставлены были: туюсок со свежей малиной, кувшин молока и несколько стаканов.

— По профессии я зоопсихолог, — сказал Максим, накладывая себе малины, — но сейчас выступаю в качестве писателя или, точнее сказать, журналиста. Я собираю материал для книги. Я хочу написать о контактах человека с голованами. Вы, Сергей Павлович, конечно, знаете, что в этих контактах ученик ваш Лев Абалкин сыграл весьма заметную роль... Я, видите ли, и сам был с ним знаком когда-то, но с тех пор все связи утратил и сейчас всячески пытаюсь его разыскать, да все без толку. На Земле его сейчас нет, когда вернется — неизвестно... А я, знаете ли, хотел бы как можно больше выяснить насчет его детства, как у него все это начиналось, почему так, а не иначе... Движение психологии исследователя — вот что меня интересует в первую очередь. К сожалению, наставника его уже нет в живых, друзей его я не знаю совсем, но зато, к счастью, имею возможность (Максим слегка поклонился) побеседовать с вами, его учителем. Я лично убежден, что в человеке все начинается с детства, причем с самого раннего детства... Как вы полагаете?

Старик довольно долго молчал с лицом совершенно неподвижным. А потом вдруг спросил:

— Кто, собственно, такие — эти голованы?

Максим удивился.

— Ну как же... Голованы — это разумная киноидная раса, возникшая на планете Саракш в результате лучевых мутаций...

— Киноиды? То есть собаки?

— Да. Разумные собакообразные. У них, знаете ли, огромные головы. Отсюда — голованы...

— Значит, Лева занимается собакообразными... Добился все-таки своего...

— Видите ли, — возразил Максим. — Я совсем не знаю, чем занимается Лева сейчас, однако двадцать лет назад он голованами занимался — и с большим успехом...

— Он всегда любил животных, — сказал старик. — И более того, животные любили его. Я был убежден, что ему следует стать зоопсихологом. Когда по распределению направили его в школу профессоров, я протестовал как мог, я говорил, что это ошибка, но меня не послушались... Вернее, сделали вид, что послушались, а на самом деле... Впрочем, там все было сложнее. Может быть, если бы я не стал протестовать... — Он оборвал себя и налил гостю стакан молока. — Так что бы вы хотели узнать от меня конкретно? — спросил он.

— Все! — ответил Максим быстро. — Каким он был. Чем увлекался. С кем дружил. Чем славился в школе... Все, что вам запомнилось.

— Хорошо, — сказал старик без всякого энтузиазма. — Я попробую.

Он откинулся на спинку плетеного кресла и стал говорить, глядя мимо Максима.

— Это был мальчик замкнутый. С самого раннего детства. Он ведь был сирота, вы знаете... Замкнутость его была первая черта, которая бросалась в глаза. Но замкнутость эта не была следствием чувства неполноценности, ущербности или неуверенности в себе. Это была, если хотите, замкнутость всегда занятого человека. Как будто он не хотел тратить время на окружающих, как будто он был постоянно занят собственным миром. Мир этот, казалось, состоял из него самого и всего живого вокруг, но за исключением людей... Кстати, это не такое уж и редкое явление. Просто он был ТАЛАНТЛИВ в этом. А удивляло в нем как раз другое. При всей своей замкнутости он охотно и прямо-таки с наслаждением выступал на всякого рода соревнованиях и в школьном театре. Особенно в театре. Правда, всегда соло. В пьесах участвовать он отказывался категорически. Обычно он декламировал, даже пел, с огромным вдохновением, с блеском в глазах, он словно раскрывался на сцене, а потом, сойдя в партер, снова становился уклончивым, молчаливым, неприступным... Я так и не сумел толком разобраться, откуда в нем это. Предполагаю только, что его талант общения с живой природой был настолько сильнее всех остальных движений его души, что окружающие ребята, и учителя, и вообще все люди были ему просто неинтересны. А может быть, все было гораздо сложнее. Может быть, эта замкнутость, эта самопогруженность появились как следствие тысячи микроскопических событий, которые остались за пределами моего поля зрения, Я вспоминаю одну любопытную сцену... Был проливной дождь, а потом Лева ходил по дорожкам парка, собирал червяков-выползков и бросал их обратно в траву. Ребятам это показалось смешным, а среди них были и такие, кто умел не только смеяться, но и жестоко высмеивать... Разумеется, я, не говоря ни слова, присоединился к Лева и стал собирать выползков вместе с ним... И вдруг я почувствовал, меня словно по глазам хлестнуло: он мне не верит. Не верит он тому, что судьба червяков на самом деле меня заинтересовала. У него было еще одно заметное качество: абсолютная честность. Не помню ни одного случая, чтобы он соврал. Даже в том возрасте, когда дети врут охотно и бессмысленно, получая от этого чистое и бескорыстное удовольствие. А он — не врал. И он презирал тех, кто врет... Иногда казалось мне, что в его жизни был какой-то случай, когда он впервые с ужасом и отвращением понял, что люди способны говорить неправду. А я этот момент

пропустил... Впрочем, вряд ли все это вам нужно. Вам ведь интереснее узнать, как проклеивался в нем будущий зоопсихолог...

— Не только это! — возразил Максим. — Мне все очень интересно... Что же получается: друзей у него, значит, было совсем немного?

— Друзей у него не было вовсе. У него не было друзей. Много лет спустя другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречается. Им было неловко рассказывать, но, как я понял, он попросту уклонялся от таких встреч...

И вдруг его прорвало.

— Ну почему вас интересует именно Лев? Я выпустил в свет сто семьдесят два человека! Почему вам из них понадобился именно Лев? Поймите, я не считаю его своим учеником! Не имею права считать! Это моя неудача! Единственная моя неудача! Десять лет подряд я пытался установить с ним контакт, хотя бы тоненькую ниточку протянуть между нами... Я выворачивался наизнанку ради него, но все, буквально все, что я предпринимал, оборачивалось во зло...

— Сергей Павлович! — воскликнул Максим. — Что вы говорите? Из Абалкина получился великолепный специалист, ученый самого первого класса! Его работа с головами...

— У меня прекрасная малина, — сказал старик. — Самая крупная малина в регионе. Отведайте еще, прошу вас.

Максим осекся и принял блюдо с малиной, а старик проговорил с горечью:

— Голованы... Возможно, возможно. Однако я и сам знаю, что он талантлив. Только вот моей-то заслуги никакой в этом нет...

Наступила неловкая пауза. Максим бросил в рот несколько ягод и сказал:

— Как жалко, что у него не было друзей. Я очень рассчитывал встретиться хоть с одним его другом...

— Если хотите, я могу назвать вам его одноклассников. — Старик помолчал и вдруг сказал: — Вот что. Попробуйте отыскать Майю Глумову.

Совершенно невозможно было представить, что именно он сейчас вспомнил, какие ассоциации возникли у него, в связи с этим именем, но наверняка — самые неприятные. Он даже взсь пошел бурыми пятнами.

— Школьная его подруга? — спросил Максим, чтобы скрыть неловкость.

— Нет, — сказал старик. — То есть она, конечно, училась в нашей школе... Майя Глумова. Потом она стала историком.

У себя в кабинете Максим набрал серию кодов на пульте связи, и на экране появилось полное миловидное лицо знаменитого педиатра и социопсихолога, академика Ядвиги Михайловны Лекановой.

— Ядвига Михайловна, — сказал Максим, — извините, ради бога, что я отрываю вас от работы. Меня зовут Максим Каммерер, я журналист, пишу книгу о вашем бывшем пациенте, о Льве Вячеславовиче Абалкине. Я надеялся, что, может быть, вы что-нибудь расскажете мне...

Ядвига Михайловна прищурилась, вспоминая, и сдвинула соболиные брови.

— Лев Абалкин?» Лева Абалкин... Простите, как вы себя назвали?

— Максим Каммерер.

— Простите, Максим, я не совсем поняла. Вы выступаете от себя лично или как представитель какой-то организации?

— Да как вам сказать... Я, разумеется, договорился с издательством, они там заинтересовались...

— Но вы-то сами — просто журналист или все-таки работаете где-нибудь? Не бывает же такой должности — журналист.

Максим почтительно хихикнул, лихорадочно соображая, как быть.

— Видите ли, Ядвига Михайловна, это довольно трудно сформулировать... Основная профессия у меня... Н-ну, пожалуй, прогрессор... Хотя, когда я начинал работать, такого термина вообще еще не существовало. В недалеком прошлом я — сотрудник КОМКОНа... да и сейчас связан с ним в известном смысле...

— Ушли на вольные хлеба, — сказала Ядвига Михайловна, Она по-прежнему улыбалась, но теперь в ее улыбке не хватало кое-чего очень важного и в то же время весьма обычного — самой обыкновенной доброжелательности.

— Вы знаете, Максим? — сказала она, — я с удовольствием поговорю с вами о Лева Абалкине, но, с вашего позволения, через некоторое время. Давайте, я вам позвоню... скажем, через час-полтора.

— Ну разумеется, — сказал Максим. — Как вам будет удобно...

— Извините меня, пожалуйста.

— Напротив, это вы должны меня извинить...

Изображение на экране исчезло. Максим рассеянно перебрал несколько листов в папке, лежащей перед ним на столе.

— Надо же, какой странный получился разговор, — подумал он вслух. — Она словно узнала откуда-то, что я все ей вру... Пр-роклятая профессия... Ладно, подождем... А пока поищем Майю Глузову.

Он вызвал информаторий.

...Так. Майя Тойвовна Глумова. Ага... Она на три года моложе нашего Льва... Историческое отделение Сорбонны... Ранняя эпоха первой научно-технической революции... потом — история космических исследований. Сын, Тойво Глумов, одиннадцати лет... А вот о муже она никаких сведений не дала... О чудо! Ныне она у нас сотрудник спецфонда Музея внеземных культур... это же в трех кварталах отсюда, на Площади Звезды!.. И живет неподалеку...

Максим отключил информаторий, откинулся на спинку стула и с удовлетворением потянулся.

Тут в дверь постучали, и через порог шагнул в кабинет Экселенц. Максим поднялся.

— Сядь, — строго сказал Экселенц и сам опустился в кресло для посетителей. Максим поспешно сел. — Дай сюда план работы.

Максим протянул ему листок, Экселенц быстро проглядел текст и сказал:

— Плохо.

— Так уж и плохо, Экселенц...

— Плохо! Наставник умер. А школьные друзья? У тебя их нет ни одного. А где его однокашники по школе прогрессоров?

— К сожалению, Экселенц, у него, по-видимому, не было друзей. Во всяком случае — в интернате. А что касается школы прогрессоров...

— Уволь меня от этих рассуждений. Мне не нравится, что ты отвлекаешься. При чем здесь детский врач, например?

— Я стараюсь проверить все.

— У тебя нет времени проверять все. Занимайся архивами, а не беготней...

— Архивами я тоже займусь, — сказал Максим, начиная злиться, — однако побегать мне все равно придется. И я вовсе не считаю, что детский врач — такая уж пустая трата времени.

— Помолчи, — сказал Экселенц и снова углубился в изучение плана. — Кто такая эта Глумова? — спросил он.

— Они вместе учились в интернате. Мне кажется, это у него была детская любовь или что-то в этом роде...

— Ну ладно... — проворчал Экселенц, возвращая листок. — Глумова — это хорошо. Если это была детская любовь, то это шанс... И легенда твоя мне нравится. А все остальное — плохо. Ты поверил, что у него не было друзей. Это неверно. Тристан был его другом, хотя ни в каких папках ты не найдешь об этом ни слова. И никто, кроме меня, тебе об этом не рассказал бы. Ищи! Никому не верь на слово, ищи! А Леканову оставь в покое. Это тебе не нужно.

- Но она же все равно мне позвонит!
- Не позвонит, — произнес Экселенц холодно.

Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Потом Максим проговорил:

— Экселенц. А вам не кажется, что я работал бы гораздо успешнее, если бы знал всю подоплеку?

Экселенц ответил не сразу.

— Не знаю. Полагаю, что нет. Все равно я пока не могу ничего сказать тебе. Да и не хочу.

— Тайна личности? — спросил Максим.

— Да, — сказал Экселенц. — Тайна личности.

Максим шел по залам Музея внеземных культур мимо странных его экспонатов, похожих не то на абстрактные скульптуры, не то на материализовавшийся бред сумасшедшего эволюциониста. В залах было пусто, только один раз вышел он на двух молоденьких девчушек, которые с молекулярными паяльниками в руках возились в недрах некоего сооружения, более всего напоминающего гигантский моток колючей проволоки. Он попросил у них указаний и вскоре оказался перед дверью с табличкой: «Сектор предметов невыясненного назначения. Кабинет-мастерская. Глумова М. Т.».

Майя Тойвовна подняла навстречу ему лицо. Красивая, более того — очень милая женщина, она глядела на него рассеянно, и даже не на него, а как бы сквозь него, глядела и молчала. На столе перед нею было пусто, только обе руки ее лежали на столе, как будто она их положила перед собой и забыла о них.

— Прошу прощения, — сказал Максим. — Меня зовут Максим Каммерер.

— Да. Слушаю вас.

Это была неправда: не слушала она его. Не слышала она его и не видела. Ей было явно не до него в тот час. Любой приличный человек в такой ситуации должен был бы извиниться и потихоньку уйти. Однако Максим не мог себе этого позволить. Он был помощником Экселенца на работе. Поэтому он уселся в первое попавшееся кресло и, изобразив на лице простодушную приветливость, принялся говорить:

— Вы знаете, у меня к вам дело не совсем обычное, я пришел к вам, так сказать, искать ваших воспоминаний... причем детских воспоминаний, совсем, так сказать, давних. Я, собственно, журналист, и пишу книгу о человеке по имени Лев Абалкин...

И тут произошла удивительная вещь. Едва это имя было произнесено, как Майя Тойвовна словно бы проснулась. Вся рассеянность ее

исчезла, она вспыхнула и буквально впиалась в журналиста Каммерера серыми глазами.

— ...А, я вижу, вы его помните! — продолжал добродушный и толстокожий журналист Каммерер. — Это славно, это здорово, это рождает во мне большие надежды. Я слышал, что вы дружили слевой, и теперь я вижу, что вы не забыли этой дружбы... Да и как можно забыть Леву? Это же такой замечательный парень...

— Вы его тоже знали? — спросила Глумова.

— А как же! Потому и дерзаю! Я же был, если хотите, у самых истоков. Саракш! Голубая Змея!.. На самом-то деле никакая она не голубая, она грязно-желтая и заражена радиоактивностью на двести лет вперед... а по берегам бродят грозные и таинственные голованы, о которых тогда еще никто ничего толком не знал. И тут появляется Лева...

— И вы об этом хотите написать?

— Разумеется! — сказал Максим. — Но этого мало.

— Мало — для чего? — спросила она, и на лице у нее появилось странное выражение — словно она с трудом сдерживает смех. У нее даже глаза заблестели.

— Понимаете, — сказал Максим, — мне хочется взять гораздо шире. Мне хочется показать становление Абалкина как крупнейшего специалиста в своей области. Ведь на стыке зоопсихологии и социопсихологии он произвел что-то вроде...

— Но он же не стал специалистом в своей области, — проговорила Майя Глумова. — Ведь они же сделали его прогрессором. Они же его... Они...

Не смех она, оказывается, сдерживала, а слезы, и теперь перестала сдерживать — упала лицом в ладони и разрыдалась. Она плакала, она судорожно вздыхала, всхлипывала, слезы протекали у нее между пальцами и капали на стол, а потом вдруг принялась говорить — будто думала вслух, перебивая самое себя, без всякого порядка и безо всякой видимой цели.

— ...Он лупил меня... Ого, еще как!.. Стоило мне поднять хвост, и он выдавал мне по первое число... Плевать ему было, что я девчонка и младше его на три года: я принадлежала ему — и точка!.. Я была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в первый день, когда он увидел меня... мне было тогда пять лет, а ему восемь. Он бегал кругами и выкрикивал считалку собственного сочинения: «Стояли звери — около двери — в них стреляли — они умирали!» Десять раз, двадцать раз подряд... Мне стало смешно, я захихикала, и вот тогда он выдал мне впервые...

...Вы не понимаете, как это было прекрасно — быть его вещью. Потому что он любил меня. Он больше никого и никогда не любил. Только меня! Все остальные были ему безразличны. Они ничего не понимали и не умели понять. Только я умела. Он выходил на сцену, пел песни, читал стихи — для меня. Он так и говорил: «Это для тебя. Тебе понравилось?» И прыгал в высоту — для меня. И нырял на сорок два метра — для меня. И писал ритмическую прозу по ночам — тоже для меня. О-о-о, он очень ценил меня, свою собственную вещь, и он все время стремился быть достойным такой ценной вещи. И никто ничего об этом не знал. Он всегда умел сделать так, чтобы никто ничего о нем не знал. До самого последнего года, когда об этом узнал Федосеев, его учитель...

...У него было еще много собственных вещей. Весь лес вокруг был очень большой собственной вещью. Каждая птица в этом лесу, каждая белка, каждая лягушка в каждой канаве. Он повелевал змеями, он начинал и прекращал войны муравейников, он умел лечить оленей, и все они были его собственными. Кроме старого лося по имени Рекс. Этого он признал равным себе, но потом с ним поссорился и прогнал из леса...

...Дура, дура! Все было так хорошо, но я-то, дура, не понимала, что все хорошо, я подросла и вздумала освободиться. Я прямо ему объявила, что не желаю больше быть его вещью. Он отлупил меня, но я была упрямая, я стояла на своем, проклятая дура. Тогда он снова отлупил меня, по-настоящему, беспощадно, как он лупил своих волков, когда они пытались вырваться из повиновения. Но я-то была не волк, я была упрямее всех его волков вместе взятых, и тогда он выхватил из-за пояса свой нож... у него был нож, никто не знал, он нашел кость в лесу и сам выточил из нее нож... И вот этим ножом он с бешеной улыбкой медленно и страшно вспорол себе руку от кисти до локтя. Стоял передо мной с бешеной улыбкой, кровь хлестала у него из руки, как вода из крана, и он спросил: «А теперь?» Он еще не успел повалиться, как я поняла, что он прав. И был прав всегда, с самого начала. Только я, дура, дура, дура, так и не захотела признать это.

...А в последний его год, когда я вернулась с каникул, ничего уже не было. Что-то произошло. Наверное, они уже взяли его в свои руки. Или узнали обо всем и, конечно же, ужаснулись неизвестно чему, идиоты, проклятые заботливые кретины... Он посмотрел сквозь меня и отвернулся. Я перестала существовать для него. В точности, как и все остальные. Он утратил свою ценную вещь и примирился с потерей... А когда он снова вспомнил обо мне, все уже было по-другому. Жизнь уже навсегда перестала быть таинственным лесом, где он был

владыкой, а я — самым ценным, что у него было в этом лесу. Они уже начали превращать его, он уже был почти прогрессор, он уже был на полпути в другой мир, где предадут и мучают друг друга. И видно было, что он стоит на этом пути твердой ногой, он оказался хорошим учеником, старательным и способным... Он писал мне, я не откликнулась. Ему надо было не писать и не звать, а приехать самому и отлупить, как встарь, и тогда все, может быть, и стало бы по-прежнему. Но скорее всего — нет. Ведь он уже больше не был владыкой. Он стал всего лишь мужчиной, каких было много вокруг... И он перестал мне писать...

...Последнее письмо его... Представляете, он всегда писал только от руки, никаких кристаллов, никаких транскрипторов, только от руки... Последнее письмо он прислал мне как раз оттуда, с вашей Голубой Змеи. И знаете, что он там написал? «Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали». И больше ничего. Ни одного слова. Ни имени, ни подписи...

...Но все равно я ждала его. Вчера он объявился, и я сразу поняла: все двадцать лет я ждала этого дня... Дура несчастная, чего я дождалась!..

Она вдруг замолчала и, словно очнувшись, уставилась на Максима. Глаза у нее были сухие и блестящие, совсем больные глаза.

— Кто вы такой? — спросила она.

— Меня зовут Максим Каммерер, — ответил журналист Каммерер, всем видом своим изображая крайнюю растерянность. — Я в некотором роде писатель... но ради бога... Я, видимо, попал не вовремя... Понимаете, я собираю материалы для книги о Льве Абалкине...

— Что он здесь делает?

— В каком смысле?

— У него здесь задание?

Журналист Каммерер обалдел.

— 3-задание? Какое задание?.. Майя Тойвовна, ради бога, не подумайте только... Считайте, что я ничего здесь не слышал... Я уже все забыл... Меня здесь вообще не было... Видите ли, у меня такая манера работы. Я начинаю с периферии: сотрудники, друзья... учителя, разумеется... наставники... а потом уже, так сказать, во всеоружии приступаю к главному объекту моего исследования... У нас с вами получилось какое-то ужасное совпадение, и не более того... Я же не слепой, я же вижу...

— Да, — сказала она. — Это совпадение.

Она откинулась в кресло и прикрыла лицо ладонью. Ей было нехорошо. Ей было стыдно.

— Совпадение и более ничего... — бормотал журналист Каммерер.  
— И забудем... Ничего не было... Потом, когда-нибудь... когда вам будет удобно... угодно... я бы с величайшей благодарностью, разумеется... Майя Тойвовна, может, позвать кого-нибудь? Я мигом...

Она молчала.

— Ну и не надо, ну и правильно... Зачем? Я посижу здесь с вами... на всякий случай...

Она отняла руку от глаз и устало сказала:

— Не надо вам со мной сидеть. Ступайте лучше к своему главному объекту...

— Нет-нет-нет! Успею. Объект, знаете ли, объектом, а я бы не хотел оставлять вас сейчас одну... Времени у меня сколько угодно... — Он посмотрел на часы с некоторой тревогой. — А где он сейчас?

— Думаю, он сейчас у себя, — проговорила Майя Глумова, криво-вато усмехнувшись. — Курорт «Осинушка». Это на Валдае, на озере Велье. Всего доброго.

— М-м-м! — очень громко произнес журналист Каммерер. — Озеро Велье... озеро Велье... Я как-то все это совсем по-другому себе представлял. Я еще раз прошу извинить меня, Майя Тойвовна, но, может быть, с ним можно как-то связаться отсюда?..

— Наверное, можно, — сказала Майя Тойвовна совсем уже угасшим голосом. — Но я не знаю его номера... и знать не хочу... Послушайте, Каммерер, дайте вы мне остаться одной! Все равно вам сейчас от меня никакого толку...

По тропинке между пышными кустами сирени Максим приблизился к уютному коттеджу, поднялся на крылечко к двери с большой цифрой «6» и постучал. Как он и ожидал, дверь заперта не была. В маленьком холле было пусто, на низком столике под газосветной лампой важно кивал головой игрушечный медвежонок панда.

На кухне мойка была забита грязными тарелками, окно Линии доставки было открыто, и в приемной камере красовался неостребованный пакет с гроздью бананов. В гостиной было и того хуже. Весь пол был усеян клочьями рваной бумаги. Широкая кушетка разорена, цветастые подушки валялись где попало, кресло у стола было опрокинуто, на столе в беспорядке располагались блюда с подсохшей едой, грязные тарелки, бокалы, среди всего этого торчала початая бутылка вина. Оконная портьера была содрана и висела на последних нитках.

Мятая бумага валялась не только на полу, и не вся она была мятая. Несколько листков белели на кушетке, рваные клочки попали в блюдо с едой, и вообще блюда и тарелки были несколько сдвинуты в

сторону, а на освободившемся пространстве имелась целая кипа бумажных листков.

Максим поднял поваленное кресло и уселся в него, собрав разбросанные листки в одну пачку.

Все это выглядело довольно странно: кто-то быстро и уверенно нарисовал на листках какие-то детские лица, каких-то явно земных зверушек, какие-то строения, пейзажи, даже просто облака. Было среди листков несколько схем или как бы кроков — рощицы, ручьи, болота, перекрестки, и тут же — среди топографических знаков — крошечные человеческие фигурки, сидящие, лежащие, бегущие, и крошечные изображения животных, не то оленей, не то лосей, не то волков, не то собак, и почему-то некоторые из этих фигурок были перечеркнуты. На одном из листочков Максим обнаружил превосходный портрет Майи Глумовой с неуместным выражением то ли растерянности, то ли недоумения на улыбающемся и в общем-то веселом лице. И был там еще шарж на Сергея Павловича Федосеева, причем мастерский — именно таким был, вероятно, Федосеев четверть века назад...

Максим отложил бумаги и вновь оглядел гостиную — захлавленную, неприбранную, загаженную, поднял с пола и взвесил на ладони остатки янтарного ожерелья... Делать здесь было больше нечего.

Когда Максим кончил свой доклад в кабинете Экселенца, тот, не поднимая глаз, сказал угрюмо:

— С Глумовой у тебя почти ничего не получилось.

— Меня связывала легенда, — сухо сказал Максим.

— Что думаешь делать дальше?

— По-моему, в коттедж номер шесть он больше не вернется.

— По-моему, тоже, — проворчал Экселенц. — А к Глумовой?

— Трудно сказать. Ничего не могу сказать. Не понимаю. Какой-то шанс, конечно, остается...

— Твое мнение: зачем он вообще с нею встречался?

— Вот этого я и не понимаю, Экселенц. Судя по всему, они занимались там любовью и воспоминаниями. Только любовь эта была не совсем любовь, а воспоминания — не обычные воспоминания. Иначе Глумова не была бы в таком мучительном отчаянии. Конечно, он — имперский офицер, еще позавчера он был имперским офицером, и если он напился как свинья, он мог ее попросту оскорбить... Особенно, если вспомнить, какие нестандартные отношения были у них в детстве...

— Не преувеличивай. Они уже давно не дети. Я ставлю вопрос так: если он теперь снова позовет ее... или придет к ней сам — примет она его?

— Не знаю, — сказал Максим. — Думаю, что да. Он все еще много значит для нее. Она не могла бы прийти в такое отчаяние из-за человека, который ей противен или безразличен.

— Литература... — проворчал Экселенц и вдруг гаркнул — Ты должен был узнать, зачем он ее вызывал! О чем они говорили! Что он ей сказал!

Максим разозлился.

— Ничего этого я узнать не мог! Она была в истерике! А когда пришла в себя, перед ней сидел дубина-журналист со шкурой толщиной в дюйм!

— Тебе придется встретиться с нею еще раз.

— Тогда разрешите мне изменить легенду!

Экселенц вдруг спросил, не поднимая головы:

— Зачем тебе понадобилось утром заходить в Музей?

Максим удивился.

— То есть как — зачем? Чтобы поговорить с Глумовой!..

Экселенц медленно поднял голову, и, увидев его глаза, Максим даже отпрянул. Было несомненно, что он только что сказал нечто ужасное. И он залепетал, как школьник:

— А что тут такого?.. Ведь она же там работает... Где же мне было с ней разговаривать? Домой к ней перетяся, что ли?..

— Глумова работает в Музее внеземных культур? — отчетливо выговаривая слова, спросил Экселенц.

— Ну да... А что случилось?

— В секторе предметов невыясненного назначения... — тихо проговорил Экселенц. То ли спросил, то ли сообщил.

Максим смотрел на него со страхом.

— Да... — произнес он шепотом.

Экселенц снова опустил глаза, и Максим снова видел только его шафранную лысину.

— Экселенц...

— Помолчи! — каркнул Экселенц.

Некоторое время оба молчали. Потом Экселенц сказал своим обычным голосом:

— Так. Отправляйся домой. Сиди дома и никуда не выходи. Ты можешь понадобиться мне в любую минуту. Но скорее всего — ночью. Жди.

Придя домой, озабоченный и озадаченный Максим Каммерер обнаружил там сына Гришу, рослого спортивного парня двадцати пяти лет.

— Здравствуйте! — воскликнул Максим, веселея. — Интересно мне знать, что ты здесь делаешь? С Аленкой поссорился?

— Отнюдь, — отозвался Гриша. — Отозван из отпуска по делам службы.

— По каким еще делам службы? Ты что — серьезно?

— Клянусь честью. Отозван в самом срочном порядке. Заскочил в отчий дом исключительно чтобы перекусить и принять душ... Слушай, папа, где мой халат?

— Там, где ты его поместил, — ответил Максим механически» Он снова сделался озабоченным.

— Ну ладно тебе... Можно, я твой возьму?

— Можно, — сказал Максим и спросил: — Кто тебя отозвал? Серосовин?

Гриша помотал головой.

— Нет. Бери выше. — Он ткнул пальцем в потолок. — Сам! Лично! А вообще, какой пример ты подаешь сыну? Что за манера — выпытывать служебные тайны, пользуясь служебным положением?

— А если по шеяке? — агрессивно спросил Максим, чтобы скрыть нарастающее в нем чувство тревоги.

— А ты попробуй! — предложил Гриша и тут же исчез.

Отечская длань со свистом пронеслась через пустоту, а Гриша, уже по другую сторону стола, скалил безукоризненные зубы и говорил с издевкой:

— Вяло. Вя-ло! Вы забыли, с кем имеете дело, сударь?

— И с кем же я имею дело?

— С чемпионом сектора по субаксу, сударь! Как вы полагаете, почему именно меня самое высокое начальство отзывает в самый разгар отпуска? Только потому, что я — чемпион сектора по субаксу! Как вам это нравится, сударь?

— Мне это не очень нравится, — медленно проговорил Максим, и тут раздался видеофонный вызов.

Экран видеофона светился, но изображения на нем не было. Максим ткнул пальцем в клавишу и сказал:

— Я вас слушаю... Только имейте в виду, вас почему-то не видно.

— Простите, я забыл, — произнес низкий мужской голос, и на экране появилось лицо.

Это был Лев Абалкин.

— Здравствуйте, Мак, — сказал он. — Вы меня узнаете?

Максиму нужно было несколько секунд, чтобы привести себя в порядок. Он был совершенно не готов.

— Позвольте, позвольте... — затянул он, лихорадочно соображая, как следует себя вести. Краем глаза он следил, как Гриша, забрав купальные принадлежности, удалился в ванную.

— Лев Абалкин. Помните? Саракш, Голубая Змея...

— Господи! — вскричал журналист Каммерер, в прошлом Макс Сим, резидент Земли на планете Саракш. — Лева! А мне же сказали, что вас на Земле нет... Или вы еще там?

— Нет. Я уже здесь... — Лев Абалкин улыбался. — Надеюсь, я вам не слишком помешал?

— Вы мне никак не можете помешать! Вы мне нужны позарез! Ведь я пишу книгу о голованах...

— Да, я знаю, — перебил Абалкин. — Потому и звоню... Но, Мак, я ведь уже давно не имею дела с голованами.

— Это совершенно не важно. Важно, что вы были первым, кто имел дело с ними.

— Между прочим, первым были вы...

— Нет. Покусили они меня первого, это так. Но я их просто случайно обнаружил, вот и все... И вообще, о себе я уже написал... Послушайте, Лева, нам надо обязательно встретиться. Вы надолго домой?

— Не очень, — сказал Абалкин. — Но встретимся мы обязательно. Правда, сегодня я не хотел бы.

— Положим, сегодня и мне было бы не совсем удобно, — быстро подхватил журналист Каммерер. — А вот как насчет завтрашнего дня?

Лев Абалкин молча всматривался в его лицо.

— Поразительно, поразительно... — проговорил он. — Вы совсем не изменились. А я?

— Честно?

Лев Абалкин снова улыбнулся.

— Нет. Честно — не надо... Двадцать лет прошло... Вы знаете, вот я сейчас вспоминаю эти времена и думаю: до чего же мне чертовски повезло, что я начинал с такими руководителями, как Геннадий Комов и как вы, Мак...

— Ну-ну, не преувеличивайте. Я-то здесь при чем?

— То есть как это — вы-то здесь при чем? Комов руководил, Раулингсон и я были на подхвате, а ведь всю координацию осуществляли вы и только вы...

Максим вытаращил глаза — самым искренним образом.

— Ну, Лев, — сказал он, — вы, брат, ничего, видно, не поняли в тогдашней субординации. Единственное, что я тогда для вас делал, это обеспечивал безопасность, транспорт и продовольствие... да и то...

— И поставляли идеи! — вставил Абалкин.

— Какие идеи?

— Идея экспедиции на Голубую Змею — ваша?

— Ну, в той мере, что я сообщил на Землю по поводу голованов...

— Так! Это раз. Идея о том, что с голованами должны работать прогрессоры, а никакие не зоопсихологи — это два!..

— Погодите, Лев! Это не моя идея, это Комова идея! Мне тогда вообще на вас на всех было наплевать! У меня тогда был первый массовый десант Океанской империи... Господи! Да если говорить честно, я обо всех вас и вспоминать тогда не вспоминал!

Лев Абалкин смеялся, обнажая ровные белые зубы.

— И нечего на меня скалиться, — сказал Максим сердито. — Вы же ставите меня в дурацкое положение. Вздор какой. Не-ет, голубчики, видно, я вовремя взялся за эту книгу. Надо же, какими идиотскими легендами все это обросло!

— Ладно, ладно, я больше не буду, — сказал Абалкин. — Мы продолжим этот спор при личной встрече...

— Вот именно. Только спора никакого не будет. Не о чем здесь спорить. Давайте так... — Максим поиграл кнопками настольного блокнота. — Завтра в десять ноль-ноль у меня. Или, может быть, вам удобнее...

— Давайте лучше у меня, — сказал Лев Абалкин.

— Тогда диктуйте адрес, — скомандовал журналист Каммерер.

— Курорт «Осинушка», — сказал Абалкин. — Коттедж номер шесть.

С мокрыми после душа волосами, полностью экипированный по последней моде, Каммерер-младший остановился на пороге комнаты и, задергивая последнюю «молнию» на курточке, доложил:

— Пап, я пошел. Будут какие-нибудь распоряжения, пожелания?

— Когда вернешься?

— Спроси у шефа.

— Хорошо. Иди. Да не выскакивай особенно, знаю я тебя. Мало я тебя драл.

— А чего ж ты так, — сказал Гриша. — Ленивый был?

Максим махнул ему, и Гриша исчез за дверями.

...Откуда он узнал мой номер? Это просто. Номер я оставлял учителю. И адрес, кстати. Значит, он все же решил повидаться с

учителем. Несмотря ни на что. Двадцать лет не давал о себе знать, а сейчас вот вдруг решил повидаться. Зачем? Поплакать в жилетку... Не похоже...

...С какой целью он мне звонил? Он чего-то добивался. Не понимаю, чего именно... Зачем ему понадобилось приписывать мне свои заслуги, да еще заслуги Комова вдобавок. Причем с ходу, в лоб, едва успевши поздороваться... Можно подумать, будто я действительно распространяю легенды о своем приоритете, присваиваю себе все фундаментальные идеи относительно голованов, а он об этом узнал и дает мне понять, что я — дерьмо... Но это же вздор! О том, что именно я первый обнаружил голованов, знают сейчас только самые узкие специалисты, да и те, наверное, забыли об этом за ненадобностью...

...Но факт остается фактом: мне только что позвонил Лев Абалкин и объявил, что, по его мнению, основоположником и корифеем современной науки о голованах являюсь я, журналист Каммерер. Больше наш разговор не содержал ничего существенного. Ну, правда, свидание было назначено в самом конце... Но ведь адрес-то, скорее всего, фальшивый...

...Есть, конечно, еще одна версия. Ему было все равно, о чем со мной говорить. Ему нужно было только увидеть меня. Учитель... или Майя Глумова, например... говорят ему: тобой интересуется некий Максим Каммерер. Вот как? — думает скрывающийся Абалкин. — Очень странно! Ведь я знал Максима Каммерера. Это что — совпадение? Лев Абалкин не верит в совпадения. Дай-ка я позвоню этому человеку и посмотрю, точно ли это Максим Каммерер...

...Если это и правда, то не вся правда. Зачем ему понадобилось тогда вступать в разговор? Посмотрел бы, послушал, убедился, что я есть я, и благополучно отключился бы... И потом, я же видел, он не просто разговаривает со мной, он еще и наблюдает за моей реакцией, он говорит заведомую чушь и внимательно следит, как я на эту чушь реагирую... Может быть, он на самом деле допускает, что моя роль в исследовании голованов чрезвычайно велика? Он звонит мне, чтобы проверить это свое допущение, и по моей реакции убеждается, что допущение это, неверно...

...Вполне логично, но как-то странно. При чем здесь голованы? Хотя, если бы мне сейчас предложили вкратце изложить самую суть биографии этого человека, я бы, наверное, сказал так: ему нравилось работать с голованами, больше всего на свете он хотел работать с голованами, он уже весьма успешно работал с голованами, но работать с голованами ему почему-то не дали... Так, может быть, у него наконец лопнуло терпение, он плюнул на своих профессоров, на дисциплину,

на начальство, плюнул на все и вернулся домой, чтобы, черт возьми, раз и навсегда выяснить, почему не дают ему заниматься любимым делом, кто — персонально — мешает ему всю жизнь, с кого спросить за пятнадцать лет, потраченных на безмерно тяжкую и нелюбимую работу профессора... Вот он и вернулся. И сразу наткнулся на мое имя. И сразу вспомнил, что, по сути дела, я был куратором его первой работы с головами. И ему захотелось узнать, не принимал ли я участия в этом беспрецедентном отчуждении человека от любимого дела. И с помощью нехитрого приема он узнал, что нет, не виновен, — занимался, оказывается, отражением десантов и вообще был не в курсе...

Да, так можно было бы объяснить этот разговор со мной. Но только этот разговор, и ничего больше. Ни темную историю с Тристаном, ни темную историю с Майей Глумовой, ни тем более причину, по которой Абалкину понадобилось скрываться, — все это объяснить этой моей гипотезой нельзя. Да елки-палки! Если бы эта моя гипотеза была правильной, Лев Абалкин сейчас не скрывался бы, а ходил по КОМКОНу и лупил бы своих обидчиков направо и налево, как и полагается имперскому офицеру, который уклонился от обратного кондиционирования... И все-таки что-то здоровое в этой моей гипотезе есть. И возникают кое-какие практические вопросы... Дьявольщина, в дверь звонят... Кто бы это мог быть? Совершенно не вовремя...

Распахнувши входную дверь, Максим Каммерер с огромным изумлением обнаружил на пороге старого учителя — Сергея Павловича Федосеева. Старик почему-то окинул его с ног до головы тревожным взглядом и проговорил с явным облегчением:

— Я вижу, Максим, у вас все более или менее в порядке... Он был у вас?

— Кто? — удивился Максим и добавил: — Да вы входите, Сергей Павлович, прошу вас.

Они вошли в гостиную и уселись в кресла.

— Нервы у меня стали шалить, — произнес старик и откашлялся. — Совершенно разучился управлять своим воображением. Извините меня, пожалуйста, Максим, навоображал себе невесть что...

— А вот мы сейчас чайку! — воскликнул бодро журналист Каммерер. — А? С пасифунчиками! А?

— Нет-нет, ни в коем случае. Поздно уже... Так, значит, он к вам так и не заходил еще. Я имею в виду Леву. Леву Абалкина.

— Он мне звонил. Час-полтора назад. А что случилось?

— И как вы его нашли?

— Да разговор, надо признаться, получился довольно странный, я ничего не понял... Но ведь он и раньше был довольно странный парень, как я помню...

— Он не оскорбил вас?

— Господи, конечно, нет! Скорее уж я на него накричал немножко... на правах старшего, так сказать... А что все-таки случилось, Сергей Павлович?

Сергей Павлович явно затруднился.

— Наверное, мне придется рассказать вам все, — проговорил он. — Может быть, нам с вами следует сопоставить наши впечатления... Дело в том, что я видел его сегодня, и до сих пор я чувствую себя... ну просто взвинченным! Представьте себе, примерно в пять часов я вылетел на своем глайдере в Свердловск... у меня там было свидание в клубе. Через пятнадцать минут меня буквально атаковал и заставил приземлиться неведь откуда взявшийся дикий глайдер. Он садится рядом, и из него выскакивает, представьте себе, Лева Абалкин, весь взъерошенный и совершенно невменяемый. Не здороваясь, не давши мне раскрыть рта и тем более не тратя времени на сыновьи объятия, он обрушивается на меня с саркастическими благодарностями за те невероятные усилия, которые якобы я приложил в свое время для того, чтобы засунуть его, Абалкина, в школу прогрессоров. Понимаете? Он с детских лет мечтал стать зоопсихологом, а я, видите ли, загнал его в прогрессоры и таким образом, как он выразился, сделал всю его дальнейшую жизнь «безмятежной и счастливой»! Это было настолько наглое и беспардонное извращение истины, что поначалу я просто не нашел слов! Я залепил ему оплеуху, он замолчал, и мы несколько минут тряслись друг перед другом от бешенства и негодования. Потом мне удалось взять себя в руки, и я, как мог спокойно, объяснил ему истинное положение дел. Теперь, когда все участники этой странной истории либо умерли, либо давным-давно на покое, я мог ему рассказать все. Какую роль здесь сыграл региональный совет просвещения. Как вел себя Евразийский сектор. Что говорил доктор Серафимович и что сказал тогда тогдашний председатель комиссии по распределению.» Я ему рассказал все! Как меня унизили, как меня высекли, как мне предъявили заключение четырех экспертов и доказали, что они все правы и только один я, старый дурак, не прав...

Дойдя до этого пункта, Сергей Павлович задохнулся и замолчал.

— И что же он? — осмелился спросить журналист Каммерер.

Старик горестно пожевал губами.

— Этот глупый мальчишка поцеловал мне руку и бросился к своему глайдеру. Я крикнул ему... Я не мог просто так. Я должен был все

объяснить, и я должен был понять, что происходит... А слов не было. И я только сказал ему про вас... Что журналист Каммерер ищет его, чтобы повидаться... И вот тут произошло нечто совсем уж необъяснимое. То, из-за чего я здесь. Все это время я просидел в клубе как на иголках... Наваждение какое-то... Представьте себе, он уже сел на глайдер и тут услышал ваше имя. Лицо его буквально исказилось. Я не берусь передать это выражение, да я и не понимаю его. Он переспросил меня. Я повторил, уже сомневаясь, правильно ли я поступаю. Он спросил ваш адрес. Я сказал. И тогда он проговорил... нет, прощипел! Что-то вроде: очень хорошо, с удовольствием с ним повстречаюсь... Я так ничего и не понял. Я пришел к вам сейчас, во-первых, потому, что мне стало страшно за вас... а во-вторых, может быть, вы что-нибудь понимаете? Что случилось? Что происходит с ним?

— Я и сам ничего не могу понять, — сказал Каммерер искренне.

— Бедный мальчик... — проговорил учитель. — Вы знаете, ведь ему не повезло в жизни. У меня такое впечатление, что всю жизнь ему не везло. — Он помолчал и добавил, поднимаясь: — Вы знаете, Максим, мне сейчас, кажется, почему-то, что я больше никогда его не увижу.

У себя дома Экселенц носил строгое черное кимоно. Он восседал за рабочим столом и занимался любимым делом: рассматривал через лупу какую-то уродливую коллекционную статуэтку.

— Я понял твою гипотезу, — сказал Экселенц. — Чуть позже мы поговорим о ней. По-моему, у тебя есть ко мне вопросы.

— Да, — сказал Максим. — Я хотел бы знать, вступал ли Лев Абалкин на Земле в контакт с кем-нибудь еще. Кроме меня.

— Вступал, — сказал Экселенц и посмотрел на Максима с явным интересом.

— Могу я узнать — с кем?

— Можешь. Со мной.

Максим вздрогнул.

— Я вижу, тебя это удивляет... — продолжал Экселенц. — Меня тоже. Но никакого разговора у нас не было. Он проделал такую же штуку, что и с тобой: не включил изображение. Полюбовался на меня, узнал, надо думать, и отключился.

— А почему вы, собственно, решили, что это был он?

— Потому что он связался со мной по каналу, который был известен только одному человеку.

Так, может быть, этот человек...

— Нет. Этот человек мертв. Его звали Тристан Гутенфельд, он был наблюдающим врачом Льва Абалкина, как ты должен помнить, и погиб при довольно странных обстоятельствах.

Некоторое время они молчали, потом Экселенц заговорил снова:

— Что же касается твоей гипотезы, то она никуда не годится. Лев Абалкин сделался превосходным резидентом. Он любил свою работу, отлично ее делал, и у него в мыслях даже не было ее менять...

— Однако с детства он мечтал стать зоопсихологом...

— Это не твоя компетенция, — сказал Экселенц резко. — Не отвлекайся. Ты все время отвлекаешься. Что ты намерен делать дальше?

Максим посмотрел на часы.

— На десять часов у меня назначено свидание с Абалкиным в коттедже номер шесть, как я вам уже докладывал. Полагаю, это пустой номер. Он не придет. Тогда я отправлюсь в Канаду. Я еще не говорил вам, Экселенц... Через информаторий мне удалось разыскать того головуна по имени Щекн-Итрч, с которым Лев Абалкин дружил в молодые свои годы. Так вот, он сейчас на Земле. Он что-то вроде культурного атташе... или, если угодно, переводчика-референта при постоянном посольстве головунов. Это на реке Телон, северо-западнее Бейкерлейка...

Экселенц кивнул.

— Хорошо, — сказал он. — Но сначала ты найдешь Глумову. Ты выяснишь у нее следующее. Виделась ли она с Абалкиным еще раз. Говорил ли Абалкин с ней о ее работе. Если говорил, то что именно его интересовало. Не выражал ли он желания прийти к ней в Музей. Все. Повтори.

— Выяснить у Глумовой, виделась ли она с ним еще раз, говорил ли он с ней о работе, если говорил — то, что именно его интересовало, не выражал ли желания посетить Музей.

— Так. Ты предлагал сменить легенду. Не возражаю. КОМКОН разыскивает прогрессора Абалкина для получения от него показаний касательно некоего несчастного случая. Расследование связано с тайной личности и потому проводится негласно. Не возражаю. Вопросы есть?

— Хотел бы я знать, при чем здесь этот Музей... — пробормотал Максим как бы про себя.

— Ты что-то сказал? — осведомился Экселенц.

— Нет. Мне все ясно. Кроме того, что неясно совсем.

— Не отвлекайся... — проворчал Экселенц и вдруг грохнул кулаком по столу и заорал: — Скажи спасибо, мальчишка, что я не рассказываю тебе всего! Уходи!

Максим вскочил и направился к двери.

— Стой, — сказал Экселенц. — Приказ отыскать Абалкина и взять под наблюдение я отменяю. Теперь ты пойдешь по его следам. Сейчас мне важнее всего знать, где он бывает, с кем встречается и о чем говорит. Иди. И прости меня. По крайней мере, постарайся.

У себя в кабинете Максим позвонил Майе Глумовой домой. На экране появилась веснушчатая детская физиономия с прозрачными северными глазами, — безусловно Глумов-младший, одиннадцати лет.

— Гм... — произнес Максим. — Здравствуй.

— Здравствуйте. Вы кто?

— Я — мамин знакомый. Можно твою маму?

— А мамы нет, — сказал Глумов-младший и добавил: — Будет поздно, так и сказала.

— Ну извини, — сказал Максим. — Тогда позвоню ей на работу.

Он набрал номер Музея и испытал некоторый шок. С экрана приятно улыбнулся ему Григорий Каммерер, сынишка и чемпион по субаксу.

В течение нескольких секунд Максим наблюдал за последовательной сменой выражений на загорелой Гришиной физиономии. Приятная улыбка. Полная растерянность. Веселое недоумение. Официальная готовность выслушать распоряжения. И наконец снова приятная улыбка, правда, слегка уже натянутая.

— Здравствуйте, — сказал Максим. — Попросите, если можно, Майю Тойвовну.

— Майя. Тойвовна... — Гриша огляделся. — Вы знаете, ее нет. По моему, она сегодня еще не приходила. Передать ей что-нибудь?

— Передайте, что звонил Каммерер, журналист. Она должна меня помнить. А вы что же — новичок? Что-то я вас...

— Да, я тут только со вчерашнего дня... Я, собственно, посторонний, работаю с экспонатами...

— Ага... — сказал Максим. — Ну что ж... Прошу прощения. Я еще позвоню.

Он откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову.

...Так-так-так. Экселенц принимает меры. Похоже, что он просто уверен, что Лев Абалкин появится в Музее... Попробуем понять, почему он выбрал именно моего Гришку. Гриша у нас без году неделя. Сообразительный. Хорошая реакция. По образованию экзобиолог. Похоже, именно в этом все дело: молодой экзобиолог начинает свое первое самостоятельное исследование в Музее внеземных культур...

Тихо, мирно, изящно, прилично. И кроме того, Гришка — чемпион сектора по субаксу... При чем здесь Музей? Почему Экселенц допускает, что имперского штабника, натворившего что-то такое в сотне парсеков отсюда, может что-то заинтересовать в этих залах... Когда я сказал ему, что Глумова работает в Музее, он же испугался! Мне удалось напугать Экселенца! У него зрачки были во всю радужку!..

...Тайна личности. Самая сумеречная тайна из всех мыслимых. О ней ничего не должна знать сама личность. Этот Абалкин когда-то что-то натворил, и сам не знает этого, и все обязаны скрывать от него эту его собственную тайну... Ненавижу тайны. Терпеть их не могу. По моему, все тайны в наше время и на нашей планете отдают какой-то гадостью. Наверное, Экселенц прав, когда орет на меня, чтобы я не совал носа дальше необходимого — ведь меня же и стошнит... Наверняка ведь есть люди, которые посвящены в эту тайну полностью, но они, видимо, не годятся для розыска. И есть, наверное, куча людей, которые провели бы этот розыск лучше меня, но Экселенц понимает, что розыск рано или поздно приведет к тайне, и тут важно, чтобы у человека хватило деликатности вовремя остановиться. Поэтому Экселенц и поручил это дело именно мне... Ну что ж, он сделал правильный выбор... Сейчас я позвоню в коттедж номер шесть и отправлюсь напрямик в Канаду... А Майя Глумова — потом...

Максим посмотрел на часы и набрал номер на видеофоне.

Он снова испытал шок. Он увидел на экране Майю Глумову.

— А, это вы... — проговорила она с отвращением.

Обида и разочарование были на лице ее. Щеки ввалились, под глазами легли тени, но прекрасные волосы ее были тщательно уложены, а поверх строгого серого платья лежало то самое янтарное ожерелье.

— Да, это я... — сказал журналист Каммерер растерянно. — Доброе утро. Я, собственно... Что, Лев у себя?

— Нет, — сказала Майя.

— Я хотел... Дело в том, что он назначил мне свидание...

— Здесь? — живо спросила она. — Когда?

— В десять часов. Я просто хотел на всякий случай узнать...

— А он вам точно назначил? — совсем по-детски спросила она. — Как он вам сказал?

— Как он мне сказал? — медленно повторил Максим Каммерер, переставая разыгрывать из себя журналиста. — Вот что, Майя Тойвовна. Не будем себя обманывать. Скорее всего, он не придет.

Она смотрела на него, словно не веря своим глазам.

— Как это?.. Откуда вы знаете?

— Ждите меня, — сказал Максим. — Я вам все расскажу. Через несколько минут я буду у вас.

— Что с ним случилось? — пронзительно и страшно крикнула Майя Глумова.

— Он жив и здоров. Не беспокойтесь. Ждите, я сейчас...

Она ждала его в холле коттеджа номер шесть — сидела за низким столом рядом с игрушечным медвежонком, держа на коленях видеофон. Войдя, Максим непроизвольно взглянул на приоткрытую дверь гостиной, и она сейчас же сказала:

— Мы будем разговаривать здесь.

— Как вам будет угодно, — отозвался Максим.

Нарочито неторопливо он осмотрел гостиную, кухню и спальню. Везде было чисто прибрано и, конечно, никого там не было. Когда он вернулся в холл, Майя по-прежнему сидела неподвижно, положив руки на видеофон, и смотрела прямо перед собой.

— Кого вы искали? — спросила она холодно.

— Не знаю. Никого. Просто я хотел убедиться, что мы здесь одни. Потому что разговор у нас будет деликатный.

— Кто вы такой? Только не врите больше.

— Я — сотрудник КОМКОНа, — сказал Максим. Она непонимающе подняла брови, и он объяснил — КОМКОН — это Комитет по контролю исследований, КОМКОН следит за тем, чтобы научные исследования... и все исследования вообще... не выходили за рамки юридических и морально-нравственных установлений общества. Понятно? Так вот, сейчас мы ищем Льва Абалкина. Он нужен нам как свидетель. На одной из обитаемых планет — очень далеко отсюда — произошел несчастный случай. Абалкин — единственный человек, который может рассказать нам детали... Все это связано с тайной личности, поэтому мы вынуждены действовать негласно и поэтому я даже не извиняюсь, что врал вам раньше, у меня просто не было ни времени, ни возможности посвящать вас в подробности...

— То есть теперь вы решили больше со мной не церемониться?

— А что прикажете делать?

Она не ответила.

— Вот вы сидите здесь и ждете, — сказал Максим, — а ведь он не придет. Он водит вас за нос. Он всех нас водит за нос, и конца этому не видно...

— Почему вы решили, что он сюда не вернется?

— Потому что он скрывается. Потому что он врет всем, с кем ему приходится разговаривать.

- Зачем же вы сюда тогда звонили?
- А затем, что я никак не могу его найти! Мне приходится ловить любой шанс, даже самый дурацкий!
- Что он сделал? — спросила Майя Глумова.
- Я не знаю, что он сделал. Скорее всего, ничего не сделал. Я же объясняю вам: мы ищем его потому, что он единственный свидетель большого несчастья...
- Почему же он тогда скрывается?
- Мы не знаем. Он, можно сказать, болен. Возможно, ему что-то чудится. Возможно, это какая-то идея-фикс...
- Болен... — сказала Майя и покачала головой. — Может быть. А может быть, и нет... Что вам надо от меня?
- Вы виделись с ним еще раз?
- Нет. Он обещал позвонить, но так и не позвонил.
- Почему же вы ждете его здесь?
- А где мне его еще ждать? — спросила она, и в голосе ее было столько горечи, что Максим отвел глаза и некоторое время молчал.
- А куда он собирался вам звонить? — спросил он наконец. — На работу?
- Наверное... Не знаю. В первый раз он позвонил на работу.
- Он позвонил вам в Музей и сказал, что приедет к вам?
- Нет. Он позвал меня к себе. Сюда.
- Майя Тойвовна, — сказал Максим. — Меня интересуют все подробности вашей встречи. Вы рассказывали ему о себе, о своей работе... Он рассказывал о своей... Постарайтесь вспомнить, как все это было.
- Она покачала головой.
- Нет. Ни о чем таком мы не разговаривали. Я уже потом сообразила, уже дома, что я так ничего о нем и не узнала. Это действительно странно... Мы столько лет не виделись.» А ведь я расспрашивала его: где ты был, что делал... но он отмахивался и кричал, что все это чушь, ерунда, все это обморок души — так он говорил.
- Значит, он расспрашивал вас?
- Да нет же! Все это его не интересовало... Кто я, как я... Одна или у меня кто-нибудь есть... чем я живу... Он был как мальчишка... Я не хочу об этом говорить.
- Майя Тойвовна, не надо говорить о том, о чем вы не хотите говорить...
- Я ни о чем не хочу говорить!
- Максим поднялся, сходил на кухню и принес ей воды. Она жадно выпила стакан до дна, проливая воду на свое серое платье.



— Все это никого не касается, — сказала она, возвращая стакан Максиму.

— Не надо говорить о том, что не касается, — сказал Максим. — Просто расскажите, о чем он вас расспрашивал.

— Я же говорю вам: он ни о чем не расспрашивал! Он рассказывал, вспоминал, рисовал, спорил... как мальчишка... Оказывается, он все помнит! Чуть ли не каждый день от утра и до самой ночи! Где стоял он, где стояла я, что сказал Рекс, как смотрел Вольф... Я ничего не помнила, а он кричал на меня и заставлял вспоминать, и я вспоминала... А как он радовался, когда я вспоминала что-нибудь такое, чего он сам не помнил!..

Она замолчала.

— Это все о детстве? — спросил Максим, подождав.

— Ну конечно! Ведь я же вам говорю, это никого не касается, это только наше с ним!.. Он и правда был как сумасшедший... У меня уже сил не было, я засыпала, а он будил меня и кричал в ухо: а кто тогда свалился с качелей? И если я вспоминала, он хватал меня в охапку, бегал со мной по дому и орал: правильно, все так и было, умница, правильно!

— И он не расспрашивал вас, что сейчас с учителем, где школьные друзья?

— Я же вам объясняю: он ни о чем не расспрашивал! Можете вы это понять? Он рассказывал, он вспоминал и требовал, чтобы я тоже вспоминала...

— Да, понимаю, понимаю... — сказал Максим. — А что он, по-вашему, намеревался делать дальше?

Она посмотрела на него с презрением.

— Ничего вы не понимаете, — сказала она.

Некоторое время они молчали.

Голос Максима:

«...В общем, она права. Я получил ответы на вопросы Экселенца. Я знаю теперь, что Абалкин НЕ интересовался работой Глумовой, что он НЕ намеревался использовать ее для проникновения в Музей, но я совершенно не понимаю, какую цель он преследовал, устраивая эту ночь воспоминаний. Сентиментальность? Дань детской любви? Возвращение в детство? Не верю. Цель была практическая. Абалкин хорошо ее продумал и достиг, не возбудив у женщины никаких подозрений. Ведь она тоже явно не понимает, что это было на самом деле. Остается еще один вопрос. Неприятный вопрос. Можно схлопотать по физиономии и вполне заслуженно...»

— Майя Тойвовна, — произнес Максим, глядя в сторону. — Скажите, а чем было вызвано такое ваше отчаяние, которому я был невольным свидетелем в нашу прошлую встречу?

Он спросил и замер, ожидая взрыва. Но взрыва не произошло.

— Я была дура, — сказала Майя Глумова довольно спокойно. — Дура истеричная. Мне почудилось тогда, что он выжал меня как лимон и выбросил за порог... Теперь-то я понимаю: ему и в самом деле не до меня... Я, дура, все требовала от него объяснений, а он ведь не мог мне ничего объяснить. Он же знает, наверное, что вы его разыскиваете...

Максим поднялся.

— Большое спасибо, Майя Тойвовна. Я ухожу, по-моему, вы неправильно поняли наши намерения. Никто не хочет ему вреда, клянусь вам. И если вы встретитесь с ним, постарайтесь, пожалуйста, внушить ему эту мысль.

Она не ответила.

Когда Максим в кабинете Экселенца закончил доклад, Экселенц сказал задумчиво:

— И она там так и сидит... Почему?

— Ждет.

— Разве он ей назначил?

— Насколько я понимаю — нет.

— Бедняга... — проворчал Экселенц. Потом он спросил: — У тебя появились какие-то новые соображения?

— Не знаю... — произнес Максим. — Наверное, нет. Я просто подумал... в его поступках ощущается какая-то логика. Они связаны между собой. Он все время применяет один и тот же прием — ошарашивает человека каким-то заявлением или вопросом, а потом слушает, что бормочет этот ошарашенный... По-моему, он хочет что-то узнать, что-то о своей жизни... что-то такое, что от него скрыли... Экселенц, он каким-то образом узнал, что с ним связана тайна личности.

Экселенц выслушал его внимательно и некоторое время разглядывал в упор, словно видел перед собой что-то новое и интересное.

— Такого рода соображения вряд ли помогут тебе в работе — сказал он, помолчав. — Еще раз советую тебе: не отвлекайся! Что у тебя сейчас на очереди? Посольство голованов? Хорошо. Займись посольством голованов. И возвращайся поскорее. Ты мне нужен здесь.

В Канаде была глубокая ночь. Невидимая река шумела сквозь шуршанье дождя, а прямо перед Максимом мокро отсвечивал легкий металлический мост, над которым светилось большое табло на английском, французском, русском и китайском языках: «Территория народа голованов».

Максим перешел мост и оказался в лесу. Лес был густой, небо было сплошь обложено, и весь этот ночной мир казался Максиму серым, плоским и мутноватым, как старинная фотография.

Когда Максим заметил голована Щекна, тот понял это мгновенно и сразу оказался на тропинке перед ним.

— Я здесь, — объявил он.

— Вижу, — сказал Максим.

— Будем говорить здесь, — сказал Щекн.

— Хорошо, — сказал Максим.

Голован сейчас же сел, совершенно как собака, разговаривающая с хозяином, — крупная толстая большеголовая собака с маленькими треугольными ушами торчком, с большими круглыми глазами под массивным широким лбом. Голос у него был хриловатый, и говорил он без малейшего акцента, так что только короткие рубленые фразы и несколько преувеличенная четкость артикуляции выдавали в его речи чужака.

— Что тебе нужно? — спросил он прямо.

— Тебе сказали, кто я?

— Да. Ты журналист. Пишешь книгу про мой народ.

— Это не совсем так. Я пишу книгу о Льве Абалкине. Ты его знаешь.

— Весь мой народ знает Льва Абалкина.

— Вот как? И что же твой народ думает о Льве Абалкине?

— Мой народ не думает о Льве Абалкине. Он его знает.

— Я хотел спросить: как твой народ относится к Льву Абалкину?

— Он его знает. Каждый. От рождения и до смерти.

— Что ты можешь рассказать мне о Льве Абалкине?

— Ничего, — коротко ответил Щекн. Он поднес переднюю лапу к морде и принялся шумно выкусывать между когтями. Не по-собачьи, а так, как это делают иногда каши кошки.

Максим начал с другого конца.

— Я знаю, что Лев Абалкин твой друг, — сказал он. — Вы жили и работали вместе. Очень многие земляне хотели бы знать, что думает об Абалкине его друг и сотрудник голован.

— Зачем?

— Опыт.

— Бесплезный опыт.

— Бесплезного опыта не бывает, — возразил Максим.

Щекн принялся за другую лапу и через несколько секунд проворчал невнятно:

— Задавай конкретные вопросы.

Максим сказал:

— Мне известно, что в последний раз ты работал с Абалкиным пятнадцать лет назад. Приходилось тебе после этого работать с другими землянами?

— Приходилось. Много.

— Ты почувствовал разницу?

Щекн вдруг замер, а затем медленно опустил лапу и поднял лобастую голову. Глаза его на мгновение озарились мрачным светом. Однако и секунды не прошло, как он вновь принялся глотать свои когти.

— Трудно сказать, — проворчал он. — Работы разные, люди тоже разные. Трудно.

— Хорошо, — сказал Максим. — Ты с ним встретился. Он снова пригласил тебя работать. Ты согласился?

— Он не приглашал меня работать.

— Тогда, о чем же вы говорили?

— О прошлом... — буркнул Щекн. — Никому не интересно.

— Как тебе показалось, он сильно изменился за эти пятнадцать лет?

— Это тоже не интересно.

— Нет. Это тоже интересно. Я тоже видел его недавно и обнаружил, что он сильно изменился. Но я землянин, а мне надо знать твое мнение.

— Мое мнение: да.

— Вот видишь! И в чем же он, по-твоему, изменился?

— Ему больше нет дела до народа голованов.

— Правда? А со мной он только о голованах и говорил!

Глаза Щекна озарились красным.

— Когда это было?

— Позавчера. А почему ты решил, будто ему больше нет дела до народа голованов?

Щекн вдруг объявил:

— Мы теряем время. Не задавай пустых вопросов. Задавай настоящие вопросы!

— Хорошо. Задаю настоящий вопрос. Где он сейчас?

— Не знаю.

— Что он намеревался делать?

— Не знаю.

— Что он тебе говорил? Мне важно каждое его слово.

И тут Щекн принял странную, неестественную даже позу: присел на напружиненных лапах, вытянул шею и уставился на Максима снизу вверх. Затем, мерно покачивая тяжелой головой вправо и влево, он заговорил, отчетливо выговаривая слова:

— Слушай внимательно, понимай правильно и запоминай надолго. Народ землян не вмешивается в дела народа голованов. Народ голованов не вмешивается в дела народа землян. Так было, так есть и так будет. Дело Льва Абалкина есть дело народа землян. Это решено. А потому: не ищи того, чего нет. Народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину.

У Максима вырвалось:

— Он просил убежища? У вас?

— Я сказал только то, что сказал: народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину. Больше ничего. Ты понял это?

— Я понял это, — медленно проговорил Максим и продолжил: — Но меня не интересует это. Повторяю свой вопрос: что он тебе говорил?

— Я отвечу. Но сначала повтори мне то главное, что я тебе сказал.

— Хорошо, я повторю. Народ голованов не вмешивается в дело Абалкина и отказывает ему в убежище. Так?

— Так. И это — главное.

— Теперь отвечай на мой вопрос.

— Отвечаю. Он спросил меня, есть ли разница между ним и другими людьми, с которыми я работал. Точно такой же вопрос, какой задавал мне ты.

Едва кончив говорить, он повернулся и скользнул в заросли. Ни одна ветка ни один лист не шевельнулся, а его уже не было. Он исчез.

— Как вам это нравится? — спросил Максим Экселенца. — Ай да Щекн! Помните, что пишет о нем Абалкин? «Я учил его языку и как пользоваться видеофоном. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями... Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонностью, прощал ему такие вещи, какие не прощаю никому в мире... Если придется, я буду драться за него, как за землянина, как за самого себя. А он? Не знаю...» Вот теперь и узнал.

Экселенц сказал:

— Ты всерьез допускаешь, что Лев Абалкин мог просить у них убежища?

— Я не знаю, просил ли он убежища, но в убежище ему отказано. Теми самыми существами, ради которых он в свое время был готов на все...

— По-моему, ты его жалеешь, — сказал Экселенц.

Максим наклонился и принялся обирать репья с мокрых штанин.

— Почему бы и нет? — сказал он раздраженно. — Если я вижу, что человек с изуродованной судьбой мечется, не находя себе места, как отравленный, и сам отравляет всех, с кем встречается... отчаянием, обидой, страхом...

— Я тебе еще раз напоминаю, Мак, — произнес Экселенц. — Он опасен! И он тем более опасен, что сам об этом, видимо, не знает.

— Да кто он такой, черт возьми? — спросил Максим, — Обезумевший робот?

— У робота не может быть тайны личности, — сказал Экселенц. — Не отвлекайся.

Максим засунул репья в карман куртки и сел прямо.

— Сейчас ты можешь идти домой, — сказал Экселенц. — Будь поблизости, в черте города, и жди моего вызова. Возможно, сегодня ночью он попытается проникнуть в Музей. Тогда будем его брать.

— Хорошо, — сказал Максим без всякого энтузиазма.

Экселенц, откровенно оценивая, оглядел его.

— Надеюсь, ты в форме? Будете брать его вдвоем. Я уже слишком стар для таких упражнений.

В 01.08 радиобраслет на запястье Максима пискнул, и приглушенный голос Экселенца пробормотал скороговоркой: «Максим, быстро, Музей, главный вход, жду тебя...»

Максим скатился с крыльца, промчался по ночному пустому бульвару и нырнул в будку нуль-транспортировки. Он выскочил на Площади Звезды и скользнул в тень Музея. Экселенц уже возился у дверей главного входа, орудуя магнитной отмычкой. Дверь распахнулась.

— За мной, — скомандовал Экселенц и нырнул во тьму.

Они неслись огромными неслышными скачками, обтянутые черным, похожие на тени средневековых демонов. Экселенц вел Максима по сложной извилистой кривой из зала в зал среди статуй и макетов, похожих на уродливые механизмы, среди механизмов и аппаратов, похожих на уродливые статуи. Нигде не было света, видимо, автоматика была заранее отключена.

Они остановились, только оказавшись в кабинете-мастерской Майи Тойвовны Глумовой. Пустые столы. Стеллажи вдоль стен,

установленные инопланетными диковинами. А из кресла, в котором давеча сидел журналист Каммерер, поднялся им навстречу Григорий Каммерер-младший, тоже весь в черном, почти невидимый в темноте.

Экселенц шагнул к стеллажам, согнулся, с натугой вытащил что-то с полки и направился к столу, расположенному прямо перед входом. Слегка откинувшись корпусом назад, он нес в опущенных руках длинный предмет, какой-то плоский брусок с закругленными краями. Осторожно, без малейшего стука он поставил этот предмет на стол, на мгновение замер, прислушиваясь, а потом вдруг, как фокусник, потянул из нагрудного кармана длинную пеструю шаль с бахромой. Ловким движением расправил ее и набросил поверх бруска. Потом повернулся к обоим Каммерерам и едва слышно прошептал:

— Когда он прикоснется к платку — берите его. Если он заметит нас — берите его. Встаньте здесь.

Максим встал по одну сторону двери, Гриша — по другую, а сам Экселенц встал рядом с Гришей — позади и несколько правее. Сначала ничего не было слышно. Даже дыхания троих затаившихся людей. Потом вдруг послышался шум. Шум был, прямо сказать, основательный — где-то в недрах музея обрушилось нечто обширное, металлическое, разваливающееся в падении. Максим с Экселенцем обменялись удивленными взглядами. Звон, лязг и дребезг постепенно прекратились, но теперь стали слышны другие звуки. Много разных звуков. Кто-то явно приближался, нисколько не скрываясь. Он волочил ноги и звучно шаркал подошвами, Он задевал за притолоки и за стены. Один раз он налетел на какую-то мебель и разразился серией невнятных восклицаний с преобладанием шипящих. И вот на стены кабинета из открытой двери упали слабые электрические отблески.

— Это не он, — сказал Максим Экселенцу почти вслух.

Экселенц кивнул. Вид у него был недоумевающий и угрюмый. А потом он вдруг оттянул на себе борт черной куртки и правой рукой принялся засовывать за пазуху большой черный револьвер. Увидевши его, Каммерер-старший обмер, потому что понял: Экселенц был готов убить Абалкина. Он был так ошеломлен, что забыл обо всем на свете, а Каммерер-младший, по-прежнему напрягшись, ждал, вцепившись в дверной проем.

Тут в мастерскую ворвался толстый столб яркого света, и, зацепившись в последний раз за притолоку, вошел лже-Абалкин.

Вообще-то говоря, он был даже чем-то похож на Льва Абалкина: ладный, крепкий, с длинными черными волосами до плеч. Он был в

белом просторном плаще и держал перед собой электрический фонарь. В другой руке у него был большой портфель. Войдя, он остановился, провел лучом по стеллажам и произнес вслух:

— Ну, кажется, это здесь.

Голос у него был скрипучий, а тон — нарочито бодрый. Видимо, он чувствовал себя неловко, а может быть, ему было жутковато.

Теперь было видно, что это, собственно, старый человек. У него были впалые морщинистые щеки, очень высокий морщинистый лоб, длинный острый нос с горбинкой и длинный острый подбородок. В общем, он был похож не столько на Льва Абалкина, сколько на Шерлока Холмса.

Бегло оглядевшись, он подошел к столу, поставил свой портфель прямо на цветастый платок, а сам, подсвечивая себе фонариком, принялся осматривать стеллажи. При этом он непрерывно бормотал что-то себе под нос:

— Ну, это всем известно... бур-бур-бур... Обыкновенный илилизиум... бур-бур-бур... Предметы невыясненного назначения, ха! Хлам и хлам... бур-бур-бур... Может быть, и не на месте... Засунули куда-нибудь, запихали, спрятали... бур-бур-бур...

Экселенц следил за всеми этими манипуляциями, заложивши руки за спину, и на лице его было выражение безнадежной усталости или даже усталой скуки.

Когда старик добрался до самой дальней секции, Экселенц тяжело вздохнул и сказал брезгливо:

— Ну что вы там ищете, Бромберг? Детонаторы?

Старик Бромберг тоненько взвизгнул и шарахнулся в сторону, повалив стул.

— Кто здесь? — завопил он фальцетом, лихорадочно шаря лучом вокруг себя. — Кто это?

— Да я это, я, — отозвался Экселенц еще более брезгливо. Он подошел к столу и уселся на край рядом с портфелем. — Перестаньте вы трястись...

— Кто вы? Какого дьявола! — луч уперся в Экселенца. — А-а! Сикорский! Ну, я так и знал!

— Уберите фонарь, — приказал Экселенц, заслоняя лицо ладонью.

— Я так и знал, что это ваши штучки! — вопил старикан Бромберг. — Я сразу понял, кто стоит за всем этим бездарным спектаклем!

— Уберите фонарь, не то я его расколочу! — гаркнул Экселенц.

— Попрошу на меня не орать! — взвизгнул Бромберг, но луч отвел. — И не смейте прикасаться к моему портфелю!

Экселенц встал и пошел на него.

— Не смейте ко мне подходить! — завопил Бромберг. — Я вам не мальчишка! Стыдитесь! Ведь вы же старик!

Экселенц подошел к нему, легко отобрал фонарь и поставил на ближайший столик рефлектором вверх.

— Присядем, Бромберг, — сказал он. — Надо поговорить.

— Эти мне ваши разговоры... — пробурчал Бромберг и уселся.

Поразительно, но он уже совершенно успокоился. Бодренький крепенький старичок. Пожалуй, даже веселый.

— Давайте попробуем говорить спокойно, — предложил Экселенц.

— Попробуем, попробуем! — бодро отозвался Бромберг. — А что это за молодые люди подпирают стены у дверей? Вы обзавелись телохранителями?

Экселенц сказал:

— Это Максим Каммерер и Григорий Каммерер. Сотрудники КОМКОНа. А это — доктор Айзек Бромберг, историк науки.

Оба Каммерера кивнули, а Бромберг немедленно объявил:

— Я так и знал. Разумеется, вы побоялись, что один на один со мной не справитесь, Сикорский... Садитесь, садитесь, молодые люди, устраивайтесь поудобнее.

— Сядьте, Максим, — сказал Экселенц.

Максим сел в знакомое кресло для посетителей, а Гриша остался стоять у двери.

— Так я жду ваших объяснений, Сикорский, — произнес Бромберг. — Что означает эта засада?

— Я вижу, вы сильно перепугались.

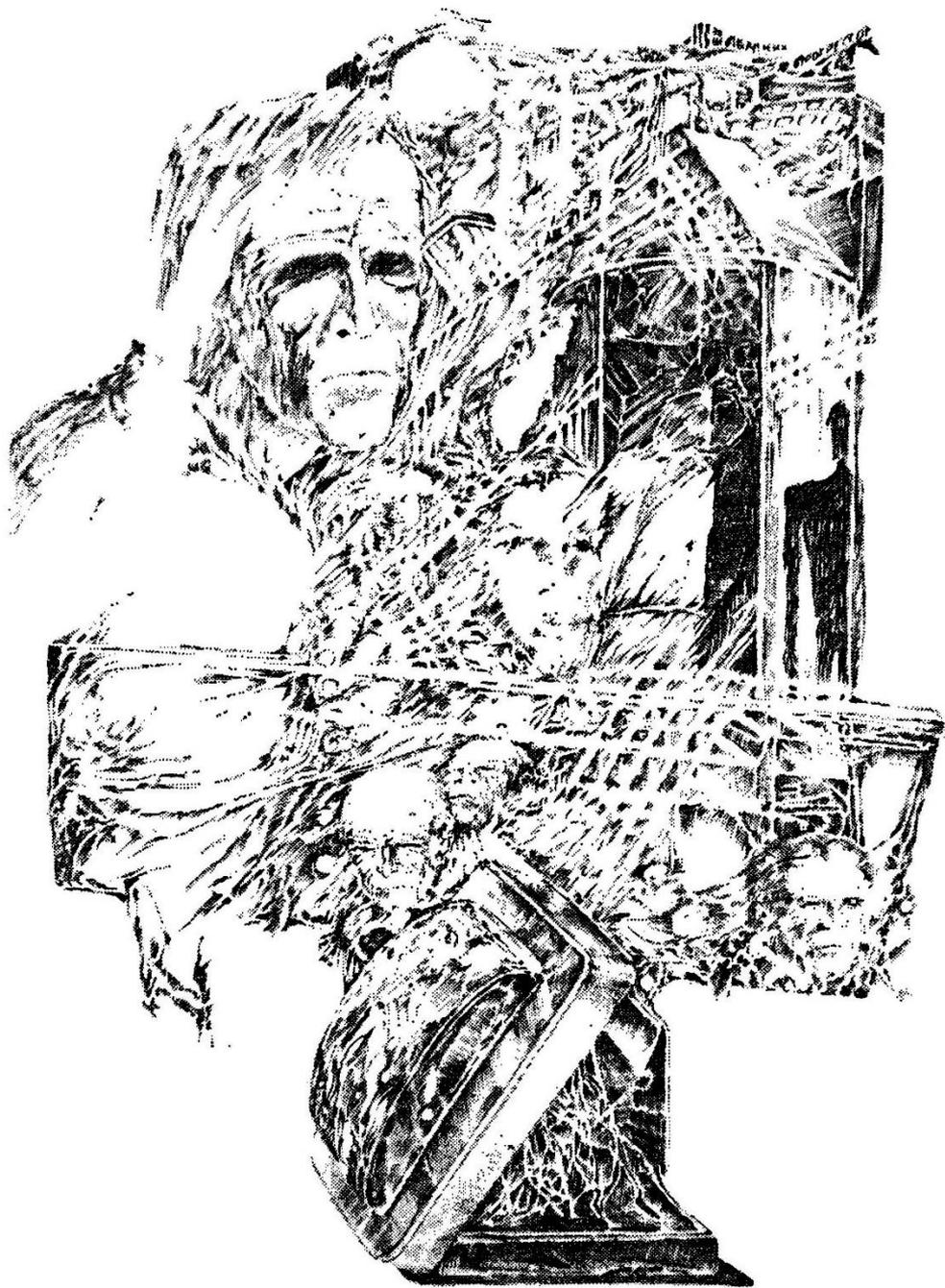
— Вздор! — мгновенно воспламенился Бромберг. — Чушь какая! Слава богу, я не из пугливых...

— Но вы так ужасно завопили и повалили так много мебели...

— Ну, знаете ли, если у вас над ухом в абсолютно пустом здании, ночью...

— Абсолютно незачем ходить в абсолютно пустые здания по ночам...

— Во-первых, это абсолютно не ваше дело, Сикорский, когда и куда я хожу! А во-вторых, когда еще вы мне прикажете ходить? Днем меня не пускают. Третий день в Музее идут какие-то подозрительные ремонты, какие-то таинственные смены экспозиций... Музей закрыт! Для кого? Для меня! Члена ученого совета этого Музея! Я сразу понял, чьи уши торчат из-за кулис! И теперь я спрашиваю: зачем это вам понадобилось, Сикорский? Какой срам! Закрытие Музея! Дурацкие ночные засады! Кто, черт побери, выключил здесь все электричество?..



Голос его сорвался, и он мучительно заперхал, стуча себя обоими кулаками по груди.

— Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы? — яростно просипел он сквозь перханье.

Экселенц тоже осатанел.

— Я хотел бы знать, Бромберг, — сдавленным голосом произнес он, — зачем вам понадобились детонаторы.

— Ах, вы хотели бы это знать! А я хотел бы знать, каким образом вы оказались в Музее ночью, Сикорский! Как вы проникли в этот Музей, а? Отвечайте!

— Это не относится к делу, Бромберг!

— Вы — взломщик, Сикорский! — объявил Бромберг. — Вы докатились до взлома!

— Это вы докатились до взлома, Бромберг! — взревел Экселенц. — Вы! Вам было совершенно ясно и недвусмысленно сказано: доступ в Музей прекращен!

— Я член совета Музея! Вот мой ключ! Мне полагается ключ от служебного входа, и я воспользовался им, чтобы прийти сюда...

— Посреди глухой ночи и вопреки прямому запрету дирекции Музея?

— Посреди глухой ночи, но все-таки с ключом! А где ваш ключ, Сикорский? Или у вас магнитная отмычка? Покажите мне, пожалуйста, ваш ключ, Сикорский!

— У меня нет ключа! Он мне не нужен! Я нахожусь здесь по ДОЛГУ, а не потому, что мне попала вожжа под хвост! Старый вы, истеричный дурак!

И тут их, видимо, обоих схватило. Они замолчали. Перестали сверлить друг друга огненными взорами, разом полезли в карманы, извлекли свои капсулы, один выкатил на ладонь два белых шарика, другой — три. Потом шарики были отправлены под язык, а Бромберг, отдуваясь, вытащил старомодный носовой платок и принялся обтирать лицо и шею.

— Айзек, — сказал Экселенц и причмокнул, — что вы будете делать, когда я умру?

— Спляшу качучу, — сказал Бромберг мрачно. — Не говорите глупостей.

— Айзек, — сказал Экселенц, — зачем вам все-таки понадобились детонаторы?.. Подождите, не начинайте все с начала. Дело в том, что именно в эту ночь за ними должен был прийти совсем другой человек. Если это просто невероятное совпадение, то так и скажите, и мы расстанемся. У меня голова разболелась...

— А кто это должен был за ними прийти? — подозрительно спросил Бромберг.

— Лев Абалкин, — сказал Экселенц утомленно.

— Кто это такой?

— Вы не знаете Льва Абалкина?

— В первый раз слышу.

— Верю, — сказал Экселенц.

— Еще бы! — сказал Бромберг высокомерно.

— Вам я верю, — сказал Экселенц. — Но я не верю в совпадения... Слушайте, Айзек, неужели это так трудно — просто, без кривляний рассказать, почему вы именно сегодня пришли за детонаторами...

— Мне не нравится слово «кривлянья».

— Я беру его назад, — сказал Экселенц.

Бромберг снова принялся утираться.

— Пожалуйста, — объявил он. — Вы прекрасно знаете, Рудольф, что в отличие от вас я ненавижу все и всяческие секреты. Это вы сами поставили меня в положение, когда я вынужден кривляться и ломать комедию. А между тем все очень просто. Сегодня утром ко мне явился некто... Вам обязательно нужно имя?

— Нет.

— Некий молодой человек. О чем мы с ним говорили — несущественно, я полагаю. Разговор носил достаточно личный характер. Но во время разговора я заметил у него вот здесь... — Бромберг ткнул пальцем в сгиб локтя правой руки, — довольно странное родимое Пятно. Я даже вообразил сначала, что это татуировка... Вы знаете, Рудольф, татуировки — это мое хобби... Но молодой человек сказал: нет, это родимое пятно. Больше всего оно было похоже на букву «Ж» в кириллице или, скажем, на японский иероглиф «сандзю». Вам это ничего не напоминает, Рудольф?

— Напоминает, — сказал Экселенц.

— Вот как? Вы что — сразу сообразили? — спросил Бромберг с завистью.

— Да, — сказал Экселенц.

— М-м-м... А вот я — не сразу. Молодой человек уже давно ушел, а я все сидел и вспоминал, где я мог видеть такой значок... В точности такой, понимаете? В конце концов вспомнил. Надо было проверить, а под рукой — ни одной репродукции. Я бросаюсь в Музей — Музей закрыт...

— Максим, — сказал Экселенц, — будьте добры, дайте нам сюда эту штуку, которая под шалью. Только осторожно, пожалуйста.

Максим повиновался; Он поставил тяжелый брусок перед Экселенцем, Экселенц придвинул его поближе к себе и попытался приподнять крышку, но пальцы у него скользили, и крышка не поднималась.

— Дайте-ка мне, — нетерпеливо сказал Бромберг.

Он оттолкнул Экселенца, взялся за крышку обеими руками, поднял ее и положил в сторону.

Внутри открылся ряд из тринадцати аккуратных круглых гнезд (сантиметров по семи в диаметре). В одиннадцати из них помещались круглые серые блямбы, украшенные коричневатыми, слегка расплывшимися иероглифами. Два гнезда были пусты, и видно было, что дно их выстлано белесоватым ворсом, похожим на плесень, и ворсинки эти заметно шевелились, словно живые.

Расплывшаяся стилизованная буква «Ж» была на третьем слева «детонаторе», и Экселенц, подвесив над ним свой длинный указательный палец, произнес:

— Он?

— Да, да! — нетерпеливо отозвался Бромберг, отпихивая его руку.

— Не мешайте! Вы ничего не понимаете...

Он вцепился ногтями в края «детонатора» и осторожно принялся как бы вывинчивать его из гнезда, приговаривая:

— Здесь совсем не в этом дело. Неужели вы воображаете, будто я был способен перепутать... Чушь какая...

Он вытянул «детонатор» из гнезда и стал медленно поднимать его над футляром все выше и выше. За серым толстеньким диском тянулись белесоватые нити, утончались, лопались одна за другой, и когда лопнула последняя, Бромберг перевернул «детонатор» нижней поверхностью вверх, и там, среди шевелящихся полупрозрачных ворсинок, стал виден Тот же значок, только черный, маленький и очень отчетливый, словно его вычеканили в сером материале.

— Да! — сказал Бромберг торжествующе. — В точности такой. Я так и знал, что не могу ошибиться.

— В чем именно? — спросил Экселенц.

— Размер, детали, пропорции... Вы понимаете, родимое пятно у него не просто похоже на этот значок — оно в точности такое же!.. — Бромберг пристально посмотрел на Экселенца. — Слушайте, Рудольф, услуга за услугу. Вы что — вы их всех пометили?

— Нет, конечно.

— Значит, у них это было с самого начала? — спросил Бромберг, постукивая себя пальцем по сгибу руки.

— Нет. Они появились позже... Скажите, Айзек, а о чем вы с ним все-таки разговаривали?

— О чем я с ним разговаривал... — повторил Бромберг, осторожно ввинчивая «детонатор» на место. — Вообще-то это вас совершенно не касается, Сикорский... Он пришел ко мне, лично ко мне как к крупнейшему знатоку запрещенной науки. Он искал родителей, которые при таинственных обстоятельствах сгинули у него сорок лет назад во время какого-то засекреченного эксперимента. Если бы он пришел к вам, Сикорский, вы бы, разумеется, не сказали бы ему ни слова, хотя вы-то наверняка знаете, что случилось с этими людьми... А я... Что ж, мне пришлось достать мою картотеку, и мы вместе просмотрели и обсудили все закрытые эксперименты того периода. Там была Операция «Зеркало», проект «Сумасшедший Голем» ... что там еще... история саркофага-инкубатора, история операции «Тень» ...

— Он был примерно вашего роста, бледный, с длинными черными волосами, — сказал Экселенц.

— Да. Его зовут Александр Дымок.

— Его зовут Лев Абалкин, — сказал Экселенц мрачно. — Большое вам спасибо, Айзек. Значит, теперь он знает об истории с саркофагом-инкубатором...

— А почему бы ему об этом и не знать? — агрессивно вскинулся Бромберг.

— Действительно... — медленно проговорил Экселенц, поднимаясь. — Почему бы ему об этом не знать?

У себя в кабинете Экселенц прежде всего сварил две чашки кофе и принялся рассказывать. Время от времени он выбрасывал на стол перед Максимом фотографии, а иногда включал видеопроектор.

— ...Эта история началась сорок лет назад. На безымянной планетке отряд следопытов совершенно случайно обнаружил на глубине тридцати метров в базальтовой толще обширное помещение. В помещении располагалось необычайно сложное биологическое устройство, которое сначала называли саркофагом. Очень скоро выяснилось, однако, что на самом деле это грандиозный эмбриональный сейф совершенно фантастической конструкции. Тогда его стали называть инкубатором. Инкубатор содержал тринадцать оплодотворенных яйцеклеток вида хомо сапиенс. Возраст этого саркофага-инкубатора был определен немедленно: пятьдесят пять тысяч лет. Пятьдесят пять тысяч лет назад какая-то сверхцивилизация, обогнавшая нас на тысячи веков, зачем-то заложила эту эмбриологическую мину с неизвестными и абсолютно непонятными целями... чтобы нам веселее было

жить... Мы знаем только об одной сверхцивилизации в нашей Галактике, хотя в глаза ее никогда не видели: это известные тебе Странники. Ты веришь в Странников?

— Разумеется, — сказал Максим. — Только при чем здесь — «веришь»? Они наверняка существовали и, может быть, существуют и сейчас...

— Так вот, пятьдесят пять тысяч лет назад они оставили этот самый саркофаг. Мы нашли его случайно, а значит, скорее всего, не вовремя. Видимо, следопыты, сами того не желая, включили какой-то механизм: через двое суток яйцеклетки начали делиться.

...Собрался Мировой Совет. Было высказано множество остроумнейших гипотез. Я встал за ту из них, которая не была самой остроумной и даже самой правдоподобной, я встал за ту, которая требовала от всех нас максимальной ответственности. Я представил себе самое опасное, что можно ожидать. Странники заложили в эти яйцеклетки некую генетическую программу. Приходит время, и мы натываемся на саркофаг-инкубатор. Включается механизм деления. На свет появляются тринадцать человек, которые ничем не отличаются от нас с тобой. Но в нужный момент включается программа! И они начинают делать то, ради чего организована вся эта затея. Что именно — мы не знаем. С какой целью — не знаем и даже, наверное, представить себе не можем.»

...Я потребовал у Мирового Совета. Первое. Все работы, хоть как-то связанные с этой историей, должны быть засекречены. Сведения о них не подлежат разглашению ни при каких обстоятельствах. Основание: хорошо всем известный закон о тайне личности. Второе. Ни один из «подкидышей» не должен знать обстоятельство своего появления на свет. Основание: тот же закон. Третье. «Подкидыши» должны быть сразу же после рождения разъединены, и в дальнейшем должны быть приняты меры, чтобы они не встречались друг с другом и ничего друг о друге не знали. Четвертое. В дальнейшем они должны получить взятые специальности. Сами обстоятельства их жизни естественным образом должны затруднять им посещения Земли даже на короткие сроки... Я преследовал только одну цель: когда включится программа, всем этим «подкидышам» должно быть как можно труднее. Пусть он не понимает, что с ним происходит. Пусть у него не будет соратников# с которыми он мог бы посоветоваться и объединиться. Пусть он будет при этом далеко от Земли. И пусть ему будет нелегко попасть на Землю. Мне повезло. На мою сторону встали не только те, кто разделял мои опасения, — таких было меньшинство, но и те, кто опасались за психику «подкидышей». Они считали, что

осознание такого необычайного своего происхождения способно нанести человеку психическую травму... Как показал дальнейший опыт, они были тоже правы. Как раз в то время, когда мы с тобой крутились на Саракше, дураки-психологи в порядке эксперимента рассказали одному из «подкидышей» всю правду о его происхождении. Сначала все было хорошо» а на сто тридцатый день он погиб у себя на Горгоне. Скорее всего, покончил с собой. Видимо, это не просто — сознавать, что ты, землянин до мозга костей, никогда ничего не любивший кроме Земли, несешь в себе, может быть, какую-то страшную угрозу для человечества...

...Первые десять лет все было хорошо. К этим мальчишкам и девочкам были прикреплены самые лучшие врачи и самые лучшие педагоги. Ребяшки росли самые обыкновенные. В чем-то они были лучше, а в чем-то хуже других детей. Потом у них стали появляться эти значки. На сгибе локтя. Припухлость, синяк, а через неделю — родимое пятно странной формы. Я сначала не обратил на это внимания. Потом умные люди принесли и показали мне фотоснимок «детонаторов».

...Это сейчас мы называем их «детонаторами», а тогда это называлось «элемент жизнеобеспечения пятнадцать дробь а». В недрах саркофага-инкубатора было найдено много удивительных и непонятных вещей, в том числе и этот ящик с тринадцатью гнездами. Тринадцать замысловатых иероглифов. Тринадцать сгибов детских локтей. По значку на локоть. Причем совпадение абсолютное. Вот тогда и было произнесено слово «детонаторы». Мы еще ничего не понимали и не знали тогда, но это выскочило в нашем сознании одновременно: тринадцать загорелых исцарапанных бомб лазают по деревьям и плещутся в речках в разных концах земного шара, а здесь тринадцать детонаторов к ним тихо ждут своего часа.»

...Это была, конечно, минута слабости. Ниоткуда не следовало, что диски со значками — это детонаторы к бомбам, возбудители скрытой программы. Просто, когда дело касалось «подкидышей», мы все уже привыкли предполагать самое худшее... Даже сама связь между «детонаторами» и «подкидышами» была поначалу только гипотезой. Потом эта гипотеза подтвердилась...

... «Детонаторами» занялись вплотную. Их обследовали, как умели. И ничего интересного не обнаружили до тех пор, пока не было решено разрушить один из них. «Детонатор» номер двенадцать, значок «М»-готическое, был разрушен и не восстановился. А спустя два дня в Северных Андах попала под горный обвал группа молодых туристов. Двадцать семь юношей и девушек во главе с инструктором.

Многие получили ушибы и ранения, но все остались живы. Кроме Эдны Ласко. Она была «подкидышем». На локте у нее был значок «М»-готическое. Эксперименты над «детонаторами» были сейчас же прекращены. Но через два года, как я тебе уже говорил, покончил с собой на Горгоне этот несчастный, которому открыли тайну его личности. Он погиб, а через две недели совершенно случайно было обнаружено, что соответствующий «детонатор», хранившийся, как и остальные, в Музее, исчез начисто, не оставив по себе даже пыли...

...Теперь ты понимаешь, каково мне было, когда ты доложил, что Майя Глумова работает в Музее, да еще в том самом секторе, где хранится футляр с «детонаторами» ...

Уже светало, когда Экселенц кончил рассказывать. Замолчав, он грузно поднялся, не глядя на Максима, и пошел снова заваривать кофе.

— Можешь спрашивать, — проворчал он.

«...Теперь с этой тайной на плечах мне ходить до конца жизни, — думал Максим. — Теперь я принимаю на себя еще одну ответственность, о которой, не просил и в которой, ей-богу, не нуждался. Теперь я обязан знать хотя бы то, что уже понятно до меня, а желательно — еще больше. А значит, по уши увязнуть в этой тайне, отвратительной, как все тайны, и даже, наверное, еще более отвратительной... Спасибо тебе, Экселенц, что до последнего момента ты старался удержать меня на самом краю этой тайны, и будь ты неладен, что все-таки не сумел и не удержал...»

— У тебя нет вопросов? — осведомился Экселенц.

Максим спохватился.

— То есть вы полагаете, что программа заработала, и он убил Тристана Гутенфельда?

— Мне больше нечего полагать. — Экселенц аккуратно разлил кофе и уселся на место. — Тристан был его наблюдающим врачом. Регулярно раз в месяц они встречались где-то в джунглях, и Тристан проводил профилактический осмотр. Якобы в порядке рутинного контроля за психикой профессора, а на самом деле — для того, чтобы убедиться: Абалкин пока остается человеком. На всем Саракше один Тристан знал, что Абалкину запрещено появляться на Земле. Во всем мире один Тристан знал номер моего спецканала. Это спецканал для связи лично с ним... И вот в день, назначенный для осмотра, он гибнет. А Лев Абалкин бежит на Землю, Лев Абалкин скрывается, Лев Абалкин звонит мне по спецканалу Тристана... — Он залпом выпил свой кофе и помолчал, жуя губами. — По-моему, ты не понял самого главного, Мак. Мы теперь имеем дело не с Абалкиным, а со

Странниками. Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников! — Он снова помолчал. — Я вообще не представляю, какая сила способна была заставить Тристана назвать мой номер кому бы то ни было, а тем более — Льву Абалкину. Ведь его пытали, Тристана...

— Абалкин пытал Тристана?

Экселенц пожал плечами.

— Программа пытала Тристана, — сказал он. — Абалкина больше нет.

— И вы полагаете, что сейчас программа гонит его на поиски «детонатора»?

— Мне больше нечего предполагать.

— Но ведь он ничего не знает о «детонаторах». Или это Тристан ему рассказал?

— Тристан ничего не знал о «детонаторах». И Абалкин ничего не знает. Знает программа!

— Подождите, — сказал Максим. — А как же остальные... одиннадцать, десять, сколько их там?

— Все в пределах нормы пока. Но ведь и значки появились у них не одновременно. Абалкин был самым первым. И у него у первого включилась программа. И слава богу, это дает нам хоть какой-то шанс. Мы можем сейчас следить за ним и теперь будем знать, как это с ними происходит... хоть немного сумеем подготовиться...

Максим сильно потер ладонями лицо.

— Экселенц, — сказал он. — Вы только поймите меня правильно, прошу вас. У меня нет сейчас цели смягчить, сгладить, приуменьшить... Но ведь вы не видели его. И вы не видели людей, с которыми он общался... Я все понимаю: гибель Тристана, бегство, звонок, по-вашему, спецканалу, скрывается, выходит на Глумову с «детонаторами»... Этакая безупречная логическая цепочка. Но, Экселенц, это ведь только логика! Вы избрали гипотезу о программе, и получается вот такая логика! Возьмите другую гипотезу, и появится какая-то другая логика, которая все эти факты отлично объяснит...

— Например?

— Я не могу сейчас ничего придумать. Если вы прикажете, я придумаю. Уверен в этом. Я другое хочу сказать. Обратите внимание: встречается с Глумовой — и ни слова о Музее, только детские воспоминания и любовь. Встречается с учителем — и только обида, будто бы учитель испортил ему жизнь... Разговаривает со мной — обида, будто я украл у него приоритет... Кстати, в рамках вашей логики, зачем ему вообще было встречаться с учителем? Со мной — еще туда-

сюда: хотел проверить, кто его выслеживает. А учитель здесь при чем? Теперь Щекн — дурацкая просьба об убежище... Это уже вообще ни в какие ворота не лезет!

— Лезет, Мак. Все лезет. Все так, как я и ожидал. Ты пойми: программа программой, а сознание сознанием. Он сам не понимает, что с ним происходит. Странники — не люди, и поэтому программа требует от него нечеловеческого. У него нет понятий для этого, ни слов, ни даже образов, поэтому он мечется, поэтому он совершает странные, нелепые поступки... Для этого и нужна была тайна личности, у нас есть теперь хоть какой-то запас времени. Представь себе, что он шел бы прямо к цели. Ни черта бы мы не успели его остановить, все было бы кончено еще третьего дня... А насчет Щекна ты не понял ни черта. Никакой просьбы об убежище там не было. Просто головы не люди, они почуяли, что он больше не человек, и демонстрируют нам свою лояльность... Я вижу, ты сомневаешься.

— Я видел его, Экселенц. Я видел учителя, и я видел Глумову. Он мечется. Да, он совершает странные поступки. Да. Только нелепого в этих поступках ничего нет. Есть какая-то цель, которой я не понимаю. И «детонаторы» здесь ни при чем... Поймите, Экселенц, он жалок, он несчастен. Я не вижу в нем ничего опасного... Можно еще кофе?

Экселенц поднялся и пошел заваривать новую порцию.

— Сомневаешься... — сказал он, стоя к Максиму спиной. — Счастливчик. Я бы и сам сомневался, если бы мог себе это позволить. Ты меня знаешь, Мак, я старый рационалист, я понавидался всякого, и я всегда шел от разума, и разум никогда не подводил меня. Мне отвратительны все эти фантастические кунштюки, все эти таинственные программы, составленные кем-то там пятьдесят пять тысяч лет назад... которые, видите ли, включаются и выключаются по непонятному принципу! Все эти мистические внепространственные связи между живыми душами и дурацкими кругляшками, запрятанными в футляр... Меня с души воротит от всего этого!

Он принес кофе и разлил по чашкам.

— Если бы мы с тобой были обыкновенными учеными, — продолжал он, — и просто занимались бы изучением некоего явления природы, с каким наслаждением я объявил бы все это цепью идиотских случайностей! Случайно погиб Тристан — что ж, не он первый, не он последний. Подруга детства Абалкина случайно оказалась хранительницей «детонаторов». Сам он совершенно случайно набрал номер моего спецканала, хотя собирался звонить кому-то другому... Клянусь тебе, самое маловероятное сцепление маловероятных совпадений казалось бы мне все-таки гораздо более правдоподобным, чем

идиотское, бездарное предположение о какой-то там вельзевуловой программе, которую заложили в человеческий зародыш... Но в том-то и дело, что мы с тобой не ученые. Ученый может ошибаться, каждая его ошибка — это, в конце концов, его личное дело. А мы ошибаться не должны. Нам все простят: невежество, мистицизм, суеверную глупость... одного нам не простят — если мы недооценили опасность. Если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях — мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры... вплоть до организации производства святой воды. И если окажется, что это была всего лишь флюктуация, и если над нами будет хохотать весь Мировой Совет и все школяры в придачу — слава богу, мы сделали все, что могли...

Он с раздражением отодвинул от себя чашку.

— Не могу я пить этот кофе, и есть я не могу уже четвертый день подряд...

— Экселенц, — сказал Максим. — Ну что вы в самом деле... Ну почему обязательно черт с рогами... В конце концов, что плохого мы можем сказать о Странниках? Мы же ничего про них не знаем совсем. Все-таки это сверхцивилизация... Это стало уже общим местом: сверхцивилизация может нести только добро.

— Сверхцивилизация может нести также еще и сверхдобро! А я не знаю, что это такое. И откровенно говоря, знать не хочу.

— Ну ладно, — сказал Максим. — Дело даже не в этом. Пусть даже вы правы: программа, детонаторы, черт с рогами... Ну что он нам может сделать, в конце концов? Ведь он же один!

— Мальчик, — произнес Экселенц почти нежно. — Ты думаешь над этим едва полчаса, а я ломаю голову вот уже сорок лет. И не только я, люди поумнее меня. И мы ничего не придумали, понимаешь? Не придумали ничего такого, на что можно было бы опереться. И никогда ничего не придумаем, потому что самые умные и опытные из нас — это всего-навсего люди. Не сверхлюди, а просто люди... Мы не знаем, чего они хотят. Мы не знаем, что они могут. И никогда не узнаем. Единственная надежда наша, что мы будем обязательно совершать шаги, которых они не предусмотрели. Даже они не могли предусмотреть все. Этого никто не может. Наверняка они предполагали, что мы найдем саркофаг веков этак через пять, а мы нашли его сейчас... Может быть, через пять веков человечество вообще утратит представление о зле и никому в голову уже не придет... не пришло бы... тьфу... в голову не придет принимать меры против «подкидышей»... Правда, с другой стороны мы эти меры приняли, но, может быть, этого и не

надо было делать?.. Или вот мы решили сейчас не допускать взбесившегося Абалкина к детонаторам. А может быть, именно этого они от нас и ждут?

Он положил лысый череп на ладони и замотал головой.

— Мы все, устали, Мак, — проговорил он. — Как мы все устали! Мы уже больше не можем думать на эту тему. От усталости мы становимся беспечными. Большинство Комиссии верит уже в гипотезу «жук в муравейнике». Ах, как хочется верить в это! Представляешь, какие-то умные дяди из чисто научного любопытства сунули в муравейник жука и с огромным прилежанием регистрируют нюансы муравьиной психологии... А муравьи-то перепуганы, а муравьи-то суетятся, жизнь готовы отдать за родимую кучу... и невдомек им, беднягам, что жук слезет, в конце концов, с муравейника да и побредет своей дорогой, не причинивши никому никакого вреда... Представляешь, Мак? Никакого вреда! Не суетитесь, муравьи, все будет хорошо... А если это не жук в муравейнике? А если это хорек в курятнике? Ты знаешь, что это такое, Максим, — хорек в курятнике?..

И тут он взорвался. Он грохнул кулаком по столу и заорал, уставясь на Максима бешеными зелеными глазами:

— Мерзавцы! Сорок лет они у меня вычеркнули из жизни! Сорок лет они делают из меня муравья! Я ни о чем другом не могу думать, я сделался трусом, я шарахаюсь от собственной тени, я не верю собственной бездарной башке... Ну что ты вытаращился на меня? Через сорок лет ты будешь такой же, а может быть, и гораздо скорее, потому что события пойдут вскачь! Они пойдут так, как мы, старичье, и не подозревали, и мы всем гуртом уйдем в отставку, потому что нам с этим не справиться. И тогда все это навалится на вас! Да только вам с этим тоже будет не справиться, потому что вы...

Он замолчал. Он уже смотрел не на Максима, а мимо него. И он медленно поднимался из-за стола. Максим обернулся.

На пороге, в проеме распахнутой двери, стоял Лев Абалкин.

— Лева! — произнес Экселенц изумленно-растроганным тоном. — Боже мой, дружище! А мы тут с ног сбились, вас разыскивая!

Лев Абалкин сделал неуловимое движение и вдруг сразу оказался возле стола.

— Вы — Рудольф Сикорский, начальник КОМКОНа, — произнес он тихим, удивительно бесцветным голосом.

— Так оно и есть, — отозвался Экселенц, радушно улыбаясь. — А почему столь официально? Садитесь, Лева.

— Я буду говорить стоя, — сказал Лев Абалкин.

— Бросьте, Лева, что за церемонии? Садитесь, прошу вас. Ведь нам предстоит долгий разговор, не правда ли?

— Нет, неправда, — сказал Абалкин. На Максима он даже не взглянул. — У нас не будет долгого разговора. Я не хочу с вами разговаривать.

Экселенц нахмурился.

— Как это — не хотите? — спросил он. — Вы, дорогой, на службе, вы обязаны отчетом. Мы до сих пор не знаем, что случилось с Тристаном... Как это — не хотите?

— Я один из тринадцати? — спросил Абалкин.

— Черт бы побрал этого дурака Бромберга... — проговорил Экселенц с досадой. — Да, Лева. К сожалению, это так. Вы один из тринадцати.

— Мне запрещено находиться на Земле? И всю жизнь я должен оставаться под надзором?

— Да, Лева. Это так. К сожалению.

Абалкин вполне владел собой. Лицо его было совершенно неподвижно, и глаза были полузакрыты, словно он дремал стоя. Чувствовалось однако, что человек находится на последнем градусе бешенства.

— Так вот, я пришел сюда сказать, — произнес он все тем же тихим бесцветным голосом, — что вы поступили со мной и всеми нами глупо и гнусно. Вы исковеркали мою жизнь, и в результате ничего не добились. Я — на Земле и больше никогда Землю не покину. Прошу вас иметь это в виду. Прошу иметь в виду также, что и надзора вашего я больше не потерплю и буду избавляться от него без всякой пощады.

— Как вы избавились от Тристана? — небрежно спросил Экселенц. Абалкин, казалось, не слышал этой реплики.

— Вы предупреждены, — сказал он. — Я вас предупредил, и теперь пеняйте на себя. Я намерен теперь жить по-своему, и прошу больше не вмешиваться в мою жизнь.

— Хорошо. Мы не будем вмешиваться. Но скажите мне, Лев, разве вам не нравилась ваша работа?

— Теперь я сам буду выбирать себе работу.

— Очень хорошо. Великолепно. А в свободное от работы время пораскиньте, пожалуйста, мозгами. Попробуйте представить себя на нашем месте. Как бы вы поступили с «подкидышами»?

Что-то вроде усмешки промелькнуло на лице Абалкина.

— Здесь нет материала для размышлений, — сказал он. — Здесь все очевидно. Надо было с самого начала рассказать мне всю правду, сделать меня своим сознательным союзником...

— А вы бы через пару месяцев покончили с собой? Как это случилось с Томасом Нильсоном... Это ведь страшно, Лева, ощущать себя угрозой для человечества, это не всякий выдержит...

— Чепуха. Это все выдумки ваших психологов. Я — землянин. Когда я узнал, что мне запрещено жить на Земле, вот когда я чуть не спятил! Только разумным роботам запрещено быть на Земле. И вот я мотался, как сумасшедший, по всему миру, искал доказательства, что я не робот, что у меня на самом деле было детство, что я на самом деле когда-то работал с головами, что моя память — это. моя память, настоящая, а не искусственная. Вы боялись свести меня с ума? Ну, так это вам почти удалось!

— А кто сказал, что вам запрещено жить на Земле?

— А что — это неправда? — осведомился Абалкин. — Может быть, мне разрешено жить на Земле?

— Теперь — не знаю... Наверное, да. Но посудите сами, Лева! На всем Саракше только один Тристан Гутенфельд знал, что вам не следует возвращаться на Землю. Но сказать это вам — он не мог... Или все-таки сказал?

Абалкин молчал. Лицо его по-прежнему оставалось неподвижным, но на матово-бледных щеках проступили серые пятна. Словно следы старых лишаяев.

— Ну, хорошо, — сказал, подождав, Экселенц.

Он демонстративно разглядывал свои ногти. — Пусть Тристан вам это все-таки рассказал. Не понимаю, как он мог себе это позволить, но — пусть. Тогда почему он не рассказал вам остального? Почему не объяснил причин запрета? Ведь были же причины — и весьма существенные, что бы вы об этом ни думали...

Медленная судорога прошла по серому лицу Абалкина, оно вдруг потеряло твердость и словно бы обвисло.

— Я не хочу об этом говорить, — громко и хрипло произнес он.

— Очень жаль, — сказал Экселенц. — Нам это очень важно.

— А мне важно только одно, — сказал Абалкин. — Чтобы вы оставили меня в покое.

Лицо его сделалось, как прежде, твердым. Глаза вновь полузакрылись, он снова сделался спокоен.

Экселенц заговорил — теперь уже совсем другим тоном:

— Лева. Разумеется, мы оставим вас в покое. Но я умоляю вас: если вы вдруг почувствуете в себе что-то непривычное... непривычное ощущение какое-нибудь... какие-нибудь странные мысли... просто больным вдруг себя почувствуете... Умоляю вас, сообщите об этом. Ну, пусть не мне, Горбовскому, Комову, Бромбергу, в конце концов...

Тогда Абалкин повернулся к нему спиной и пошел к двери. Экселенц почти кричал ему вслед, протягивая руку:

— Только сразу же! Сразу! Пока вы еще землянин! Пока вы не превратились в автомат! Пусть я виноват перед вами, но Земля-то перед вами не виновата ни в чем!..

— Сообщу, сообщу, — пренебрежительно сказал Абалкин через плечо. — Лично вам сообщу.

Он вышел, аккуратно притворив за собой дверь.

Несколько секунд Экселенц молчал, вцепившись руками в подлокотники кресла. Он напряженно прислушивался. Потом скомандовал вполголоса:

— За ним. Ни в коем случае не упускать. Я буду в Музее.

Выйдя из здания КОМКОНа, Лев Абалкин праздной походкой проследовал по улице Красных Кленов, зашел в кабину уличного видеофона и с кем-то переговорил. Разговор длился две минуты с небольшим, после чего Абалкин, все так же неторопливо, заложив руки за спину, свернул на бульвар и устроился там на скамейке возле постаментов с барельефом Строгова.

Он очень внимательно прочитал все, что было высечено на постаменте, потом рассеянно огляделся и некоторое время сидел в позе человека, отдыхающего от тяжелой работы: раскинул руки поверх спинки скамьи, откинул голову и вытянул на середину аллеи скрещенные ноги.

К нему собрались белки, одна прыгнула на плечо и ткнулась мордочкой ему в ухо. Он громко рассмеялся, взял ее в ладони и, подобрав ноги, посадил на колено. Белка так и осталась сидеть. Кажется, он разговаривал с нею.

Солнце только что взошло, улицы были почти пусты, а на бульваре, кроме Абалкина, не было ни души.

Максим наблюдал за ним из укрытия.

«...Вряд ли он не знает, что я за ним наблюдаю, — думал Максим. — Знает, конечно. Прогрессор новой школы. Профессионал... Ладно, с ним я разберусь, Экселенц — вот кто меня беспокоит по-настоящему. Не понимаю. Он убежден, что программа работает. Что разговаривать с Абалкиным бессмысленно. И он все-таки разговаривает с ним, и он отпускает Абалкина. Вместо того чтобы взять его прямо в кабинете и отдать в распоряжение врачей и психологов, он его отпускает... Над Землей нависла угроза. Чтобы ее предотвратить, пока достаточно просто изолировать Абалкина. Это можно сделать самыми элементарными средствами. Но он отпускает Абалкина, а сам идет в Музей.

Это может означать только одно: он совершенно уверен, что Абалкин в ближайшее время тоже явится в Музей. Зачем? За «детонаторами». Зачем же еще».

...Казалось бы, чего проще — сунуть эти «детонаторы» в списанный звездолет и загнать в подпространство до окончания времен. И — нет проблем. Нельзя. Уничтожать «детонаторы» нельзя — все эти бедняги погибнут. Неизвестно даже, можно ли их загонять на край Вселенной, не говоря уже о подпространстве...

...Экселенц сказал: «мы можем проследить за ним и узнать, как это с ними происходит» ... На будущее. Когда включится программа следующего, мы уже будем готовы... Значит, получается так. Абалкин является в Музей. А там его уже ждут. Мой Гришка и Экселенц...

...Экселенц его убьет. Господи помилуй! Он сидит здесь и играет с белочками, а через час Экселенц его убьет! Это же просто, как репа. Экселенц никогда не обнажает оружие, чтобы напугать или произвести впечатление, он уже готов был убить Абалкина этой ночью, и сейчас он сидит там в засаде только с одной целью: чтобы досмотреть это кино до конца, чтобы своими глазами увидеть, как все это происходит, как автомат Странников отыскивает дорогу, как он обнаруживает футляр — глазами? по запаху? шестым чувством? — как он открывает этот футляр, как выбирает свой «детонатор», что он намеревается делать с детонатором... и все. И ни секунды дольше. В эту секунду Экселенц нажмет спусковой крючок, потому что дальше рисковать он не станет... Ну нет. Этого я не допущу. Этого не будет. Хватит».

Максим вышел из укрытия и направился прямо к Абалкину. Когда он подошел, Абалкин глянул на него искоса и отвернулся. Максим присел рядом на скамью.

— Лева, — сказал он. — Уезжайте отсюда. Сейчас же.

— По-моему, я просил оставить меня в покое, — сказал Абалкин прежним тихим и бесцветным голосом.

— Вас не оставят в покое. Дело зашло слишком далеко. Вы для них больше не Лева Абалкин. Они считают, что Левы Абалкина больше нет. Вы для нас — автомат Странников.

— А вы для меня — банда ополоумевших от страха идиотов.

— Не спорю, — сказал Максим. — Но именно поэтому вам надо удирать отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Отправляйтесь на Пандору, Лева, Поживите там несколько месяцев, докажите им, что никакой программы внутри вас нет.

— А зачем? — произнес он. — Чего это ради я должен кому-то что-то доказывать? Тем более — ополоумевшим идиотам... Это, знаете ли, унижительно.

— Лева, — сказал Максим. — Представьте себе, что вы встретили компанию перепуганных детишек. Неужели вы посчитали бы унижительным покривляться перед ними и повалить дурака, чтобы их успокоить?

Абалкин впервые поглядел Максиму прямо в глаза.

— Зря стараетесь, — сказал он. — Я не позволю больше загнать меня на край Вселенной. Прекратите свою болтовню и оставьте меня в покое. Мне пора.

Он осторожно отогнал белок и поднялся. Максим тоже поднялся.

— Лева, — сказал он с отчаянием. — Вас убьют.

— Ну, это не так просто сделать, — небрежно отозвался Абалкин и пошел вдоль аллеи.

Максим пошел рядом с ним. Он все время говорил. Нес какую-то чушь...

— Вы не имеете права обижаться, — говорил он убедительно. — То есть имеете, конечно, я понимаю, они испортили вам жизнь... Но ведь и их тоже надо понять, они сорок лет живут как на иголках, они не знают, чего можно ожидать... Глупо же, глупо! Рисковать жизнью из одной только гордости... Вы сейчас жизнью рискуете, поймите вы наконец...

Абалкин только улыбался в ответ. Поведение Максима, видимо, забавляло его. Они дошли до конца аллеи и свернули на Сиреневую улицу. Вдали была уже видна площадь Звезды и громада Музея. Абалкин безусловно шел в Музей. Продолжая болтать, Максим спокойно и хладнокровно размышлял: «...Людей многовато на улицах... Впрочем, ничего страшного. Просто моему другу Льву Абалкину стало дурно, с каждым может такое случиться, надо только побыстрее доставить пострадавшего к ближайшему врачу... Я доставлю его на наш ракетодром, это недалеко, он даже не успеет очухаться. Там всегда наготове два-три дежурных звездолета. Я вызову туда Глумову, мы погрузимся втроем и высадимся на зеленой Ружене в моем старом лагере. По дороге я им все объясню. Провались она в тартарары тайна личности Льва Абалкина, уж кто-кто, а Майя Глумова имеет право знать обо всем... Так. Вон у обочины свободный глайдер. Подходит. Как раз то, что нужно...»

И в этот момент Лев Абалкин отключил его.

Когда Максим очухался, он был словно на дне колодца, на него сверху вниз встревоженно глядели незнакомые лица, кто-то предлагал потесниться и дать ему больше воздуха, кто-то заботливо подсовывал к самому носу ободряющую ампулу, а рассудительный голос



вещал в том смысле, что никаких оснований для тревоги нет — человеку просто стало дурно, с каждым может случиться...

Максим сел. Его поддерживали за плечи.

— Сидите, сидите, пожалуйста, вам просто стало дурно...

— Очнулся, значит, все в порядке...

— Не беспокойтесь, сейчас будет врач, ваш друг уже побежал за врачом...

Максим поднялся и принялся проталкиваться сквозь толпу сочувствующих. Ноги плохо слушались его. Он заставил себя побежать. Музей был совсем близко. Максим бежал. Все было, как в повторном сне. Он бежал из зала в залу, лавируя между стендами и витринами, как шесть часов назад, — среди статуй, похожих на бессмысленные механизмы, среди механизмов, похожих на уродливые статуи, только теперь все вокруг было залито ярким светом, и он был один, и ноги под ним подкашивались, и он повторял про себя: «Опоздал... Опоздал». Опоздал...»

Треснул выстрел. Максим споткнулся на ровном месте. «Все. Конец». Он побежал из последних сил. Треснули один за другим еще два выстрела. Максим ворвался в мастерскую Майи Глумовой и остановился на пороге.

Лез Абалкин лежал посередине мастерской на спине.

Экселенц, огромный, сгорбленный, с револьвером в отставленной руке, мелкими шагками осторожно приближался к нему.

А с другой стороны, придерживаясь за край стола обеими руками, к Абалкину приближалась Глумова.

А в дальнем углу комнаты из обломков какой-то разрушенной мебели поднимался Григорий Каммерер-младший, и лицо его было залито кровью.

Лицо Глумовой было неподвижно, глаза страшно и неестественно скошены к переносице. Шафранная лысина Экссленца была покрыта крупными каплями пота. И стояла тишина.

Лев Абалкин был еще жив. Пальцы его правой руки бессильно и упрямо скребли по полу, словно пытались дотянуться до валяющегося в сантиметре от них серого диска со значком в виде стилизованной буквы «Ж».

Максим шагнул к Абалкину и опустилсь возле него на корточки.

— Прочь! — предостерегающе гаркнул Экссленц.

Абалкин стеклянными глазами смотрел в потолок. Максим потрогал его за плечо. Окровавленные губы Абалкина шевельнулись, и он проговорил:

— Стояли звери... около двери».

— Лева, — позвал Максим.

— Стояли звери около двери... — повторил Абалкин настойчиво.-  
Стояли звери...

И тогда Майя Тойвовна Глумова закричала. И серый диск со знаком «Ж» рассыпался в прах и исчез.

Спустя годы и годы Максим Каммерер сидел в кабинете Экселенца за столом Экселенца и в кресле Экселенца. Перед ним лежала раскрытая папка, и он снова перебирал фотографии: Лев Абалкин в детстве, Лев Абалкин — курсант, Лев Абалкин — имперский офицер... Были там и фотографии Майи Глумовой, и старого учителя, и даже головы Щекна.

«...Двадцать пять лет прошло с тех пор, — думал Максим. — Четверть века. Мы так ничего и не сумели понять. Мы так и не узнали, что произошло с Тристаном Гутенфельдом, Мы так и не разгадали тайну «детонаторов». Оставшиеся десять «подкидышей» благополучно здравствуют и работают, по-прежнему ничего не зная ни друг о друге, ни о тайне своего происхождения. Несмотря на мои настойчивые требования, Мировой Совет так и не решился раскрыть их тайну и предать гласности историю Льва Абалкина... Тем более что мы так и не знаем до сих пор, что же это было: проявление загадочной и страшной программы или роковая цепь случайностей, порожденная страхом, подозрениями и тайной...»

## ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

### Сценарий

По улице небольшого северного городка катит запыленный «икарус». По сторонам улицы тянутся сначала старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с резными наличниками на окнах, с деревянными петушками на крышах. Потом появляются новостройки — трехэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками, «икарус» разворачивается на площади и останавливается у крытого павильона. Из обеих дверей начинают выходить пассажиры — с чемоданами, с узлами, с мешками, с рюкзаками и с ружьями в чехлах. Одним из последних спускается по ступенькам, цепляясь за все вокруг двумя чемоданами, молодой человек лет двадцати пяти, современного вида: бородка без усов, модная прическа-канадка, очки в мощной оправе, обтягивающие джинсы, поролоновая курточка с многочисленными «молниями».

Поставив чемоданы на землю, он в некоторой растерянности озирается, но к нему сразу же подходит встречающий — тоже молодой человек, может быть, чуть постарше, атлетического сложения, смуглый, горбоносый, в очень обыкновенном летнем костюме при галстуке. Следуют рукопожатия, взаимные представления, деликатная борьба за право нести оба или хотя бы один чемодан.

Уже вечер. От низкого солнца тянутся по земле длинные тени. Молодые люди, оживленно беседуя, сворачивают с площади на неширокую, старинного облика улочку, где номера домов основательно проржавели, висят на воротах, мостовая заросла травой, а справа и слева тянутся могучие заборы, поставленные, наверное, еще в те времена, когда в этих местах шастали шведские и норвежские пираты. Называется эта улочка неожиданно изящно: «ул. Лукоморье».

— Вы уж простите, что так получилось, Саша, — говорит молодой человек в летнем костюме. — Но вам только эту ночь и придется здесь провести. А завтра прямо с утра...

— Да ничего, не страшно, — с некоторым унынием откликается приезжий Саша. — Перебьюсь как-нибудь. Клопов там нет?

— Что вы! Это же музей!..

Они останавливаются перед совсем уже феноменальными, как в паровозном депо, воротами на ржавых пудовых петлях. Пока молодой человек в летнем костюме возится с запором низенькой калитки, Саша читает вывески на воротах. На левой вортине строго блестит

толстым стеклом солидная синяя вывеска: «НИИЧАВО АН СССР. ИЗБА НА КУРИНЫХ НОГАХ. ПАМЯТНИК СОЛОВЕЦКОЙ СТАРИНЫ». На правой воротине висит ржавая жестяная табличка «ул. Лукоморье, д. № 13, Н. К. Горыныч», а под нею красуется кусок фанеры с надписью чернилами вкривь и вкось: «КОТ НЕ РАБОТАЕТ. Администрация».

— Это что у вас тут за КОТ? — спрашивает Саша. — Комитет оборонной техники?

Молодой человек в костюме смеется.

— Сами увидите, — говорит он. — У нас тут интересно. Прошу.

Они протискиваются в низенькую калитку и оказываются на обширном дворе, в глубине которого стоит дом из толстых бревен, а перед домом — приземистый необъятный дуб с густой кроной, совершенно заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, идет дорожка, выложенная каменными плитами, справа от дорожки огород, а слева, посередине лужайки, черный от древности и покрытый мхом колодезный сруб. На краю сруба восседает боком, свесив одну лапу и хвост, гигантский черно-серый разводами кот.

— Здравствуйте, Василий, — вежливо произносит, обращаясь к нему, молодой человек в костюме. — Это Василий, Саша. Будьте знакомы.

Саша неловко кланяется коту. Кот вежливо-холодно разевает зубастую пасть, издает неопределенный сиплый звук, а потом отворачивается и смотрит в сторону дома.

— А вот и хозяйка, — продолжает молодой человек в костюме. — По здорову ли, бабушка, Наина свет Киевна?

Хозяйке, наверное, за сто. Она неторопливо идет по дорожке к молодым людям, опираясь на суковатую клюку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее темное, из сплошной массы морщин выдается вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза бледные и тусклые, словно бы закрытые бельмами.

— Здорова, здорова, внучек, Эдик Почкин, что мне сделается? — произносит она неожиданно звучным басом. — Это, значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать.

Саша снова кланяется. Вид у него ошарашенный: старуха слишком уж колоритна. Голова ее поверх черного пухового платка повязана веселенькой косынкой с изображениями Атомиума и с разноязыкими надписями «Брюссель». На подбородке и под носом торчит редкая седая щетина.

— Позвольте вам, Наина Киевна, представить... — начинает Эдик, но старуха тут же прерывает его.



— А не надо представлять, — басит она, пристально разглядывая Сашу. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот сорок шестой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, брильянтовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый...

— Гм! — громко произносит Эдик, и бабка сразу замолкает.

Воцаряется неловкое молчание, и вдруг кто-то негромко, но явно хихикает. Саша оглядывается. Кот по-прежнему восседает на срубе и равнодушно смотрит в сторону.

— Можно звать просто Сашей, — выдавливая из себя новый программист.

— И где же я его положу? — осведомляется старуха.

— В запаснике, конечно, — говорит Эдик. — Пойдемте, Саша...

Они идут по дорожке к дому, старуха семенит рядом.

— А отвечать кто будет, ежели что? — вопрошает она.

— Ну ведь обо всем же договорились, — терпеливо поясняет Эдик.

— Вам же звонили. Вам директор звонил?

— Звонить-то звонил, — бубнит бабка. — А ежели он что-нибудь стибрит?

— Наина Киевна! — с раскатами провинциального трагика восклицает Эдик и поспешно подталкивает Сашу на крыльцо. — Вы проходите, Саша, проходите, устраивайтесь...

Саша машинально вступает в прихожую. Света здесь мало, виден только белый телефон на стене и какая-то дверь. Саша толкает эту дверь, видит ручку на цепочке и отшатывается, машинально сказавши: «Виноват». За спиной у него Эдик напряженным шепотом втолковывает старухе:

— Это наш новый заведующий вычислительным центром! Ученый!

— Ученый... — брюзжит бабка. — Я тоже ученая! Всяких ученых видала...

— Наина Киевна!.. Саша, не туда, сюда, пожалуйста, направо...

Они входят в запасник. Это большая комната с одним окном, завешанным ситцевой занавесочкой. У окна — массивный стол и две дубовые скамьи, на бревенчатой стене — вешалка с какой-то рухлядью, ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки; в углу большое мутное зеркало в облезлой раме, а у стены справа — очень современный низкий диван, совершенно новенький.

— О, смотрите-ка! — восклицает Эдик. — Диван поставили! Это хорошо...

Он с размаху садится на диван, несколько раз подпрыгивает, и вдруг выражение удовольствия на его лице сменяется удивлением, а удивление — тревогой.

— Как это так? — бормочет он. — Позвольте...

Он ощупывает ладонями обивку, вскакивает, становится на колени, запускает руку под диван и что-то там с натугой поворачивает. Раздается странный звук, словно затормозили пленку в магнитофоне. Эдик неторопливо поднимается, отряхивая руки. На лице у него озабоченность. И тут в комнату заваливается старуха со стопкой постельного белья.

— А ежели он тут у меня, скажем, молиться зачнет? — воинственно вопрошает она прямо с порога.

— Да нет, не начнет, — рассеянно говорит Эдик. — Он же неверующий. Слушайте, Наина Киевна, откуда здесь это? — Он показывает на диван. — Давно привезли?

— Опять же вот диван! — сейчас же подхватывает старуха. — Как завалится он на этот диван...

— Это не диван, — говорит Эдик. — Между прочим, Саша, вы действительно воздержитесь от этого дивана... Позвольте, — говорит он, озираясь. — Здесь же была раскладушка...

Ночь. В окно сквозь ветви дуба глядит огромная сплюснутая луна. Вдали лают собаки, из-за стены доносится молодецкий храп. Затем где-то в доме бьют часы — полночь.

Саша, укрывшись простыней, лежит на раскладушке, листает толстую книгу, зевает. На полу — раскрытый чемодан, в нем книги вперемешку с носками и галстуками. Когда часы начинают бить, Саша поднимает голову и считает удары, потом сует книгу под раскладушку, приподнимается и тянет руку к выключателю. Раскладушка угрожающе трещит. Саша гасит свет, энергично поворачивается на другой бок, и в то же мгновение раскладушка с лязгом разваливается.

Тишина. Потом храп за стеной возобновляется, Саша, чертыхаясь вполголоса, выбирается из простыни и пытается поднять раскладушку. В руках у него разрозненные детали. И снова, как давеча, слышится явственное хихиканье. Саша резко оборачивается и успеваает заметить на фоне окна огромную кошачью голову — наставленные уши, торчащие усы и блеснувшие глаза. И снова в окне только луна да ветви дуба.

— Тьфу-тьфу-тьфу, — произносит Саша через левое плечо.

Он подбирает с пола тощий матрас, подушку, простыни и в нерешительности оглядывает комнату.

Диван.

Несколько секунд Саша еще медлит, а затем твердыми шагами направляется к дивану. Расстилат постель, несколько раз с силой нажимает на диван, словно пробуя его на прочность, и укладывается. Глаза его закрываются, на физиономии появляется блаженная улыбка. И в то же мгновение вновь возникает звук заторможенной магнитофонной пленки, переходящий в обстоятельное откашливание.

— Ну-с, так... — произносит хорошо поставленный мужской голос. — В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь по имени... мнэ-э-э... Ну, в конце концов, неважно. Скажем, мнэ-э-э... Полуэкт...

Саша некоторое время слушает с открытыми глазами, потом осторожно встает, пригнувшись, подкрадывается к окну и выглядывает. Спиной к дубу, ярко освещенный луной, стоит на задних лапах кот Василий. В зубах у него зажат цветок кувшинки.

— Мнэ-э-э... — тянет он, задумчиво подняв глаза к небу. — У него было три сына-царевича. Первый... мнэ... Третий был дурак, а вот первый?

Кот трясет головой, потом закладывает передние лапы за спину и, слегка сутулясь, плавным шагом направляется прочь от дуба.

— Хорошо, — цедит он сквозь зубы. — Бывали-живали царь да царица... У царя, у царицы был один сын... Мнэ-э... Дурак, естественно...

Кот с досадой выплевывает цветок и, топорща усы, потирает лоб когтистой лапой.

— Пр-роклый склероз, — говорит он. — Но ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на обед, молодец — на ужин...» А дальше? — Кот делает фехтовальные движения. — Три головы долой, Иван вынимает три сердца и..., и... — Плечи его понижают. Он глубоко вздыхает и поворачивает обратно к дубу. В лапах у него вдруг оказываются массивные гусли.

— Кря-кря, мои деточки, — поет он, пощипывая струны. — Кря-кря, голубяточки! Я... мнэ-э-э... Я слезой вас отпаивала... Вернее, выпайвала... — Некоторое время он марширует молча, стуча по струнам, потом немзыкально кричит: — Сладок кус недоедала! — Прислоняет гусли к дубу и чешет задней лапой за ухом. — Труд, труд и труд! — провозглашает он. — Только труд! — Он снова закладывает лапы за спину и идет в сторону от дуба, бормоча: — Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени... — Тут он встает на четвереньки, выгибает спину и злобно шипит, стуча

лапой по лбу. — Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу... Али... н-ну, хорошо, скажем, Полуэкт...

Голос его прерывается протяжным пронзительным скрипом и отдаленным рокочущим «Ко-о, ко-о, ко-о...». Изба вдруг начинает раскачиваться, как лодка на волнах, двор за окном сдвигается в сторону, а из-под окна вылезает и вонзается когтями в землю исполинская куриная нога — проводит в траве глубокие борозды и снова скрывается. «Ко-о, ко-о, ко-о» переходит в звук тормозящейся магнитофонной пленки и затем в пронзительный телефонный звонок.

Саша сидит на полу рядом с диваном, запутавшись в простыне, и очумело вертит головой. Телефон в прихожей звенит беспрерывно.

Саша наконец вскакивает, выбегает в прихожую и хватается трубку.

— Алло! — хриплым со сна голосом говорит он.

— Такси вызывали? — гнусаво осведомляется трубка.

— Какое такси?

— Это два-семнадцать-шестнадцать?

— Н-не знаю...

— Такси вызывали?

— Нет... Не знаю... Откуда мне знать?

В телефоне гудки отбоя. Саша вешает трубку, некоторое время с сомнением смотрит на телефон, потом возвращается в комнату и... остолбеневаает на пороге.

Диван исчез.

На полу, там, где стоял диван, валяется постель. И больше ничего.

Саша оторопело смотрит, потом осторожно подходит, нагибается и ощупывает, и похлопывает ладонью то место, где стоял диван.

— По-моему, я на нем спал, — говорит он вслух. — Даже приснилось что-то...

Он подходит к окну, раздвигает занавески и выглядывает. Двор залит лунным светом и пуст. Тишина, храп за стеной, в отдалении лают собаки. Саша стоит у окна, растерянно теребя бороду.

Резкий стук в наружную дверь заставляет его обернуться. Он снова выходит в прихожую, осторожно отодвигает засов.

На крыльце перед ним стоит невысокий изящный человек в светлом коротком плаще и в огромном черном берете. Узкое длинное лицо, усы стрелками, выпуклые пристальные глаза.

— Прошу прощения, Александр Иванович, — с достоинством произносит он, коснувшись берета двумя пальцами. — Я отниму у вас не больше двух минут.

— Да-да... прошу... — растерянно говорит Саша, пропуская незнакомца в прихожую.

Незнакомец делает движение пройти в комнату, но Саша поспешно заступает ему дорогу.

— Извините, — лепечет он. — Может быть, здесь... А то у меня там, знаете, беспорядок... даже сесть толком негде...

— Как негде? — Незнакомец резко поднимает брови. — А диван? Некоторое время они молча смотрят друг другу в глаза.

— М-м-м... Что — диван? — шепотом спрашивает Саша.

Незнакомец все смотрит на него, то высоко задирая, то низко опуская брови.

— Ах вот как... — медленно произносит он наконец. — Понимаю. Жаль. Что ж, еще раз прошу прощения.

Он снова прикладывает два пальца к берету и решительно направляется прямо к дверям уборной.

— Куда вы? — бормочет Саша. — Вам не туда... Вам...

— Ах, это безразлично, — говорит незнакомец, не оборачиваясь, и скрывается за дверью.

Саша машинально зажигает ему свет. Стоит несколько секунд с обалделым видом, потом резко распахивает дверь. В уборной никого нет. Мерно покачивается фаянсовая ручка.

Саша, пятясь задом, возвращается в свою комнату.

— Стакана́ нет? — раздается за его спиной хриплый голос.

Саша оборачивается.

Верхом на скамье под зеркалом сидит какой-то тип в кепке, сдвинутой на правый глаз. Щетина. К нижней губе прилип окурок.

— Стакана́, говорю, нет? — повторяет тип.

Саша молча трясет головой.

— Значит, с горла́ будем, — оживляется тип. — Ну, давай.

Саша подходит к нему и останавливается, выпятив челюсть.

— А собственно, кто вы такой? — спрашивает он. — Что вам здесь надо?

Тип обращает взор на то место, где раньше стоял диван.

— Чего мне здесь надо, того уже здесь нету, — произносит он с сожалением. — Опоздал, понял? Надо понимать, Витек перехватил. Так шефу и доложим. — Он снова обращает глаза на Сашу. — Этого, значит, не удержишь, — говорит он, щелкая себя по шее. — И красного тоже нет? Жаль. Обидел ты меня, друг. — Он глубоко запускает руку в зеркало и, оживившись, извлекает оттуда водочную бутылку. Встряхивает ее, смотрит на свет. Бутылка пуста. — А кто это там приходил? — спрашивает он, ставя бутылку на стол.

— Не знаю, — отвечает Саша, следя за его действиями, как зачарованный. — В берете какой-то...

Тип понимающе кивает.

— Кристобаль Хозевич, значит. — Он снова запускает руку в зеркало. — Тоже, значит, опоздал. Во Витек дает... — Он сосредоточенно шарит в «зазеркалье» и бормочет: — Всех сделал. Шефа моего сделал, Кристобаля Хозевича — и того сделал... — Лицо его вновь озаряется, и на свет появляется еще одна бутылка, опять пустая. Тип ставит ее рядом с первой и несколько секунд любуется ими. — Это же надо — сколько старуха пьет! Как ни придешь, меньше, чем две пустышки не бывает... А одеколону у тебя тоже нет? — спрашивает он без всякой надежды, вытягивая из кармана авоську.

— Нет, — говорит Саша, наблюдая, как тип деловито укладывает бутылки в авоську. — А что здесь вообще происходит? Где диван? Куда это я вообще попал? На чем я теперь спать буду, черт подери?

Тип вдруг вскакивает, сдергивает с головы кепочку и прячет руку с авоськой за спину. Лицо его принимает испуганно-почтительное выражение.

— Пардон, — говорит он кому-то, глядя поверх Сашиного плеча.

Саша оглядывается. У дверей, куда смотрит тип, никого нет.

— Пардон, — повторяет тип, пятясь. — Айн минут, мерси, гуд бай.

Спина его упирается в зеркало, но он продолжает пятиться и вдруг проваливается в «зазеркалье», мелькнув в воздухе стоптанными сандалиями.

Саша медленно подходит к зеркалу, осторожно заглядывает в него. Отшатывается: своего отражения он в зеркале не видит. Видит стол, дверь, постель на полу — все что угодно, кроме себя. Он осторожно тянет руку к тусклой поверхности, упирается в твердое, и отражение сейчас же возникает. Мотнув головой, Саша изнеможенно опускается на скамью и сейчас же с криком вскакивает, держась рукой за трусы.

На скамье лежит, покачиваясь, блестящий цилиндрик величиной с указательный палец.

Саша берет его и принимается оглядывать со всех сторон. Цилиндрик тихо потрескивает. Саша стучит по нему ногтем, и из цилиндрика вылетает сноп искр, комната наполняется невнятным шумом, слышны какие-то разговоры, музыка, смех, кашель, шарканье ног, смутная тень на мгновение заслоняет свет лампочки, громко скрипят половицы, а по столу пробегает огромная белая крыса. И все снова стихает.

Саша, закусив губу, осторожно поворачивает цилиндрик, чтобы посмотреть на него с торца, и в то же мгновение комната перед его глазами стремительно поворачивается, тьма, грохот, летят искры, и

Саша вдруг оказывается сидящим в очень неудобной позе в противоположном углу комнаты под вешалкой. Вешалка, секунду помедлив, с шумом обрушивается на него.

Раскачивается лампочка на длинном шнуре, на потолке явственно темнеют следы босых ног. Саша, заваленный тряпьем, смотрит сначала на эти следы, потом на свои голые пятки. Пятки вымазаны мелом. Саша рассеянно отряхивает их, глядя на цилиндрик. Цилиндрик стоит посреди комнаты, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Он раскачивается и тихо потрескивает.

Тогда Саша выбирается из-под тряпья, выбирает наугад какую-то ушанку и осторожно накрывает ею цилиндрик. Руки у него трясутся.

— В-вот это в-вы н-напрасно, — раздается голос.

— Что — напрасно? — раздраженно спрашивает Саша, не оборачиваясь.

— Я г-говорю про умклайдет. Вы н-напрасно накрыли его шапкой.

— А что мне еще с ним делать? — спрашивает Саша и наконец оборачивается. В комнате никого нет.

— Это ведь, к-как говорится, в-волшебная палочка, — поясняет голос. — Она т-требует чрезвычайно осторожного об-обращения.

— Поэтому я и накрыл, — говорит Саша. — Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

— Б-благодарю вас.

Около дверей, как раз там, куда глядел тип в кепочке, неторопливо конденсируется из воздуха величественный человек преклонных лет в роскошном бухарском халате и комнатных туфлях. Он огромного роста, благородное чрево распирает шнур с кистями, великолепные седины, саваофова бородища волной, огромные ладони привычно засунуты за шнур. Голос у него рокочущий, глубокий, он заметно заикается. Светлые глаза смотрят приветливо и благожелательно.

— Вы знаете, дружок, я, наверное, должен извиниться, — говорит он. — Я тут у вас уже полчаса торчу, надеялся — обойдется как-нибудь... Этот диван, черт его подери, так я и знал, что вокруг него начнется скандал. Халат накинул — и сюда.

— Насчет дивана вы опоздали, — с сожалением говорит Саша. — Украли его уже.

Человек в халате величественно отмахивается.

— Да он мне и ни к чему. Я, знаете ли, опасался, что они здесь все передерутся и в суматохе вас, так сказать, затопчут... Уж очень, знаете



ли, страсти накалились. Вот видите, Корнеев умклайдет здесь потерял... волшебную свою палочку... а это, дружок, не шутка.

Оба одновременно поднимают глаза и смотрят на отпечатки на потолке.

— Курс управления умклайдетом занимает, знаете ли, восемь семестров, — продолжает гость, — и требует основательного знания квантовой алхимии. Вот вы, дружок, программист, умклайдет электронного уровня вы бы освоили без особого труда, но квантовый умклайдет... гиперполя... трансгрессивные воплощения... обобщенный закон Ломоносова—Лавуазье... — Он сочувственно разводит руки.

— Да о чем речь! — восклицает Саша. — Я и не претендую! — Он спохватывается. — Может, вы присядете?

— Благодарю вас, мне так удобнее... Но вся эта премудрость в ваших руках. Поработаете у нас годик-другой... — Он прерывает самого себя. — Вы знаете, Александр Иванович, я бы все-таки просил вашего разрешения убрать эту шапку. мех, знаете ли, практически непрозрачен для гиперполя...

Саша поднимает руку.

— Ради бога! Все, что вам угодно. Убирайте шапку, убирайте даже этот самый... кум... ум... эту самую волшебную палочку! — Он останавливается.

Шапки нет. Цилиндрик стоит в луже жидкости, похожей на ртуть. Жидкость быстро испаряется.

— Так будет лучше, уверяю вас, — объявляет незнакомец в халате. — А то, знаете ли, могло так бабахнуть... А вот забрать умклайдет я не могу. Не мой. Условности, черт бы их подрал. И вы его лучше больше не трогайте. Бог с ним, пусть так стоит.

Саша в полной готовности отчаянно машет руками.

— Да, я ведь еще не представился, — продолжает незнакомец. — Киврин Федор Симеонович. Заведую у нас отделом Линейного счастья.

Саша застывает в почтительном изумлении.

— Федор Симеонович? — бормочет он в восхищении и растерянности. — Ну еще бы!.. Я вот только позавчера вашу статью... В «Успехах физических наук» ... Ну, знаете, эту... о квантовых основах психологии...

— Знаю, знаю, — благодушно говорит Федор Симеонович. — И как вам эта статейка?

Саша не в силах говорить и всем своим видом демонстрирует крайнюю степень почтительного восторга.

— Да... гм... Пожалуй, — басит Федор Симеонович не без некоторого самодовольства. — Недурственная получилась работка. У нас, знаете ли, в институте, Александр Иванович, очень неплохо можно работать. Отличный коллектив подобрался, должен вам сказать. За немногими исключениями. Вот, скажем, даже Хома Брут... вот этот, в кепочке, с бутылками... Ведь на самом деле механик, золотые руки, потомственный добрый колдун... Правда, привержен... — Федор Симеонович щелкает себя по бороде. — Дурное влияние, черт бы его побрал... Ну, это вы все узнаете. Мы вас тут с распростертыми объятьями... А то ведь чепуха получается. Машину поставили наисовременнейшую, «Алдан-12», а наладить никак не можем, кадров нет. В институте у нас в основном уклон, знаете ли, гуманитарно-физический. Чародейство и волшебство главным образом, а новые методы требуют математики! Я вот все линейным счастьем занимаюсь, а с вашей машиной, глядишь, и за нелинейное возьмемся...

Саша чешет затылок.

— Я, знаете, насчет чародейства и волшебства не очень... Был у нас спецкурс, но я тогда болел, что ли... Вообще я это как-то в переносном смысле понимал... как иносказание...

Федор Симеонович добродушно хохочет.

— Ничего, разберетесь, разберетесь. Любой ученый, знаете ли, в известном смысле маг и волшебник, так что у нас и в переносном смысле бывает, и в прямом. Вы — молодец, что приехали. Вам у нас понравится. Вы, я вижу, человек деловой, энергичный, работать любите...

Саша стесняется.

— Да, конечно... — говорит он. — Но сейчас что об этом? Там видно будет... — Он озирается, ища, как бы переменить тему разговора. — Вот диван пропал, — говорит он. — Вы мне не скажете, Федор Симеонович, что все это означает? Диван... суета какая-то...

— Ну, видите ли, это не совсем диван, — говорит Федор Симеонович. — Я бы сказал, это совсем не диван... Однако ведь спать пора, Александр Иванович. Заговорил я здесь вас, а ведь вам спать хочется...

— Ну что вы! — восклицает Саша. — Наоборот! У меня к вам еще тысяча вопросов!

— Нет, нет, дружок. Вы же устали, утомлены с дороги...

— Нисколько.

— Александр Иванович, — внушительно произносит Киврин. — Но ведь вы действительно утомлены! И вы действительно хотите отдохнуть.

И тут глаза у Саши начинают слипаться. Он согласно кивает головой, вяло бормочет: «Да, действительно, вы уж меня простите, Федор Симеонович...», кое-как добирается до неведомо откуда появившейся застеленной раскладушки, ложится, подкладывает ладонь под щеку и, блаженно улыбаясь, засыпает.

Федор Симеонович, оглаживая бороду, некоторое время ласково смотрит на него, потом достает из воздуха большое яблоко, кладет рядом с Сашей и исчезает.

Становится темно и тихо.

Сильный грохот. Саша открывает глаза и поднимает голову.

Комната полна утренним солнцем.

Дивана по-прежнему нет, а посередине комнаты сидит на корточках здоровенный детина лет двадцати пяти, в тренировочных брюках и пестрой гавайке навывпуск. Он сидит над волшебной палочкой, плавно помахивая над нею огромными костистыми лапами.

— В чем дело? — спрашивает Саша хриплым со сна голосом.

Детина мельком взглядывает на него и снова отворачивается. У него широкое курносое лицо, могучая челюсть, низкий лоб под волосами ежиком.

— Не слышу ответа! — зло говорит Саша, приподнимаясь.

— Тихо, ты, смертный, — откликается детина.

Он прекращает свои пассы, берет умклайдет и выпрямляется во весь рост. Рост у него — под лампочку. И весь он кряжистый, широкий, узловатый.

— Эй, друг, — говорит Саша. — А ну-ка положи эту штуку на место и очисти помещение!

Детина молча смотрит на него, выпячивая челюсть. Тогда Саша откидывает простыню и делает движение, чтобы вскочить. Раскладушка от толчка разваливается, и Саша опять оказывается на полу.

Детина гогочет.

— А ну, положи умклайдет! — рявкает Саша, поднимаясь.

— Что ты орешь, как больной слон? — осведомляется детина. — Твой он, что ли?

— А может, твой?

— Ну, мой!

Сашу осеняет.

— Ах ты, скотина! — говорит он. — Так это ты диван спер?

— Не суйся, братец, не в свои дела, — предлагает детина, запихивая умклайдет в задний карман брюк. — Целее будешь.

— А ну, верни диван! Мне отвечать за него, понял?

— А пошел ты к черту, — говорит детина, озираясь.

Саша, подскочив, хватает детину за гавайку. Детина сейчас же хватается Сашу за майку на груди. Видно, что оба не дураки подрались.

Но тут дверь распахивается и на пороге появляется грузный рослый мужчина в лоснящемся костюме. Лицо у него надутое, бульдожье, движения властные, хозяйские, уверенные, под мышкой — папка на «молнии».

— Корнеев! — говорит он прямо с порога. — Где диван?

Детина и Саша сразу отпускают друг друга.

— Какой еще диван? — вызывающе осведомляется детина.

— Вы мне это прекратите, Корнеев! — объявляет мужчина с папкой. — Сами знаете, какой диван.

Он проходит в комнату, а за ним входят: Эдик Почкин, очень серьезный и сосредоточенный; плешивый и бородатый, странного вида человек в золотом пенсне и смазных сапогах; Хома Брут в своей кепочке, сдвинутой на правый глаз. Саша кидается одеваться. Пока он одевается, в комнате развивается скандалчик.

— Не знаю я никакого дивана, — заявляет Корнеев.

— Я вам объяснял, Модест Матвеевич, — говорит Эдик человеку с папкой. — Это не есть диван, это есть прибор...

— Для меня это диван, — прерывает его Модест Матвеевич, достает записную книжку и заглядывает в нее. — Диван мягкий полуторный, инвентарный номер одиннадцать — двадцать три. Диван должен стоять. Если его будут все время таскать, то считайте: обшивка порвана, пружины поломаны.

— Там нет никаких пружин, — терпеливо объясняет Эдик. — Это прибор. С ним работают.

— Этого я не знаю, — заявляет Модест Матвеевич, пряча книжку. — Я не знаю, что это у вас за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают.

— Мы это тоже знаем, как вы работаете, — угрюмо говорит Корнеев.

— Вы это прекратите, — немедленно требует Модест Матвеевич, поворачиваясь к нему. — Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении!

— Терминологические споры, товарищи, — восклицает вдруг высоким голосом плешивый, — могут завести нас только в метафизический тупик! Терминологические споры мы должны, товарищи, решительно отместить, как несоответствующие и уводящие. А нам, товарищи, требуются какие споры? Нам, товарищи, требуются споры, с одной стороны, соответствующие, а с другой — наводящие. Нам требуются принципиальные споры, товарищи!

— Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалло! — решительно прерывает его Модест Матвеевич. — Нам тут не требуется никаких споров. Нам тут требуется диван, и немедленно.

— Правильно! — подхватывает профессор Выбегалло. — Мы решительно отменяем все и всяческие споры, и мы требуем, общественность требует, наука требует, товарищ Корнеев, чтобы диван был немедленно ей возвращен. В распоряжение моего отдела.

Все четверо начинают говорить разом.

Эдик. Модест Матвеевич, это не диван! Это транслятор универсальных превращений! Ему не в музей место, его здесь вы по ошибке поместили, мы на него заявку еще два года назад написали!..

Корнеев (Выбегалле). Ну да, конечно, в ваш отдел. Чтоб вы на нем спали после обеда и кроссворды решали! Вы же с ним обращаться не умеете, опять все на Брута свалите вашего, а он его пропьет по частям!..

Модест Матвеевич. Вы мне это прекратите, товарищи! Диван есть диван, и кто на нем будет спать или там работать, это решает администрация! Я лишнюю графу в отчетности из-за ваших капризов вводить не намерен! Мы еще назначим комиссию и посмотрим, может быть, вы его повредили, пока таскали, товарищ Корнеев!..

Выбегалло. Я ваши происки, товарищ Корнеев, отмечаю решительно, раскаленной метлой! Я такую форму научной дискуссии не приемлю! Принципиальности у вас не хватает, товарищ Корнеев! Чувства ответственности! Нет у вас гордости за свой институт, за нашу науку!..

Пока продолжается этот гомон, Саша оделся и, широко раскрыв глаза и приоткрыв рот, слушает, застегивая верхнюю пуговицу на рубашке.

Хома Брут тоже не вмешивается. Он прислонился к притолоке, достал из-за уха сигаретку, раскурил ее от указательного пальца и через дымок подмигивает Саше, ухмыляется и кивает в сторону спорящих, как бы говоря: «Во дают!»

Тут Модест Матвеевич замечает развалившуюся раскладушку. Все замолкают. В наступившей тишине Модест Матвеевич озирает по очереди всех присутствующих. Взгляд его останавливается на Саше. Саша, не дожидаясь вопросов, виновато произносит:

— Она сама развалилась... Я встал, а она — раз!..

— Почему вы здесь спите? — грозно осведомляется Модест Матвеевич.

— Это наш новый заведующий вычислительным центром, — вступается Эдик. — Привалов Александр Иванович.

— Почему вы здесь спите, Привалов? — вопрошает Модест Матвеевич. — Почему не в общежитии?

— Ему комнату не успели отремонтировать, — поспешно говорит Эдик.

— Неубедительно.

— Что же ему — на улице спать? — злобно спрашивает Корнеев.

— Вы это прекратите, — говорит Модест Матвеевич. — Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей. Госучреждение. Если все будут спать в музеях... Вы откуда, Привалов?

— Из Ленинграда, — мрачно отвечает Саша.

— Вот если я приеду к вам в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

Саша пожимает плечами.

— Пожалуйста!

Эдик обнимает Сашу за талию.

— Модест Матвеевич, это не повторится. Сегодня он будет спать в общежитии. А что касается раскладушки... — Он щелкает пальцами. Раскладушка тут же самовосстанавливается.

— Вот это другое дело, — великодушно говорит Модест Матвеевич. — Вот всегда бы так и действовали, Почкин. Ограду бы починили... Лифт у нас не кондиционный...

Корнеев берется руками за голову и стонет сквозь стиснутые зубы.

— По-моему, эти стоны со стороны товарища Корнеева являются выпадом, — визгливо и мстительно вмешивается Выбегалло.

Модест Матвеевич поворачивается к Корнееву.

— Я еще раз повторяю, Корнеев, — строго говорит он. — Немедленно верните диван.

Корнеев приходит в неопишемую ярость. Лицо его темнеет, и сейчас же заметно темнеет в комнате. Огромная туча напоззает на солнце. Свирепый порыв ветра сотрясает дуб. Где-то звенят вылетевшие стекла. У стола подгибаются ножки, проседает только что восстановленная раскладушка. В тусклом зеркале вспыхивают и гаснут зловещие огни.

Выбегалло отшатывается, испуганно заслоняясь от Корнеева ладонью. Хома Брут стремительно уменьшается до размеров таракана и прячется в щель. Эдик встревоженно и предостерегающе протягивает к Корнееву руку, шепча одними губами: «Витя, Витя, успокойся...»

И только Модест Матвеевич остается непоколебим. Он с достоинством перекладывает папку под другую мышку и веско произносит:

— Неубедительно, Корнеев. Вы это прекратите.

И все прекращается. Корнеев в полном отчаянии машет рукой, в воздухе конденсируется диван и плавно опускается на свое прежнее место.

Модест Матвеевич неторопливо подходит к нему, ощупывает, заглядывает в книжку и проверяет инвентарный номер. Затем объявляет:

— В таком вот аксепте. И попрошу.

Затем он поворачивается ко всем спиной и громко провозглашает:

— Товарищ Горыныч!

— Иду, батюшка, иду! — доносится из прихожей испуганный голос.

Модест Матвеевич удаляется в прихожую, и тут Выбегалло приходит в себя и устремляется за ним с криком:

— Модест Матвеевич! Вы забываете, что у меня эксперимент международного звучания! Я без этого дивана как без рук! Модель идеального человека тоже без этого дивана будет как без рук!..

Дверь за ним захлопывается. Из щели выползает Хома Брут и снова начинает увеличиваться в размерах. Еще не достигнув нормального роста, он осведомляется:

— Политурки, значит, тоже нет? Или хотя бы антифриза...

— Бр-р-рысь, пр-р-ропойца! — рычит Корнеев, и объятый ужасом Хома Брут, снова уменьшившись, ныряет в щель под дверь.

Корнеев садится на диван и, наклонивши голову, вцепляется себе в волосы костистыми пальцами.

— Дубы! — говорит он с отчаянием. — Пни стоеросовые! К черту их всех! Сегодня же ночью опять уволоку!

— Ну, Витя, — укоризненно говорит Эдик. — Ну что ты, право... Будет ученый совет, выступит Федор Симеонович, выступит Хунта...

— Хунте самому диван нужен, — глухо возражает Корнеев, терзая себя за волосы.

— Ну, знаешь! С Крестобалем Хозевичем всегда можно договориться. Это тебе не Выбегалло...

При последних словах Корнеев вдруг вскакивает, щелкает пальцами, и перед ним возникает из ничего плешивый профессор Выбегалло, вернее, фигура, чрезвычайно на Выбегаллу похожая, но с большими белыми буквами поперек груди: «Выбегалло 92/К». Корнеев со сдавленным рычанием хватает фигуру за бороденку и яростно трясет в разные стороны. Фигура тупо ухмыляется.

— Витя, опомнись! — укоризненно говорит Эдик.

Корнеев с размаху бьет фигуру кулаком под ребра, отшибает кулак и, размахивая ушибленной рукой, принимается скакать по комнате.

— Тьфу на тебя! — орет он фигуре.

Фигура послушно исчезает, а Корнеев, дую на кулак, отходит к окну и скорбно прислоняется к оконнице.

Эдик, глядя ему в спину, качает головой.

— Слушайте, Эдик, — тихонько говорит Саша. — В чем все-таки дело? Почему из-за паршивого дивана такой шум? Он же жесткий...

— Это не диван, — отвечает Эдик. — Это такой преобразователь. Он, например, может превращать реальные вещи в сказочные. Вот, например... Ну, что-бы ... — Эдик озирается, берет с вешалки драный треух, бросает на диван, а сам запускает руку в спинку и что-то там проворачивает со звуком заторможенной магнитофонной пленки. — Вот видите, была обыкновенная шапка. А теперь смотрите...

Он берет шапку и нахлобучивает себе на голову.

И сейчас же исчезает.

— Шапка-невидимка, понимаете? — раздается его голос.

Он снова появляется и вешает шапку на место.

— А ты на нем, балда, спать расположился, — подает от окна голос Корнеев. — Скажи еще спасибо, что я его из-под тебя уволок, а то проснулся бы ты, сердяга, каким-нибудь мальчиком-с-пальчик в сапогах... Возись потом с тобой.

— Да, это моя вина, — сказал Эдик. — Надо мне было вам все это растолковать как следует.

Корнеев, словно что-то вспомнив, вдруг возвращается к ним.

— Так ты, значит, у нас заведующим вычислительным центром будешь? — говорит он, оглядывая оценивающе Сашу с головы до ног.

— Да, — отвечает Саша небрежно. — Попытаюсь.

— Ты машину-то знаешь нашу, «Алдан-12» ...

— Приходилось, — говорит Саша.

— Так какого же дьявола она у тебя не работает? — произносит Корнеев, агрессивно глядя на Сашу. — Что ты тут тары-бары растаба-рываешь, когда мне машина — вот так нужна? Если они мне, зануды, дивана не дают, так, может, хоть модель математическую рассчитаю, и тогда плевал я на этот диван... Ну что ты стоишь? Что ты здесь стоишь?

— Подожди, — говорит Саша, несколько ошеломленный. — А чего тебе надо, какая модель?

Корнеев делает движение, как будто собирается бежать за чем-то, затем передумывает, выхватывает из воздуха стопку бумаги, авто-ручку, бросает все на стол и с ходу принимается писать, приговаривая:

— Смотри сюда. Линейное уравнение Киврина, понял? Граничные условия такие... Нет, здесь в квадрате, так?

Саша тоже сгибается над столом. Эдик глядит Корнееву через плечо.

— Оператор Гамильтона... — продолжает Корнеев. — Теперь все это трансgressируем по произвольному объему. По произвольному, понял? Здесь тогда получается ноль, а здесь произвольная функция. Теперь берем тензор воспитания... Ну чего ты смотришь, как баран? Не понимаешь? Ну, как он у вас называется...

Голос его заглушает конкретная музыка, а над столом взлетают фонтаны цифр и математических символов. Саша тоже приходит в азарт, стучит пальцем по написанному, выхватывает у Корнеева ручку и пишет сам.

Появляется кот Василий, обходит вокруг стола, заложив лапы за спину, пожимает плечами и скрывается.

Эдик некоторое время слушает, потом достает из нагрудного кармана умклайдет, поднимает его над головой и резко взмахивает им, словно стряхивает термометр.

Вспышка, тьма, и все трое уже стоят перед трехэтажным, современным вида зданием из стекла и бетона, но без дверей. Есть бетонный козырек над подъездом, есть несколько широких ступенек, но ступени эти ведут в глухой простенок между гигантскими черными окнами. Возле правого окна над громадной плевательницей в виде жабы с отверстой пастью висит строгая вывеска: «Научно-Исследовательский Институт ЧАродейства и Волшебства».

Корнеев и Саша все продолжают спорить, Саша только на мгновение замолкает, озадаченно оглядываясь по сторонам, и тотчас рядом с ними возникают его чемоданы. Он снова бросается в спор.

Эдик берет чемоданы, поднимается по ступенькам и пихает в простенок ногой. Появляется стеклянная дверь. Смутно видимый сквозь стекло устрашающего вида вахтер-ифрит, в огромном тюрбане и с кривым мечом на плече, распахивает перед ними двери.

\* \* \*

И полетели дни и ночи, заполненные работой.

Саша за пультом «Алдана-12» сосредоточенно следит за вспыхивающими и гаснущими рядами цифр на контрольном табло, нажимает кнопки; бешено несется за стеклом магнитная лента, стрекочет печатающее устройство. Саша просматривает таблограмму, отрывает кусок рулона, проглядывает ряды цифр, с досадой рвет бумагу, отшвыривает ее в сторону и снова возвращается к пульту. Над пультом возникает полупрозрачное лицо Федора Симеоновича. Великий маг сочувственно наблюдает за Сашей, затем кладет тихонько ему под руку банан и исчезает. Саша, не прекращая работы, рассеянно берет банан и ест.

\* \* \*

Комната в общежитии. За окном дождь, мечутся тени голых ветвей. Саша, обхватив голову руками, читает толстенный том, потом берет его двумя руками, ставит на стол ребром и опирается на него подбородком. Глаза у него пустые и обращенные внутрь. Название книги: «Уравнения математической магии».

\* \* \*

Лаборатория Корнеева. Саша и Виктор сидят за столом, уставленным разнообразной электроникой. Перед ними беспорядочные

груды исчерченной исписанной бумаги, и весь пол вокруг стола усыпан исписанной бумагой. Ребята продолжают чертить и писать и исписанные листки бросают на пол. Входит фигура, как две капли воды похожая на Корнеева, с тупым выражением на физиономии и с белыми буквами на груди: «Корнеев 186/К». Фигура ставит на стол две бутылки кефира и исчезает. Корнеев пытается что-то втолковать Саше, показывает пальцами, но Саша не понимает. Тогда Корнеев хватает бутылку, подбрасывает ее в воздух, она повисает над столом, а он снова принимается показывать руками, и, следуя его движениям, бутылка начинает изгибаться, пересекая самое себя, расплющивается, и в разных точках образовавшейся абстрактной модели вспыхивают латинские буквы А, В, С и т. п. Саша радостно тычет пальцем в одну из точек, хлопает себя по лбу и снова принимается писать.

\* \* \*

Снова перед пультом машины. Кристоаль Хозевич Хунта напяливает на голову никелированный колпак, из которого выходит пучок проводов, соединенных с печатающим устройством. Саша смотрит на этот колпак с сомнением, качает головой и принимается нажимать кнопки и клавиши. На табло вспыхивают и гаснут цифры, из печатающего устройства ползет лента. На ленте текст: «ПЕРВЫЙ ОТВЕТ: ДА, ВОЗМОЖНО. ВТОРОЙ ОТВЕТ: НЕТ. ТРЕТИЙ ОТВЕТ: НЕ ЗАСОРЯЙТЕ МНЕ ПАМЯТЬ. ЧЕТВЕРТЫЙ ОТВЕТ: ПРИ УСЛОВИИ, ЕСЛИ ХР ХР ХР ХР...» Саша поспешно нажимает кнопку, лента останавливается. Хунта недовольно поворачивается к Саше, Саша разевает рот: у Хунты вместо глаз окошечки, как на табло, и в них, как на табло, вспыхивают и гаснут неоновые четверки, семерки и прочие нули.

\* \* \*

Улица перед институтом, осень, ветер несет желтые листья, по лужам бежит рябь.

\* \* \*

Саша отрывает таблограмму и, рассматривая ее на ходу, бежит по коридору. Врывается в лабораторию Федора Симеоновича, вручает ему таблограмму. Федор Симеонович поворачивается к стенду, где под стеклянным колпаком — обугленные останки сгоревшей книги.



Великий маг, глядя в строчки цифр, принимается набирать код на клавишном устройстве, нажимает на кнопку «Пуск», и обугленная книга начинает дымиться, вспыхивает ярким пламенем, из которого появляется та же книга, но целая и невредимая. Федор Симеонович хлопает в ладоши, потирает руки, Саша тоже хлопает в ладоши и потирает руки.

\* \* \*

Саша у себя в кабинетике просматривает заказы и распределяет машинное время. Перед его столом очередь человек в пять — все знакомые лица, только тупые и какие-то окаменевшие, у каждого на груди надпись: «Выбегалло 11», «Хунта 1244», «Киврин 67», «Корнеев 421» ... В хвосте стоит обыкновенный живой человек с толстым портфелем, бледный и напуганный. Саша кончает просматривать листок с заданием и возвращает его «Выбегалле 11».

— Я тысячу раз просил на машинке печатать, — строго говорит он. — Почерк же, как курица лапой. Перепечатать!

Тут он замечает человека с портфелем.

— А! — говорит он. — Проходите, проходите, присаживайтесь, пожалуйста... Вы ведь с рыбозавода? Мне звонили... Да идите же сюда!

Человек с портфелем, виновато кивая и озираясь, приближается к столу и присаживается на краешек стула.

— Неудобно как-то, — бормочет он, опасливо косясь на очередь. — Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли...

— Ничего, ничего, это не товарищи... — Саша протягивает руку за пачкой бумаг, которую человек достал из портфеля.

— Ну, граждане...

— И не граждане... — Саша начинает просматривать бумаги. — Это называется дубль, — объясняет он, не поднимая глаз. — Времени сотрудникам не хватает: в очереди им стоять некогда, вот они и посылают свои копии... Кого сюда, кого за получкой... кого в магазин... кого на свидание... Я что-то тут не понимаю, к какому же вам числу это нужно? А, понятно...

Человек с портфелем опасливо оглядывается на очередь.

— Дубли... То-то же я смотрю — не мигают оне... а вот этот, с бородой, он, по-моему, и не дышит даже...

\* \* \*

Общежитие. Эдик учит Сашу проходить сквозь стены. Сначала проходит сам, возвращается, что-то втолковывает Саше, показывает, что надо выгибать грудь и тянуть носки. Саша закрывает глаза, шагает в стену и отшибает лоб. Эдик снова втолковывает ему, что нужно прогибаться, прогибаться! Саша повторяет попытку, прогибаясь. Верхняя часть его тела проходит, нижняя остается. Саша судорожно сучит ногами. Тут же стоит Корнеев со стаканом чаю, гогочет. Потом они вдвоем с Эдиком пробуют вытащить Сашу. Пробуют так и эдак. Лица у них становятся серьезными.

Разобранная стена. Саша сердито отряхивается. Корнеев и Эдик, насупленные, закладывают кирпичами пролом.

\* \* \*

Саша работает у пульта машины — очень усталый, озабоченный, встрепанный. За окном крупными хлопьями падает густой снег.

Входит дубль Эдика — «Почкин 107».

— Чего тебе? — раздраженно спрашивает Саша, не отрываясь от работы.

— Хозяин... просит... явиться... на доклад... Выбегаллы... — монотонно бубнит дубль.

— Не могу, не могу, занят, — нетерпеливо отвечает Саша. — Пошел вон.

Дубль исчезает, но в дверях сейчас же появляется хорошенькая девица, ведьма Стеллочка.

— Саша, — говорит она, — чего же ты? Пойдем!

Саша смотрит на нее, мотает головой.

— Стеллочка, не могу, — говорит он. — Честное слово, не могу.

— Но ты же обещал! Пойдем, говорят, будет что-то феноменальное...

Саша опять трясет головой.

— Нет-нет, не могу. Не проси.

Он включает печатающее устройство. Стеллочка, надув губки, удаляется. В дверь левым плечом вперед вдвигается Хома Брут, руки в карманы, кепочка на глаз.

— Слышь, Саш, — сипит он. — А ты чего тут торчишь? Все, понимаешь, бегут, а он тут торчит, как приклеенный...

— Отстань, отстань! — говорит Саша со злостью.

— Во дает! — удивляется Хома. — Зря. Мы там с шефом такую штуку сейчас отколем — закачаесть! Весь институт на воздух пустим...

Саша поворачивается к нему.

— Вместе со своим шефом, — говорит он громким шепотом, — иди, иди и иди. Понятно? Занят я! — орет он. — Некогда мне вашей чепухой заниматься!

Хома обиженно пожимает плечами и тут замечает на полочке склянку с ярлыком. Видно только слово «спирт». Лицо Хома немедленно проясняется. Покосившись на Сашу, который снова погрузился в работу, он вороватым движением хватает склянку, свинчивает колпачок и опрокидывает содержимое в рот.

Лицо его чудовищно искажается, из ушей вырываются струи дыма. (Саша рассеянно отгоняет дым ладонью.) Глаза съезжаются и разъезжаются.

Он смотрит на ярлык. «Нашатырный спирт».

Хома укоризненно качает головой, завинчивает колпачок, ставит склянку на место и вытирает губы.

Из стены выходит озабоченный Эдик Почкин.

— Ну что же ты, Саша? — говорит он. — Я же тебя звал.

— Да что там у вас происходит? — раздраженно спрашивает Саша. — Занят я. Не нужен мне ваш Выбегалло, и я, надеюсь, ему не нужен...

— Сейчас там каждый порядочный маг нужен, — говорит Эдик. — Это серьезно, Саша.

Звонит телефон. Саша срывает трубку. Голос Корнеева хрипит:

— Сашка? Ты что там отсиживаешься, хомяк? Трусишь?

Саша поражен.

— Да что вы, в самом деле, ребята, — лепечет он. — Ну пожалуйста, ну пошли...

\* \* \*

По занесенной снегом дороге Саша и Эдик спешат к огромному приземистому зданию, похожему на ангар. За ними по пятам, засунув руки глубоко в карманы, семенит Хома Брут.

Перед распахнутыми воротами ангара оживление: только что подъехавший автобус извергает из недр своих кучу корреспондентов с фото— и киноаппаратами наголо; спецмашина телевидения, от нее внутрь ангара уже тянутся кабели, глава телегруппы в роскошной шубе нараспашку отдает распоряжения, его люди с натугой катят по

снегу тележки с телекамерами; толпа сотрудников института собралась перед огромным плакатом ярмарочного вида.

Надпись на плакате: «Внимание! Внимание! Сегодня! Впервые в истории науки! Грандиозный эксперимент профессора Выбегалло! Демонстрация совершенной модели идеального человека! Доклад профессора Выбегалло А. А. Начало в 18.00. Просьба места для прессы не занимать».

Саша входит в ангар — огромное помещение на дырчатых железных фермах. Здесь уже светят юпитеры, вспыхивают блицы фотокорреспондентов. В глубине ангара на дощатом помосте возвышается знакомый диван-транслятор. От него в разные стороны бегут пучки проводов и кабелей. На диване лежит гигантское яйцо, испещренное темными пятнами. По сторонам помоста стоят генераторные башни с металлическими шарами наверху, между шарами время от времени проскакивают молнии, и тогда звучат раскаты грома.

Почти сразу же Саша натывается на группу ожесточенно спорящих людей. Здесь Федор Симеонович Киврин, Крестобаль Хунта, Модест Матвеевич с неизменной папкой и профессор Выбегалло — в валенках, подшитых кожей, в извозчицком тулупе и в роскошной пыжиковой шапке.

— Достаточно того, — говорит Хунта, обращаясь к Выбегалле, — что ваш, простите, родильный дом находится рядом с моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение двадцати минут был вынужден ждать, пока у меня в кабинете вставят вылетевшие стекла...

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь, — огрызается Выбегалло фальцетом. — Я до ваших лабораторий не касаюсь, хотя у вас там в последнее время бесперечь текет живая вода, я себе в ей все валенки промочил...

— Г-голубчик, — рокошет Федор Симеонович. — Амвросий Амбруазович! Н-надо же принимать во внимание возможные осложнения... Ведь никто же не работает на территории института, скажем, с огнедышащим драконом...

— У меня не дракон! У меня идеальный счастливый человек! Исполин духа! Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин! Странные у вас аналогии! Чужие! Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!

— Г-голубчик, да дело же не в том, что он внеклассовый, а в том, что он пожар может устроить!

— Вот опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович!

— Я г-говорю о драконе...

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович, вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия... между умственным и физическим... между мужчиной и женщиной... Но замазывать пропасть мы вам не позволим!

— К-какую пропасть? Что за чертовщина? Крестобаль, в конце концов, вы же ему только что объяснили! Я говорю, профессор, что ваш эксперимент опасен! Понимаете? Институт можно повредить, понимаете?

— Я-то все понимаю, — визжит Выбегалло. — Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру! И Модест Матвеевич вот тоже понимает! Там мы имеем что? — Он указывает в пространство. — Природу! Стихии! Снег вон идет. Значит, считайте: обшивка сгниет, пружины лопнут. А кому отвечать? Модесту Матвеевичу!

— Это убедительно, — говорит Модест Матвеевич раздумчиво.

— Да он весь ангар вам разворотит, — говорит Федор Симеонович. — Этот эксперимент надо проводить не ближе пяти километров от города! А лучше дальше...

— Ах, вам лучше, чтобы дальше? — зловеще вопрошает Выбегалло. — Понятно. Тогда уж, может быть, не на пять километров, Федор Симеонович, а прямо уж на пять тысяч километров? Подальше где-нибудь, на Аляске, например! Так прямо и скажите! А мы запишем!

Воцаряется молчание, и слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— За такие слова, — цедит сквозь зубы Хунта, — лет триста назад я отряхнул бы вам пыль с ушей и повертел бы в вас дыру для вентиляции...

— Ничего, ничего, — отвечает Выбегалло, — это вам не Португалия. Критики не любите...

— А ведь вы пошляк, Выбегалло, — неожиданно спокойным голосом объявляет Федор Симеонович. — Вас, оказывается, гнать надо.

— Критики, критики не любите, — отдуваясь, твердит Выбегалло. — Самокритики не любите...

— Значит, так, — вмешивается Модест Матвеевич. — Как представитель администрации и хозяйственных отделов, я в науке разбираться не обязан. Поскольку товарищ директор находится в отъезде, я могу сказать только одно: обшивка должна остаться целой, и пружины в порядке. В таком вот аксепте. Доступно, товарищи ученые?

С этими словами, переложив папку под другую мышку, он торопливо удаляется.

— Критики не любите! — в последний раз торжественно восклицает Выбегалло и тоже удаляется.

Хунта и Киврин безнадежно глядят друг на друга.

— А что, если я превращу его в мокрицу? — кровожадно говорит Хунта.

— Лучше уж в стул, — говорит Федор Симеонович.

— Можно и в стул, — говорит Хунта. — Я охотно буду на нем сидеть.

Федор Симеонович спохватывается.

— Г-голубчик, о чем это мы с тобой говорим? Это же негуманно...

— Взгляд его падает на Хому. — Минуточку, дружок! Подите-ка сюда, подите!

Хома, сдернув кепочку, неуверенно приближается, искательно улыбаясь.

— Скажите-ка, дружок, — спрашивает Федор Симеонович. — Какие там у вас с Выбегаллой задействованы мощности?

Хома пытается уменьшиться в размерах, но Хунта ловко хватается за ухо и распрямляет.

— Отвечайте, Брут! — гремит он.

— Да я-то что? — ноющим голосом говорит Хома. — Как мне приказали, так я и сделал. Мне говорят на десять тысяч сил, я и дал десять тысяч!

— Каких сил?! — восклицает Федор Симеонович, раздувая бороду.

— Ма... магических, — мямлит Хома.

— Десять тысяч магических сил?! — Ошеломленный Хунта отпускает Хому, и тот мгновенно улетучивается. — Теодор, я принимаю решительные меры.

Он взмахивает умклайдетом, длинным и блестящим, как шпага.

И сейчас же в отверстие ворота ангара с ревом вкатываются гигантские МАЗы, груженные мешками с песком, козлами с колючей проволокой, пирамидальными надолбами, бетонными цилиндрами дотов. Целая армия мохнатых домовых облепляет грузовики, со страшной быстротой разгружает их и начинает возводить вокруг помоста с яйцом кольцо долговременных укреплений.

— Десять тысяч магосил! — бормочет Федор Симеонович, ошеломленно качая головой. — Однако ж, друзья мои! Это же нельзя просто так... Это ж рассчитать надо было!.. Это же в уме не сосчитаешь!

Оба они поворачиваются и смотрят на Сашу. У Саши несчастное лицо, но он еще ничего не понимает и пытается хорохориться.

— А в чем, собственно, дело? — бормочет он, озираясь в поисках поддержки. — Ну, рассчитал я ему... заявка была... модель идеального человека... Почему я должен был отказывать?

— А потому, голубчик, — внушительно говорит ему Федор Симеонович, — что вы спрограммировали суперэгоцентриста. Если нам не удастся остановить его, этот ваш идеальный человек сожрет и загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство и остановит время. Это же гений-потребитель, понимаете? По-тре-би-тель!

— Выбегалло — демагог, — добавляет Хунта. — Бездарь. Сам он ничего не умеет. И выезжает он на таких безответных дурачках, как вы и этот алкоголик — золотые руки.

Под сводами ангара вспыхивают яркие лампы. Хома Брут с переносной кафедрой на спине поднимается на помост и устанавливает ее рядом с диваном. На кафедру взгромождается профессор Выбегалло.

Корреспонденты бешено строчат в записных книжках, щелкают фотоаппаратами, жужжат кинокамерами. Ассистенты Выбегаллы в белых халатах устанавливают вокруг дивана мешки с хлебом и ведра с молоком. Один из них приносит магнитофон.

Выбегалло залпом выпивает стакан воды и начинает:

— Главное — что? Главное, чтобы человек был счастлив. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, ета, все, что хочет, а хочет, соответственно, все, что может. В моих трудах так и написано. (Корреспондентам.) Вы, товарищи, все пока пишете, а потом я сам посмотрю, какие надо цитаты вставлю, кавычки, то-сё... Продолжаю. Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, и хочет все, что может, то он и есть, как говорится, счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собой имеем?..

Пока Выбегалло говорит, с гигантским яйцом происходят изменения. Оно покрывается трещинами, сквозь которые пробиваются струйки пара.

— Мы имеем модель. То есть мы пока имеем яйцо, а модель у ей внутри. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, ета, становятся в дальнейшем. Вот сейчас оно рождается или, говоря по-научному, вылупляется...

Яйцо разваливается. Среди обломков скорлупы на диване садится удивительно похожий на Выбегаллу человек в полосатой пижаме. Поперек груди белая надпись: «Выбегалло-второй Счастливый».

Человек, ни на кого не глядя, хватает ближайшую буханку хлеба и принимается с урчанием пожирать ее.

— Видали? Видали? — радостно кричит Выбегалло. — Оно хочет, и потому оно пока несчастно. Но оно у нас может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во! Во! Смотрите! Видали, как оно может?.. Ух ты мой милый, ух ты мой радостный... Во! Во как оно может!.. Вы там, товарищи в прессе, свои фотоаппаратики отложите, а возьмите вы киноаппаратики, потому как мы здесь имеем процесс... здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Но это еще не все. Потребности у нас пойдут как вширь, так, соответственно, и вглубь. Тут говорят, что товарищ профессор Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, клеветнический ярлык! Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии! Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади, или, как говорится, голодной куме все хлеб на уме...

Модель жрет. Мешки с хлебом пустеют один за другим. В широкую пасть опрокидываются ведра молока. Модель заметно раздуло, полосатая пижама ей уже тесна.

— Но не будем отвлекаться от главного, от практики. Пока оно удовлетворяет свои матпотребности, переходим к следующей ступени эксперимента. Поясню для прессы. Когда временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. То есть: посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому, и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету, не говоря уж об том, чтобы решить кроссворд. Мы, товарищи, не забываем, что удовлетворение матпотребностей особенных талантов не требует, они всегда есть. А вот духовные способности надобно воспитать, и мы их сейчас у него воспитаем.

Профессор Выбегалло дает сигнал ассистентам.

Угрюмые ассистенты разворачивают на помосте магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку.

— Принудительное внушение культурных навыков! — провозглашает Выбегалло.

Магнитофон сладко поет: «Мы с милым расставались, клялись в любви своей...» Радиоприемник свистит и улюлюкает. Кинопроектор показывает на стене ангара мультфильм «Волк и семеро козлят».

Два ассистента с журналами в руках становятся перед моделью и наперебой читают вслух, а Хома Брут, примостившись тут же, бьет по струнам гитары и с чувством исполняет что-то залихватское.

Модель никак не реагирует. Проглотив последнюю буханку и опорожнив последнее ведро, она сидит на диване и шарит в неопрятной бороде. Извлекает из бороды длинную щепку, запускает ее между зубов, отрыгивается.

Затем выплевывает щепку и оценивающим взглядом обводит толпу.

Толпа пятится.

Саша мужественно заслоняет собой Стеллочку.

Пятятся чтецы с журналами, Хома Брут соскакивает с помоста и приседает на корточки.

Шум стихает. В наступившей тишине Выбегалло заканчивает свою речь:

— И вот он, товарищи, перед нами! Образец потребления материальных и духовных ценностей, счастливый рыцарь без страха и упрека.

Упырь внимательно смотрит на него. Он уже огромен, пижамная пара свисает с него клочьями.

Встретив внимательный взгляд, Выбегалло нервно поправляет пенсне и произносит:

— Собственно, я закончил. Может быть, есть какие-нибудь вопросы?

Ему отвечает спокойный голос Хунты:

— Спасайтесь, старый дурак.

Но Выбегалло еще не понимает.

— Есть предложение, — начинает он, — эту реплику из зала решительно отместить...

Упырь не дает ему закончить. Он вытягивает невероятно длинную руку и хватает Выбегаллу за тулуп. Выбегалло замолкает и покорно вылезает из тулупа. Упырь хозяйски встряхивает тулуп, оглядывает его и кладет рядом с собой у дивана.

Выбегалло, ссыпавшись с помоста, ныряет в толпу. Толпа продолжает пятиться, а упырь тем временем неторопливо подтягивает к себе поближе радиоприемник, магнитофон, кинопроектор.

— Это, значить, все будет мое, — рокочущим голосом объявляет он. Он снова оглядывает толпу. Взгляд у него нехороший, оценивающий какой-то. При этом он непрерывно облизывается.

С головы Саши вдруг срывается финская шапочка и улетает на помост. Упырь напяливает ее себе на плешь.

Стеллочка взвизгивает: с ее руки срываются часики. Упырь ловит их на лету.

— Всем в укрытие! — гремит усиленный мегафоном голос Хунты.

Все бросаются в проходы между проволочными заграждениями, а по очистившемуся пространству ангара ползут, скачут по-лягушачьи, летят птичками полушубки, манто, дубленки, часы, портсигары, кошельки, брюки, валенки, ботинки — и все на помост, все на помост.

Упырь мечется по помосту, подхватывает, жадно оглядывает, примеряет, запихивает в мешки из-под хлеба, злобно озирается, скалит клыки и взрыкивает.

— Мне! — хрипит он. — И ето мне! И ето! Мое!

За валом из мешков паника. Мечутся полуодетые, возмущенные и испуганные люди.

Толпа ограбленных терзает Выбегаллу. Особенно неистовствует Хома Брут в одной длинной рубахе до колен. Выбегалло отдувается и кричит фальцетом:

— Критики! Критики не любите!

Начальник группы телевизионщиков в подтяжках и трусах надрывается в телефонную трубку:

— Милиция! Милиция? Немедленно выезжайте! Массовое ограбление! Банда гангстеров! Главарь шайки — некий Выбегалло из НИИЧАВО!

Тем временем упырь на помосте подтащил к себе телевизионную камеру, груду фото— и киноаппаратов и жадно озирается, ища, чем бы еще завладеть. Его со всех сторон окружает кольцо проволочных заграждений и глухой вал из мешков. Мрачно смотрят амбразуры дотов.

— Машину! — капризно басит упырь. — Машину желаю!

И стена из мешков напротив вдруг разваливается, в пролом задом вкатывает огромный МАЗ, подкатывает к помосту и останавливается.

Упырь прыгает в ковш, жадно ощупывает кабину, ревет:

— Еще!

В пролом один за другим катят: автобус, на котором приехали корреспонденты, какой-то газик — из него на ходу выскакивает испуганный шофер, запутывается в проволоке, орет ужасным голосом; два «Москвича»; «Жигули»; старая «Волга», новая «Волга», кадиллак...

— По-моему, пора, — говорит Федор Симеонович Хунте, который не отрываясь наблюдает за упырем в стереотрубу.

— Начнем со снотворного, — говорит Хунта. — Давайте! — командует он кому-то через плечо.

Из-за вала высовываются несколько сотрудников и направляют на упыря брандспойт, присоединенный к серебристой цистерне с надписью «Пиво». Пенная струя ударяет прямо в распахнутую клыкастую пасть.

Упырь приходит в дикий восторг. Сначала он жадно глотает, посылая струю сверху солью из солонки, потом прыгает под струей как под душем Шарко, гогоча и шлепая себя под мышками, потом принимается торопливо наполнять ведра из-под молока — терпения у него не хватает: он протягивает руку на все двадцать метров, хватая брандспойт (сотрудники — врассыпную), тянет к себе, за брандспойтом тянется кишка, а за кишкой, разворотив мешочную стену, во владения упыря втягивается цистерна.

— Ну, с меня хватит! — объявляет Федор Симеонович.

Он засучивает рукава и порывается в пролом, но тут на нем повисают все, кто находится поблизости. Федор Симеонович в небывалом гневе. Из глаз его скачут шаровые молнии, он кричит:

— Дайте его мне! Сколько же можно терпеть!

— Пускайте Голема! — громовым голосом командует Хунта.

Слышится могучее шипение и свист.

Все приседают и втягивают головы в плечи.

Перемахнув через вал, на середину ангара ловко выскакивает Голем — не глиняный Голем из сказок, а современный робот из фантастических романов, весь из металла и пластика, гибкий, шестирукий, жутко светятся четыре пары глаз, из головы выдвигаются и прячутся телескопические рога антенн.

Упырь поворачивается к противнику, садится на ближайший мешок и длинными руками старается прикрыть свое богатство, как хохлушка цыпляет.

— Не дам! — рычит он. — Катись отседова!

Робот с пневматическим шипением и свистом приближается.

Тогда упырь вскакивает, выламывает доску из помоста и кидается на врага.

— И-изх-х!!

Робот легко уклоняется от молодецкого удара и средней правой наносит упырю короткий удар в лоб.

Упырь спиной вперед, размахивая руками, летит и врезается в помост.

Над валом ликование. Свист, аплодисменты.

Упырь вскакивает, выворачивает из бетонного пола железный швеллер, летит на робота, вращаясь вокруг собственной оси, как метатель молота.

И снова робот легко уклоняется и встречает упыря могучей оплеухой.

Новый взрыв ликования на валу.

Упырь лежит под грузовиком, на физиономии у него набухают два здоровенных фингала.

Робот, деловито наматывая на четыре руки толстый трос, приближается к нему.

На морде упыря ужас вдруг сменяется вождедением.

— Хочу! — хрипит он. — Желаю!!

Робот приостанавливается. Упырь выбирается из-под грузовика и, непрерывно облизываясь, бормочет:

— Это будет мое! Это мне! Ух ты мой милый! Ух ты мой радостный!..

Руки робота разом опускаются, трос падает на пол, глаза меркнут.

— Давай, давай! — говорит ему упырь и толкает в сторону помоста. — Давай, дело делай. Нечего тебе тут стоять...

И робот покорно принимается всеми шестью своими руками укладывать и упаковывать награбленное барахло.

Упырь радостно хохочет, раззевая пасть на весь ангар.

— Ну, все, ребята, — говорит за валом Витька Корнеев. — Теперь наша очередь.





Саша с Эдиком Почкиным подтаскивают плетеную корзину, набитую стружками, из которых торчит горло четвертной бутылки, залитое сургучом. Торопливо горстями выбрасывают стружки.

Корнеев легко, одной рукой извлекает бутылку, читает ярлык:

— «Джин Злойдух ибн Джафар. Выдержка с 1015 года до нашей эры. Опасно! Не взбалтывать!»

Виктор старательно трясет бутылку, поворачивает ее горлышком вниз и снова трясет. За стеклом возникает на мгновение, расплывается и снова исчезает жуткое искаженное рыло с кривым клыком и черной повязкой через глаз.

Вой милицейской сирены. К воротам ангара подкатывает милицейская «Волга» со световой вертушкой на крыше, из нее высыпаются оперативные работники. Все они кидаются рассматривать в лупу и фотографировать следы на снегу, а юный сержант милиции, подтягивая на ходу перчатки, устремляется в ангар.

Все замирают.

Сержант проходит через пролом в стене и, звеня подковками по бетонному полу,

печата шаг, направляется к упырю.

Упырь озадаченно смотрит на него. Потом облизывается, приседает, свесив длинные руки, и мелкими шажками движется навстречу.

Сержант, не останавливаясь, достает свисток, и длиннейшая трель оглашает ангар.

Робот за спиной упыря поднимает все шесть рук и опускает голову.

Упырь распахивает гигантскую клыкастую пасть, и в этот момент...

— Ложи-и-ись! — орет Корнеев на весь ангар.

Падает ничком сержант.

Падают ничком все за стеной.

Корнеев, заноса назад правую руку с бутылью, разбегается и, как гранату, швыряет бутылку прямо в разверстую пасть.

Раздается звон битого стекла. Дикий хохочущий вой.

В воздухе появляется давешняя клыкастая морда с повязкой через глаз, затем все заволакивается клубами огненного дыма, словно вспыхнула бочка с нефтью.

Громовые удары, рычание, хохот... Отчаянный вопль: «Не отдам, не отдам, милиция!..»

Дым и огонь скатываются в клубок, и клубок этот катится по ангару.

Рушатся мешки с песком. Рвется в клочья колючая проволока. Валятся столбы генератора Ван де Граафа, летят в воздух доски постаментов, огромные подбитые кожей валенки, колеса автомашин, крутятся, переворачиваясь в воздухе, цистерна с надписью «Пиво» ...

Сержант милиции с трудом поднимается на ноги, заслоняясь рукой, пытается приблизиться к огненному клубку и пронзительно свистит.

В то же мгновение клубок с грохотом и треском лопается, выбросив в разные стороны струи огня.

Тишина. Там, где был постамент и горой высилось награбленное, ничего нет. Только неглубокая воронка, из которой под своды ангара нехотя поднимается жиденькая струйка дыма.

Закопченный и основательно ободраный сержант приближается к воронке, заглядывает, наклоняется, поднимает огромную вставную челюсть и довольно долго рассматривает ее со всех сторон.

По всему ангару зашевелились, поднимаясь, люди. Тоже закопченные и оборванные, словно побывавшие под бомбежкой.

Сержант берет челюсть под мышку, извлекает из планшета блокнот и провозглашает:

— Потерпевших и свидетелей прошу записываться.

В лаборатории Витьки Корнеева ребята умываются и приводят себя в порядок. У Корнеева забинтована голова, Эдик пришивает пуговицу к куртке, Саша стоит столбом, а Стеллочка старательно чистит его щеткой. В углу пригорюнившись сидит Хома Брут в больших, не по росту, штанах.

— Выбегаллу-то в милицию забрали, — говорит, похохатывая, Корнеев. — Массовое ограбление под видом научного эксперимента... Модест помчался выручать. Потеха!

— Этому гаду голову оторвать надо, — плачущим голосом говорит Хома. — Такую гитару мне загубил...

— Гитара — бог с ней, — замечает Эдик. — Диван погиб.

— Ничего, ребята! — говорит Корнеев, подмигивая. — Без гитары мы проживем, а что касается дивана — как-нибудь с диваном уладится.

— Самим нам такой транслятор не смастерить, — говорит Эдик грустно.

Корнеев театральным жестом распахивает дверь в соседнее помещение, и все видят на центральном стенде знаменитый диван во всей его красе, правда, слегка подзакопченный.

Всеобщее изумление.

— Главное — что? — объявляет Корнеев. — Главное — вовремя схватить и рвануть когти.

— Ну, братва, — восхищенно восклицает Хома, — по этому поводу надо выпить. Я сбегая, а?

— Сядь, Хомилло! — властно гремит Корнеев, и Хома покорно опускается на стул. — Мы здесь посоветовались с народом, и есть мнение, что пора и можно уже теперь сделать из тебя настоящего человека.

\* \* \*

И снова полетели дни и ночи.

После долгих усилий из Хома Брута сделали настоящего человека. Вот решающая стадия эксперимента. Хома Брут, побритый и в приличном костюме, с нормальным цветом носа, поставлен перед полкой, на которой выстроены несколько бутылок с водкой. Эдик вручает ему мелкокалиберный пистолет. Корнеев настраивает сложную аппаратуру из витых стеклянных трубок.

— Давай! — командует Эдик.

Хома силится поднять пистолет — не может, лицо его искажается, по лбу струится холодный пот. Эдик кивает Корнееву. Тот поворачивает какой-то верньер.

— Давай, давай, Хома! — приказывает Эдик. — Это враг! Это лично профессор Выбегалло! Гитару свою вспомни!

Хома, закрыв глаза левой рукой, вытягивает правую с пистолетом. Корнеев наводит стеклянный агрегат прямо Хоме в затылок.

— Глядеть! — командует Эдик.

Хома гордо вскидывает голову и закладывает левую руку за спину. Гремят выстрелы. Бутылки одна за другой разлетаются вдребезги. Гремят туш.

\* \* \*

Саша и Стеллочка подносят Хоме новую гитару. На глазах у Хома слезы, он судорожно принимает и вдруг чихает, и мотает головой.

\* \* \*

Федор Симеонович проводит серию экспериментов по омоложению. К «Алдану-12» с помощью множества проводов и датчиков присоединена Наина Киевна. Она сидит в кресле, скрючившись, положив руки и подбородок на свою клюку. Саша закладывает в программное устройство пачку перфокарт, Федор Симеонович сидит перед экранами контрольной аппаратуры, на которых имеют место рентгеновские изображения черепа, грудной клетки и прочих деталей организма Наины Киевны. «Пуск!» — командует Федор Симеонович. Саша нажимает кнопку. Наина Киевна превращается в приятную женщину средних лет. Клюка в ее руках дает молодые побеги, на которых распускаются цветочки. Наина Киевна восторженно и изумленно ощупывает себя, затем встает и, игриво покачивая бедрами, приближается к Федору Симеоновичу. Тот отмахивается от нее и пятится в дверь. Наина устремляется за ним. Саша, поджав губы, рассматривает кусок ленты с длинными рядами цифр, чешет в затылке.

\* \* \*

Саша продолжает совершенствоваться в магическом искусстве. На столе перед ним основательно потрепанный том «Уравнений математической магии», распухший от многочисленных закладок, счетная

машина «мерседес», стопка бумаги. В руке — умклайдет, деревянный, для начинающих, похожий на жезл регулировщика. Эдик сидит перед ним с видом экзаменатора, сцепив руки на колене, крутя большими пальцами. Саша, поминутно заглядывая в учебник, производит какие-то вычисления на «мерседесе», рвет из бороды волосок и взмахивает умклайдетом. На столе перед ним появляется блюдо с грушей. Эдик, презрительно усмехаясь, берет грушу и бросает ее на пол. Груша разбивается на мелкие осколки. Саша озадаченно рассматривает умклайдет. Эдик показывает, как надо взмахивать. Саша повторяет его движение. На блюдечке появляется второе блюдечко с грушей. Саша пытается взять грушу и поднимает ее вместе с блюдечком, к которому она приросла. Саша со зверским лицом отрывает кусок груши и пробует. Морщится и выплевывает. «Ешь!» — грозно приказывает Эдик. Саша ест. По лицу его текут слезы.

\* \* \*

А между тем Витька Корнеев разрабатывал в страшной тайне свою методику изъятия излишков времени у населения. Ночь, в окно Витькиной лаборатории всю светит луна. Она озаряет опутанный проводами диван, в спинку которого встроены два экрана. Над каждым экраном — циферблат, и еще один циферблат — между экранами. Витька, хмурый, обросший щетиной, заканчивает какие-то вычисления, берет листок с числами и садится перед диваном на табуретку. Включает экраны. На правом экране — прокуренная комната: Выбегалло, молодая Наина Киевна и Модест Матвеевич дуются в преферанс. На левом экране — Хома Брут, трезвый и бритый, в белом халате, собирает какой-то прибор: работа у него явно сложная, идет медленно. Стрелки на всех трех циферблатах показывают одно и то же время, секундные движутся с одной и той же скоростью. Витька набирает несколько цифр на миниатюрной клавиатуре, берет за верньер, встроенный в подлокотник дивана, и начинает медленно вращать. Раздается длинный звук тормозящейся магнитофонной ленты. Картины на экранах и на циферблатах плавно меняются. Движения преферансистов становятся все более замедленными, и одновременно замедляется движение секундной стрелки на их циферблате. Хома же Брут, напротив, начинает двигаться все быстрее, и все быстрее бежит его секундная стрелка: собираемый прибор растет на глазах. Только на среднем циферблате стрелка продолжает отсчитывать истинное время. На правом экране игроки почти застыли в неподвижности, а на левом экране Хома Брут в бешеном темпе

заканчивает работу, суетливо отряхивает руки и летит к двери. Витька поворачивает верньер в обратную сторону до щелчка. Все циферблаты приходят в соответствие с центральным, движения игроков становятся нормальными. Виктор выключает прибор, экраны гаснут, и в ту же минуту входит Хома. «Ну, я все закончил, — говорит он. Смотрит на часы. — Обалдеть можно, за десять минут управился, а думал, до утра не кончу!» — «Я тебе всегда говорил, что водка — яд», — угрюмо говорит Витька.

\* \* \*

Саша Привалов в своей вычислительной лаборатории снимает трубку телефона и набирает номер. Лицо у него унылое. В лаборатории дым стоит коромыслом: с машины сняты все кожухи, в потрохах ее копаются люди в халатах, возглавляемые Хомой Брутом.

— Стеллочку можно? — говорит Саша в трубку.

На другом конце провода Федор Симеонович передает трубку Стеллочке. Стеллочка держит в одной руке реторту. Она сотрудница отдела Линейного счастья. Здесь работают на оптимизм. Лаборатория похожа на роскошный цветник. Из зарослей цветов торчат грандиозные стеклянные трубчатые установки, в которых мерцает жидкий огонь.

— Алё! — говорит Стеллочка.

— Ну как ты там? — со вздохом осведомляется Саша.

— Я хорошо, — отвечает Стеллочка, косясь на Федора Симеоновича. — А ты?

— Пошли сегодня в кино, — предлагает Саша.

— В кино? Ты же работать грозился всю ночь.

Саша уныло оглядывает свою разгромленную лабораторию.

— У меня машина полетела, — говорит он жалобно. — Чинят. Долго будут чинить. Так пошли?

— Не знаю, — нерешительно говорит Стеллочка. — У нас сегодня...

— С-сходите, с-сходите, Стеллочка, — басит добродушно Федор Симеонович. — П-посмотрите что-нибудь т-такое... Потом р-расскажете...

— Что у тебя сегодня? — спрашивает Саша нетерпеливо.

— В шесть часов, — говорит Стеллочка.

— Где? — спрашивает Саша.

— Где обычно.

Саша, слегка повеселев, вешает трубку. Подходит Хома с тестером.

— Ты бы сдвинулся куда, Сашка, — говорит он. — Мешаешь...

Саша пятится, роняет прислоненные к стене кожухи и спотыкается об инженера, сидящего на корточках.

— Вы бы шли пока отсюда, Александр Иванович, — говорит тот недовольно. — Только мешаетесь...

— Иди, иди, — говорит Хома. — Там получку дают.

— Получку так получку, — со вздохом говорит Саша. — Но к завтрашнему-то дню вы управитесь?

Ему никто не отвечает. Он опять вздыхает и выходит.

Он идет по длинным коридорам. Все заняты, все спешат. Саша спускается в бухгалтерию, распикивает очередь, состоящую сплошь из дублей, и нагибается к окошечку кассира.

— А, Александр Иванович? Что это вы сегодня лично? Вот здесь, пожалуйста...

Саша расписывается в ведомости.

— А что, профессор Выбегалло в отъезде? — спрашивает кассир, отсчитывая деньги.

Саша пожимает плечами.

— Вы его не видели? — спрашивает кассир.

— Слава богу, нет, — говорит Саша.

— Вы знаете... — говорит кассир, отсчитывая деньги. — Раз, два, три, четыре, пять... Уже два часа выдаю, а его все нет. Обычно окошечко открываю, а он уж тут как тут, самый первый...

— Проспал, наверное, — равнодушно говорит Саша. — Прибежит еще.

— Проспал? — Кассир с сомнением качает головой. — Чтобы профессор Выбегалло проспал в день полочки?

— Может быть, заболел? — Саша заинтересовался.

— Дубля бы непременно прислал, что вы!

— Действительно, странно, — говорит Саша.

Он выходит в коридор и останавливает какого-то сотрудника.

— Выбегаллу не видел?

— Бог спас, — бросает сотрудник и устремляется дальше.

Саша останавливает другого сотрудника.

— Выбегаллу не видел?

— А что это такое?.. А, Выбегаллу? Что ты, конечно, нет!

Саша в задумчивости бредет по коридору. Все, кого он останавливает, отвечают ему:

— Выбегалло? Оно где-то здесь болталло... Но вот когда — не помню. Давно.

— Один раз видел. Хватит с меня.

— А зачем он тебе? Делать нечего?

Саша проходит мимо дверей, на которых висит табличка: «Заведующий отделом Разнообразных приложений тов. проф. Выбегалло А. А.». На ходу на всякий случай дергает ручку. Дверь заперта. Саша проходит дальше и заглядывает в лабораторию отдела Разнообразных приложений.

Атмосфера здесь не самая деловая. Все курят. Двое играют в крестики и нолики. Кто-то читает Сименона, поглощая бутерброды. Кто-то вытаскивает красивый мундштучок. Играет магнитофон.

— Выбегаллу не видели? — спрашивает Саша.

Все взоры обращаются на него. Затем все вопросительно переглядываются.

— А зачем он тебе? — спрашивает тот, что читал Сименона. — Что тебе — плохо без него?

— Seriously, ребята, где Выбегалло? — спрашивает Саша.

— Был здесь как-то... — нерешительно говорит тот, что читал Сименона. — Дня три, наверное, назад.

— Раньше, — авторитетно отзывается сотрудник с мундштучком. — Это было еще до того, как ты на бюллетень уходил... Он еще спросил, что такое постельная принадлежность из пяти букв.

— А что это такое? — заинтересованно спрашивает один из игроков в крестики и нолики.

Со всех сторон сыпятся предложения: диван, тумба, одеял. Начинается спор. Саша проходит в дверь, на которой написано: «Группа самонадевающейся обуви». Здесь работают. Один сотрудник сидит в носках в специальном кресле, выставив наготове ноги, а другой регулирует чудовищный мокроступ, заводя его специальным ключиком, как заводную игрушку. Затем он пускает мокроступ по полу. Мокроступ с жужжанием, мигая маленькими фарами, подъезжает к сидящему и надевается на подставленную ногу. Жужжание переходит в визг, сидящий с воплями, принимается стаскивать мокроступ. Когда ему удастся извлечь ногу, оказывается, что носок в лохмотьях.

Саша осторожно прикрывает дверь и снова выходит в коридор. В коридоре Модест Матвеевич с неизменной папкой под мышкой дает указание двум лешим в комбинезонах и с ломami. Выслушав указания, лешие подходят к стене и принимаются долбить ее.

Саша проходит в кабинет Эдика. Эдик занят — рассматривает что-то в биноклярный микроскоп, рядом с ним из регистрирующего прибора ползет лента самописца. Саша садится рядом с ним на стол и говорит:

— Выбегалло пропал.

— Это хорошо... — рассеянно говорит Эдик, но тут же спохватывается. — То есть, позволь... В каком смысле пропал?

— В буквальном. Нет его нигде. И давно.

Эдик хмурится.

— В бухгалтерии спроси, — говорит он. — Сегодня получка...

— Спрашивал.

— Подожди, подожди, — испуганно говорит Эдик. — Он и за деньгами не пришел?

Саша мотает головой. Эдик тихонько свистит, затем решительно берет телефонную трубку.

— Алло-оу? — откликается томный женский голос.

— Извините, пожалуйста, — говорит Эдик. — Профессора Выбегалло можно к телефону?

— Кого?

— Это квартира профессора Выбегалло?

— Да-а... кажется. Толик, твой папа профессор?

В трубке вдруг раздается мужской голос:

— В чем дело?

— Профессор Выбегалло дома? — спрашивает Эдик.

— Слава богу, нет.

— Вы не скажете, где он?

— Ушел покупать «Огонек». <sup>1</sup>

— Давно?

— Недели две.

Эдик ошеломленно смотрит на трубку, затем осторожно кладет ее.

— Плохо дело, — говорит он. — Неужто пропал?

Они радостно смотрят друг на друга. Потом Эдик снова спохватывается.

— Нет, Саша, так нельзя, — решительно говорит он. — Надо искать. Сейчас я Модесту позвоню.

— А он тут, в коридоре...

Они выходят в коридор. Пролом уже сделан, Модест Матвеевич примеряется к нему. Рука с папкой не проходит. Модест Матвеевич дает лешим новые указания. Грохочут ломы, гремит осыпающийся кирпич. Саша и Эдик объясняют Модесту Матвеевичу ситуацию. Тот слушает со строгим выражением лица, приложив к уху руку.

---

<sup>1</sup> Авторы напоминают читателю, что действие сценария происходит в конце 60-х годов.

\* \* \*

Выслушав, он перекладывает папку под другую мышку и говорит:

— Вы полагаете, иностранная разведка?

— Вряд ли, — отвечает Эдик. — Это было бы слишком хорошо.

— Возможно, пьяный где-нибудь лежит, — раздумчиво говорит Модест Матвеевич. — Бывали прен-цен-денты... И в кабинете нет?

— Кабинет заперт.

— Есть предложение, — провозглашает Модест Матвеевич. — Создать временную комиссию по расследованию дела об исчезновении товарища профессора Выбегаллы в составе: председатель — Камноедов М. М., то есть я, члены комиссии — Почкин и Привалов, то есть вы двое. Доступно?

Он делает поворот кругом и гордо проходит сквозь пролом в стене. Эдик и Саша тоже проходят сквозь стену справа и слева от пролома. Лешие принимаются заделывать пролом.

Около кабинета Выбегаллы Модест Матвеевич извлекает из кармана связку ключей, выбирает нужный и открывает дверь.

Все трое входят и останавливаются на пороге. Страшная картина встает перед их глазами. Профессор Выбегалло неподвижно сидит за своим столом, склонившись над журналом «Огонек». В руке его карандаш. Он похож на покойника.

Модест Матвеевич снимает шляпу.

— Мир тебе, дорогой товарищ, — произносит он торжественно. — Ты погиб на посту.

Эдик бросается вперед и берет профессора за руку. Рука у профессора окоченелая, как палка.

— По-моему, он жив, — неуверенно говорит Эдик. — Рука теплая.

— Как так — жив? — спрашивает Модест Матвеевич и надевает шляпу. — Значит, спит?

Эдик вглядывается в лицо профессора.

— Да нет, — говорит он. — Глаза открыты.

— Это еще ничего не значит, — уверенно возражает Модест Матвеевич. — Нынче многие по конторам наладились спать с открытыми глазами.

Между тем кабинет наполняется любопытными. Ходят, смотрят, недоумевают. Кто-то отмечает толстый слой пыли на столе. Кто-то замечает паутину, растянутую между плечами профессора и стеной. Саша заглядывает в журнал. «Огонек» раскрыт на кроссворде. Рядом лежат разрозненные тома энциклопедии. На них тоже пыль.



Все вдруг расступаются. В кабинет стремительно входят Федор Симеонович и Кристоаль Хозевич. При почтительном молчании присутствующих они приступают к делу: Федор Симеонович ощупывает Выбегаллу, а Кристоаль Хозевич словно бы ощупывает вокруг Выбегаллы воздух.

Киврин. Ан-набиоз...

Хунта. Похоже... Анабиоз во внешнем поле.

Киврин. Д-да, внутреннего поля не ощущается... Ты знаешь, Кристо, это похоже на остановку... А какое там у тебя поле?

Хунта. Похоже на темпоральное. Но очень мощное. Источник примерно там...

Раскинув руки крестом, он медленно поворачивается и замирает. На лице его смущение.

— Странно... — говорит он. — В моем отделе... Двести вторая комната...

Саша с Эдиком быстро переглядываются. Эдик кивает, и Саша, выбравшись из толпы, выскакивает за дверь.

Он со всех ног мчится по коридорам и по лестницам и запыхавшись останавливается перед дверью, на которой обозначен номер 202 и красуется табличка: «Лаборатория Корнеева В. П.». Он

дергает ручку. Дверь заперта. Он стучит. Никто не отзывается. Тогда он выгибает грудь колесом, вытягивает носочки и шагает сквозь дверь.

В лаборатории Корнеева царит полумрак. Ярко светится большой экран, на котором видны оцепенелый Выбегалло, Киврин, Хунта и прочие. Киврин и Хунта, настороженно выпрямившись, пристально глядят с экрана прямо на Сашу. В отсветах экрана Саша различает Витьку Корнеева. Витька почти не виден. С невероятной скоростью он двигается в сплошном сплетении проводов, перегонных кубов и прочей аппаратуры.

— Витька! — испуганно кричит Саша.

Мгновение, и Корнеев оказывается возле экрана. Что-то щелкает.

Профессор Выбегалло оживает на экране. Он подносит карандаш ко рту, кусает его и задумчиво говорит:

— Прогулочное судно из четырех букв... Лодка! Л... О... Т...

И тут он замечает вокруг себя людей, остолбенело глядящих на него.

— В чем дело, товарищи? — раздраженно осведомляется он. — Вы же видите — я занят! Модест Матвеевич, я прошу это немедленно прекратить!

Витька выключает экран, и сейчас же загорается свет. Вид у Витьки ужасен: он небрит, осунулся, двухнедельная щетина покрывает его щеки.

— Засекли все-таки... — бормочет он хрипло.

— Что все это значит, Виктор? — спрашивает Саша.

— Мне бы еще часов пятнадцать, — бормочет Витька. Он берет большой стеклянный сосуд с прозрачной жидкостью и смотрит его на свет. — Видал?

— Ничего не понимаю, — говорит Саша. — Что ты с Выбегаллой сделал? Что ты с собой сделал?

— Я живую воду сделал, балда! — хрипит Корнеев. — Смотри!

Он ставит сосуд на стол, хватает из ведра со льдом замороженную камбалу и кидает в живую воду. Камбала переворачивается вверх брюхом и вдруг оживает, переворачивается и ложится на дно, шевеля плавниками.

— Колоссально! — восклицает Саша, загораясь.

— Мне бы еще часиков пятнадцать... ну, десять! — бормочет Корнеев. — Скорость реакции очень маленькая, понимаешь? Мне бы реакцию ускорить!

Саша опомнился.

— Подожди, — говорит он. — А Выбегалло-то здесь при чем? Что ты с ним сделал?

— Да ничего я с ним не сделал, — нетерпеливо говорит Корнеев. — Две недели времени у него отобрал, у тунеядца. Зачем ему время? Все равно же кроссворды дурацкие решает да в преферанс дуется... Да это вздор! Ты мне лучше вот что... ты мне лучше подсчитай вот такую штуку...

Он наклоняется над столом и принимается быстро писать.

Между тем в кабинете Выбегаллы назревает очередной скандалчик.

— Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалло! — орет Модест Матвеевич. — Вы мне объясните, почему вы нарушаете трудовое законодательство?

— Никогда! — вопит Выбегалло. — Основы трудового законодательства я всосал с молоком матери! А что касается кроссвордов, то это есть гимнастика ума! Великий Эйнштейн, если хотите знать, решал кроссворды! И великий Ломоносов решал кроссворды! И этот... как его... великий этот...

— Вы это прекратите! — перебивает Модест Матвеевич. — Работой временной комиссии установлено, что вы четырнадцать суток провели в данном кабинете, следовательно, четырнадцать ночей ночевали здесь, следовательно, четырнадцать раз нарушали трудовое законодательство, а также категорическую инструкцию о непробывании!

Выбегалло вытаращивает глаза.

— То есть как это — четырнадцать суток? Это какое же нынче число?

— К вашему сведению, сегодня девятнадцатое!

Выбегалло медленно поднимается.

— Так позвольте же! — произносит он. — Это, значить, получку дают! Как же вы можете меня от этого отвлекать? Позвольте, позвольте, товарищи! — Он устремляется было от стола, но паутина не пускает его. — Да позвольте же! — в полный голос вопит Выбегалло, рвет паутину и, распихивая присутствующих, пулей вылетает в коридор.

— В таком вот аксепте, — говорит Модест Матвеевич, строго озирая присутствующих. — Трудовое законодательство — это вам не формулы, понимаете, и не кривые. Его соблюдать надо. — Он делает движение, чтобы уйти, но любопытство пересиливает, и он наклоняется над кроссвордом. — Прогулочное судно из четырех букв... Лодка! Л... О... Т... Гм!

В лаборатории Корнеева Саша и Витька, упершись друг в друга головами, что-то чертят и пишут. Пол уже забросан исчерканными листками бумаги. Сосуд с камбалой стоит на диване. Камбала чувствует себя хорошо.

— Конечно, если в нашем озере всю воду превратить в живую... — бормочет Саша.

— Да не в нашей луже, балда, — огрызается Корнеев.

— Ну, я понимаю, из озера вытекает ручеек, ручеек впадает в речку...

— Да при чем здесь речка, кретин! Всю воду, понимаешь? Всю воду на Земле можно превратить в живую. Всю!

— Вот этого я не понимаю, — говорит Саша. — Энергии же не хватает.

— Да как же не хватает? — плачущим голосом восклицает Корнеев. — Ну что ты за дубина? Я же тебе показываю...

Задвижка на двери сама собой отодвигается, и дверь распахивается. На пороге — Киврин, Хунта, Эдик Почкин, Стеллочка и прочие другие.

— Что же это вы, г-голубчик, затеяли? — укоризненно осведомляется у Корнеева Федор Симеонович.

— В уголовщину ударились, Корнеев? — неприятным голосом произносит Хунта.

Корнеев стоит, набычившись.

— Почему это — в уголовщину? Ничего такого в уголовном кодексе нет. Если у человека не хватает времени для работы, а ослы гоняют в это время в домино и в карты... Может же человек...

— Н-нет, голубчик! — строго говорит Федор Симеонович. — Н-не может. Человек — не может.

— Федор Симеонович! — восклицает Саша, выскакивая вперед. — Крестобаль Хозевич! Он же живую воду сделал!

— Живая вода — это прекрасно, — говорит Хунта. — Однако даже такая блестящая цель не может оправдать таких позорных средств. Вы, Корнеев, кажется, взяли на себя права и обязанности Господа Бога — решать, кому время нужно, а кому оно не нужно. А ведь вы не Господь Бог! Вы всего лишь маг и волшебник. Способный маг и волшебник, но не более того.

Корнеев открывает было рот, чтобы начать спор, но Федор Симеонович останавливает его властным движением руки.

— Н-нет, голубчик, — говорит он. — И вы сами знаете, что нет. Живая вода, наука, открытия — все это прекрасно. Но не за чужой счет, голубчик. Не кажется ли вам, что усматривается некоторая

параллель между вашими действиями и действиями некоего профессора, специалиста по разнообразным приложениям? Н-нет уж, вы не морщитесь, голубчик. А к-как же? Тот ворует чужой труд, а вы воруете ч-чужое время. Н-не годится, и н-не верю я, что вы об этом не думали. — Он подходит к дивану, ласково гладит обшивку. — Вот и диван вы украли... д-деградируете, Витя, деградируете...

— Вы не младенец, Корнеев, — говорит Хунта. — Могли бы, кажется, понять, что задача не в том, чтобы перераспределить время — у одних отобрать, а другим отдать. Задача в том, чтобы ни у кого на Земле — понимаете? — ни у кого! — не было лишнего времени. Чтобы все жили полной жизнью, чтобы все жили увлеченно и в увлечении этом видели свое счастье!

Часть стены обрушивается. Пролом имеет вид фигуры Модеста Матвеевича. Входит Модест Матвеевич и хозяйственно озирается.

— Так! — произносит он. — Я вижу здесь диван, инвентарный номер одиннадцать — двадцать три, каковой диван числится у нас списанным.

Камбала в сосуде медленно переворачивается вверх брюхом и всплывает.

Вечереет. За окном закат. Витька, Эдик и Саша, теперь уже втроем, работают за столом в корнеевской лаборатории. Трещит «мерседес», летят на пол исписанные листки бумаги. Из-под знаменитого дивана торчат ноги Хомя Брута. Потом он вылезает из-под дивана, озабоченно оглядывает его со всех сторон, стучит по нему ногой, как шофер по скату.

— Порядок, — говорит он. — Принимайте.

Саша вздрагивает, смотрит на него, смотрит в окно, смотрит на часы, с досадой бьет кулаком по столу.

\* \* \*

По берегу озера, держась за руки, медленно идут парень и девушка. Останавливаются, целуются, поворачивают обратно.

По шоссе проходит машина. Фары ее озаряют спины молодых людей. У парня белая надпись «Привалов 12», у девушки — «Стелла 56»

...

— НЕТ-НЕТ, — говорит за кадром голос Саши. — ЭТО ПРОСТО ШУТКА...

Парень счищает надпись у девушки со спины.

— ...ЭТО, КОНЕЧНО, ШУТКА, ТАК ВООБЩЕ НЕ БЫВАЕТ, ДАЖЕ У НАС В ИНСТИТУТЕ.

Девушка счищает надпись со спины парня.

— ...НО ЗАТО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ВИДЕЛИ, ЭТО ПРАВДА, ЧИСТЕЙШАЯ ПРАВДА... И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!



## ДНИ ЗАТМЕНИЯ

Жара.

Раскаленный воздух дрожит над выгоревшим пористым шифером крыш, над размягчившимся асфальтом прямых пустынных улиц. В жарком мареве колышутся бледно-желтые стены сейсмостойких домов, редкие колючие деревья, заросли телеантенн над домами. Улицы пусты, город словно бы заброшен.

Вот на панель выбежал из пыльного палисадника еж, большой, ушастый. Повел носом, поджался я кинулся прочь, оставляя на асфальте цепочку вдавленных птичьих следов.

И тихо. Только подвывают — почти мелодично — торчащие из окон мелкоребристые ящики кондиционеров, истекающие струйками водяного конденсата.

Жара.

Дмитрий Алексеевич Малянов, полнеющий мужчина лет тридцати с небольшим, сидел в одних трусах за столом и довольно бойко перепечатывал на машинке свою статью. В комнате стоял желтоватый от задернутых штор сумрак, было жарко, душно и накурено. Волосатый торс Малянова и небритая его физиономия покрыты крупными каплями пота. На столе дымилась последним окурком набитая до отказа пепельница, горой лежали справочники, свернутые в трубку чертежи и графики, папки с бумагами, картотечные ящики.

Впрочем, Малянов чувствовал себя отлично. Он тарахтел клавишами, вслух зачитывал избранные абзацы, время от времени затягивался окурком и что-нибудь поправлял в рукописи. Он работал и был доволен своей работой. Жары и духоты он не замечал.

— Из уравнения четырнадцать, — диктовал он сам себе, — к системе неравенств семь легко видеть... легко видеть...

Очевидно, видеть было не легко, потому что Малянов прекратил печатать текст, взял листок черновика и глубоко над ним задумался.

Грянул телефон.

— Легко видеть! — сказал Малянов телефонному аппарату.

Телефон гремел. Малянов взял трубку.

— Это база? — осведомился квакающий телефонный голос.

Малянов высоко задрал брови и вытянул толстые губы дудкой.

— А вам какую именно? — вкрадчиво поинтересовался он. — У нас здесь, знаете ли, военно-воздушная. Интересует?

— Чего? — квакнул голос недоуменно. — Это ты, что ли, Печкин?

— Какой я Печкин? «Я Спичкин!» — провозгласил Малянов и повесил трубку.

— Легко видеть... — снова пробормотал он, глядя в листок. Телефон зазвонил опять.

— Спасу нет от вас, — сказал Малянов аппарату, вылез из-за стола и, подсмыкнув трусы, прошел на кухню. Там он опустился на корточки перед холодильником и отворил дверцу. В холодильнике было пусто, если не считать мятой алюминиевой кастрюли да крошечного кусочка сала, устроившегося на зимовку в морозильнике среди сугробов инея.

Телефон все звонил.

Малянов захлопнул дверцу холодильника и все тем же манером вернулся к письменному столу. Действовал он совершенно механически — глаза его были обращены вовнутрь, губы шевелились.

Он взял трубку.

— Да?

— Это коммиссионный? — спросил другой голос, скорее даже приятный.

— Да, это коммиссионный, — проговорил Малянов без всякого выражения.

— Скажите, пожалуйста, моя вещь продана?

— Да, ваша вещь продана.

— Можно получить деньги?

— Можно. Можно получить.

— Огромное спасибо! Сейчас приеду!

— Приезжайте-приезжайте... — пробормотал Малянов, кладя трубку. Он покопался в хаосе на столе, развернул черновой график на миллиметровке и погрузился в лето.

— Ничего себе — легко видеть! — произнес он с горечью.

Снова зазвонил телефон.

— Пошел к черту! — сказал ему Малянов. — К дьяволу тебя. К свиньям. К собачьим. К свинячьим... — мысли его были далеко.

Телефон замолк ненадолго, потом зазвонил опять. Малянов снял трубку.

— Алло.

— Димка? Это Захаров говорит. Ну как ты там? Нетленку лепишь?

— Нетленку, нетленку... Чего тебе надобно, Захаров?

— А что так неприветливо?

— Слушай, отец. Я специально отпуск взял. За свой счет. Чтобы поработать как следует. В приятном далеке. Так ведь нет же!..

— Ну извини. Я хотел узнать, ключ от восемнадцатой не у тебя?

— Нет, не у меня. На доске ищи, в проходной.

— Я искал, там нет...

Брови Малянова пошли вверх, губы вытянулись дудкой.

— Так ты что же, отец, хочешь, чтобы я работу свою бросил, вернулся из отпуска и все для того, чтобы найти тебе ключ?

— Ну ладно, ладно! Ну извини. Тут, понимаешь, слух пронесся, что тебе предложили филиал и ты нас покидаешь.

— Не верь.

— А я и не поверил.

— Но, однако же, решил проверить.

— Так если вся контора гудит! Малянова академик вызывал, Малянову филиал дают, Малянов уходит...

— Все правильно, Захарыч, но я отказался.

— Ну и дурак.

— Тебя не спросили... — сказал Малянов и повесил трубку.

Он стоял в ванной и ждал. Смеситель тряся, грозно рычал, хрипел, плевался брызгами. В ванне воды не было и наполовину. Водопровод в последний раз заворчал на весь дом и затих окончательно.

Тогда Малянов нагнулся над ванной и принялся ополаскиваться. При этом он брызгался и рычал — почти как водопровод. Пока он вытирался обширным полотенцем, в комнате опять зазвонил телефон.

— Это родильный дом? — нарочитым басом спросил Малянов у полотенца и сам себе ответил тоненьким голоском:

— Нет, это зоологический магазин. — И снова басом: — А можно у вас купить красные кровяные тельца? — И снова пискляво: — Нет, у нас в продаже только желтые, синие и зеленые...

Не помогло. Телефон надрывался. Широко шагая, Малянов вернулся в комнату и схватил трубку. Сыроватые его волосы сбились в косматый колтун, и он стал похож на толстую, не совсем нормальную ведьму.

— Вторая образцово-показательная психиатрическая клиника! — объявил он и, поскольку трубка молчала в ошеломлении, добавил: — В чем дело, клиент? Сообщите ваш адрес!

— Дима, это ты? — осторожно осведомился низкий размеренный голос.

— Да... Это кто?

— Вечеровский. Здравствуй.

— Тьфу ты, дьявол! Извини, Фил. С утра, понимаешь, наяривают... Раздался звонок в дверь — длинный и настойчивый.

— Ч-чер-рт! С цепи сорвались, ей-богу! Подожди минутку, Фил, теперь в дверь наяривают...

— Дима! Стой!..

Но Малянов уже бросил трубку на стол в грудку бумаг, а сам устремился в прихожую.

— Дима, алло. Дима, Дима, алло. Дима... — монотонно повторяла брошенная трубка.

На кухонном столе возвышалась среди недопитых стаканов с чаем внушительная картонная коробочка, обклеенная тонкими полосками липкой ленты. Из-за коробочки выглядывал плюгавый мужичонка в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый, потный и несчастный видом. Он искательно улыбался и протягивал Малянову обширные квитанции, переложенные фиолетовой копиркой. Малянов квитанции отвергал.

— Ты способен понять, отец, что я ничего не заказывал? — втолковывал он плюгавому.

— Ну, может, жена заказывала... — лепетал плюгавый.

— Нет у меня жены! Два года, как нет! И денег у меня нет и никогда не было — такие заказы делать!

— Так денег же и не надо! — оживился плюгавый. — Запложено!

И точно, наискосок по квитанциям шла большими фиолетовыми буквами надпись: «Оплачено».

— Отец! Это ошибка какая-то!

— Не может быть никакой ошибки. Распишитесь вот тут...

— Отец! Из своего кармана вложишь!

— Расписывайтесь, расписывайтесь...

Малянов расписался, и плюгавый тотчас выхватил у него из рук квитанцию и упрятал ее за пазуху. Потное лицо его выражало теперь полнейшую растерянность — он словно перестал понимать, где находится, почему и зачем. Он воровато оглядел кухню, втянул голову в плечи и принялся пятиться, глядя на Малянова исподлобья.

Малянов тоже оглядел кухню, но ничего особенного в ней не обнаружил.

— Гос-споди... — слабо проскрипел вдруг плюгавый и опрометью кинулся вон. Ахнула входная дверь, что-то просыпалось за обоями, и стало тихо.

— Ну и денек, — сказал Малянов и посмотрел на коробку.

— Оказывается, коробочка успела за это время покрыться инеем. Иней неестественно сверкал на солнце, над коробочкой дымился парок. Малянов решительно разорвал картон и, выкативши глаза, извлек на свет громадный полиэтиленовый пакет с глубокозамороженным вареным омаром, пламенеющим красно-коричневым панцирем.

Малянов грохнул на стол окаменелое членистоногое, схватил квитанцию и принялся заново изучать ее.

А день потихоньку катился на убыль, но солнце стояло еще высоко. Воздух над городом раскалился до предела. Все живое замерло, расплзлось, попряталось...

По кривым узким улочкам старого города, мимо раздражающе, ослепительно белых глинобитных домиков, пыля брезентовым верхом, катился грязно-зеленый УАЗ-469, в просторечии именуемый «газиком».

Очередная улочка вывела его на довольно широкую дорогу, и по сторонам пошли новые здания — дома, выстроенные в период так называемых архитектурных излишеств, и странные дома в восточном стиле — рядом с ними особенно нелепо выглядели серые корпуса производственных зданий с блеклыми разводами на глухих бетонных стенах.

Коротко остриженный лопухий мальчишка-шофер переключил скорость, и газик, завывая коробкой передач, резво покатился в гору. Выскочив на холм — город сверху казался совершенно покинутым, — шофер лихо заложил вираж, и машина на хорошей скорости понеслась под уклон... Поворот, еще поворот, открылась новая улица, уставленная однообразными аккуратными пятиэтажными домами, у подъезда одного такого дома газик затормозил.

Пассажира распахнул дверцу и неторопливо выбрался наружу, стараясь не слишком испачкаться о пыльный борт. Он был высок ростом и вообще обширен во всех своих измерениях. Все у него было крупное, массивное — руки, ступни, мясистое грубое лицо, изуродованное старыми шрамами и ожогом.

Он осторожно огляделся — довольно странное движение, совсем, казалось бы, этому человеку не свойственное, — и скользнул взглядом по фасаду дома. В окне второго этажа виднелся Малянов, сидящий на подоконнике. Седой человек приветствовал его, поднявши растопыренную пятерню, Малянов с готовностью ответил ему тем же.

Он сидел на подоконнике. Солнце уже ушло в другую сторону дома, и шторы теперь можно было раздернуть. В руке Малянов держал гигантский бутерброд, пышно разукрашенный зеленью. Зелень торчала во все стороны, и, откусывая от бутерброда, Малянов погружался в эту зелень, как лошадь в сено.

— ...Представляешь? — говорил он, не переставая жевать. — Моам? Муам... И причем жратва первоклассная! Омары, например. Кстати, ты не знаешь, что с омарами делают?

Сидя в единственном кресле, его внимательно слушал Филипп Вечеровский, элегантный, как дипломат на приеме, в великолепном костюме, ослепительной сорочке... галстук единственно возможной расцветки... запонки... в руке трубка, и, разумеется, не какое-нибудь там ширпотребовское барахло за три пятнадцать, а настоящий «Данхилл» с белой точкой. Бледное вытянутое лицо его было непроницаемо спокойно, белесые ресницы помаргивали.

— Знаю, — сказал он, и это прозвучало, как приговор.

— Это я и сам знаю, — сказал Малянов. — Но как его приготовить? Он же, подлец, глубокозамороженный...

За окном Малянов видел лопухого мальчишечку-шофера и седого человека с изуродованным лицом. Они стояли возле газика и разговаривали, причем седой поминутно и очень неумело озирался по сторонам. Оба — в черных мешковатых костюмчиках и в старомодных бобочках с отложными воротничками. Седой держал в руке объемистый кожаный портфель.

— Дима, — сказал Вечеровский, помолчав, — это правда, что тебе предложили филиал?

— Да. А ты откуда знаешь? Уже и до твоего, значит, института...

— Ты согласился?

— Нет.

— Почему?

Малянов отвернулся и стал смотреть в окно. Седого уже не было около газика. Шофер в одиночестве стоял, рассматривая обширную грязную тряпку, которую держал, расправивши перед собой. Потом он пошел вокруг машины, отряхивая от пыли брезентовый кузов.

— Не хочу, — сказал Малянов, все еще глядя в окно. — Я, извините за выражение, ученый. Я не хочу быть директором.

— У тебя не осталось идей?

— У меня есть идеи, Фил. Именно поэтому я не хочу превращаться в администратора. Пока что-то еще шевелится здесь... — от стукнул себя кулаком в потный лоб. — Пока еще не омертвело напрочь...

— Насколько я знаю, филиалу будут выделены большие деньги. Это задумано как очень серьезное предприятие, и человек, имеющий идеи...

— Ты, кажется, тоже вознамерился уговаривать меня, как девку красную.

— Нет. Я просто хотел бы понять, почему ты отказался.

Малянов смотрел, как шофер, прекративши пыльное свое занятие, заталкивает тряпку за противотуманную фару. Седой вышел из парадной и двинулся к машине. Портфеля с ним не было — он держал

подмышкой толстенную ядовито-зеленую папку. Вторая папка, тоже зеленая, по еще более толстая, висела у него в авоське в другой руке. Шофер кинулся ему помогать, они погрузились в автомобиль и уехали.

— А черт его знает, почему я отказался, — проговорил наконец Малянов.

— Зло взяло. Какого дьявола? В прошлом году о Малянове и разговаривать не хотели — молод, видите ли, недостаточно зрел и вообще — участник бракоразводного процесса. Ладно, отцы! Я на это наплевал и забыл. А теперь вот, когда у меня самое что ни на есть пошло... Ты помнишь, я тебе рассказывал про полости макроскопической устойчивости?

— Полости Малянова? — сказал Вечеровский, усмехнувшись.

— Ладно-ладно! Нечего!.. Так вот, я доказал, кажется, что они существуют. Ты понимаешь, что это означает и что отсюда следует?

— Откровенно говоря, не совсем.

— Не совсем!.. Я и сам еще не совсем понимаю, но я тебе гарантирую, что это — новая теория звездообразования как минимум, а может быть, я вообще самая общая теория образования материи в физическом понимании этого слова. Сечешь?

— Секу помаленьку, — сказал Вечеровский. Он произнес эти слова так, как мог бы их произнести просвещенный дворянин девятнадцатого века.

— Это — нобелевка, отец! — сказал Малянов, выкатывая глаза и понизив голос. — Это нобелевкой пахнет! А они хотят, чтобы я все бросил и занялся ихним дурацким филиалом? Да гори он огнем! Я и без всяких филиалов работать не успеваю. Отпуск взял. Представляешь, за свой счет. Чтобы никакая собака не мешала. Нет же — звонят с утра: почему не хочешь быть директором? И вообще все как с цепи сорвались — телефон обезумел, дядьки какие-то прутся с доставкой на дом...

Вечеровский немедленно встал, и Малянов спохватился:

— Стой! Я же не про тебя, Фил!.. Давай, кофейку сейчас сварганим...

— Спасибо, нет... Да и не умеешь ты кофе варить, если откровенно...

— Ну ты заваришь! По-венски, а? А потом омара будем тушить. С картошкой!

Но Вечеровский уже неудержимо продвигался к двери.

— Я ведь, собственно, забежал к тебе на минутку. У меня же еще лекция сегодня... Да, кстати, фамилия Снеговой тебе ничего не говорит?

— Арнольд Палыч? — удивился Малянов. — Он вот в той квартире живет. Дверь дерматином обита.

Они стояли на пороге маляновской квартиры и через лестничную площадку смотрели на обитую дерматином дверь. Потом Вечеровский проговорил медленно:

— Вот как?

— А в чем дело? — спросил Малянов. Реакция Вечеровского была ему непонятна и показалась странной. — Он тебе нужен? Так он уехал только что, я видел в окно...

Вечеровский пару раз моргнул, все еще глядя на дерматиновую дверь, потом спросил:

— А кто он, собственно, такой?

— Инженер, по-моему. А что?

— А где работает?

— Не знаю. Кажется, на объекте. Знаешь объект на Южном мысе? По-моему, там. А что случилось, Фил?

— Где? — странно спросил Вечеровский, обратив наконец на Малянова свои белесые глаза. Малянов от такого вопроса смешался, и Вечеровский, отдавши ему что-то вроде чести указательным пальцем, направился к лестнице.

Малянов работал. Пишмашинка с вставленным полуисписанным листом стояла теперь на полу в стороне. Ее место на столе занял микрокалькулятор, и Малянов, нависая над ним, пыхтя и обливаясь потом, пальцем левой руки набирал программу, считывая ее с длинного листка бумаги. Набрал, запустил счет. Калькулятор замигал красным окошечком дисплея, а Малянов удовлетворенно откинулся на спинку стула, отдуваясь и слизывая пот с верхней губы.

Затрещал телефон. Малянов приподнял к тут же опустил трубку жестом совершенно механическим.

За окном уже надвигался вечер. Люди появились на улице. У подъезда на скамеечке сидели неподвижные черные старухи. Жара спадала. Медно-красное солнце тяжело висело над голыми скалами-сопками, окружившими город.

Малянов быстро писал формулы, строчка за строчкой, густо, ровно, как по линейке. Потом вывел с особой тщательностью: «Легко видеть». Обвел рамкой. Второй. Третьей... Нервно захихикал,

подпрыгивая на стуле. Застыл с идиотской улыбкой, выкатив невидящие глаза.

— Легко видеть! — провозгласил он.

Голос у него был хриплый, и он откашлялся. Телефон брякнул неуверенно. Малянов строго посмотрел на него и сказал:

— Теперь, на самом деле, надо насчет пучностей уточнить... На самом деле, насчет пучностей чушь какая-то у нас получилась, Малянов... — Он принялся перебирать листочки, разбросанные по столу и по полу. — «Отсюда ясно...» — прочитал он. — Вот тебе и ясно. Ясно, что ничего не ясно...

И тут раздался звонок в дверь.

За порогом квартиры стояла понуро, словно отбывая некое неведомое наказание, нескладная молоденькая девица в унылой длинной юбке и затрапезной кофте неопределенного фасона. Испуганные слегка косящие глаза за толстыми стеклами очков. Костлявые лапки прижимают к животу тоскливого вида ридикюль. И возвышается у ног чудовищный полуторный чемодан, обвязанный белой бечевкой...

Малянов, свирепо хмурясь и играя желваками, еще раз перечитал записку.

— Узнаю свою первую жену, — произнес он с горечью.

— Она сказала, что вы будете только рады... — пролепетала девица.

— Ну еще бы! — сказал Малянов саркастически. — «Она тебе оч. понрав.», — процитировал он из записки. — Это вы. Вы мне оч. нрав.

— Да... — угасающим голосом проблеяла девица. — Но я не буду мешать.

Малянов глянул на нее почти злобно, но тут же спохватился. В сущности, он был человек добрый и склонный к сочувствию.

— Ладно, — сказал он. — Победила дружба. Заходите. Лидочка?

— Да, — сказала девица, счастливо заулыбавшись. У нее даже глаза за очками увлажнились подозрительно. Она подхватила свой чудовищный чемодан и двинулась вперед. Малянов еле-еле успел чемодан перехватить.

— Ого! — крикнул он. — Что у вас там? Походная библиотека? Нет, вот сюда, налево...

Он почти протолкнул растерявшуюся Лидочку в бывшую детскую.

Здесь в углу пестрели заброшенные и забытые игрушки. Стены были увешаны яркими детскими картинками. Кое-где темнели квадраты невыгоревших обоев — там, где какие-то картинки были сняты...



Малянов грохнул чемодан в угол и приказал Лидочке сесть. Она поспешно и послушно опустилась на кушетку, глядя на Малянова овечьим взглядом.

— Спать будете здесь! — распорядился Малянов. — Окно можете открыть. Белье — в шкафу. Сортир — налево за углом. Найдете. Ванна там же. Очень удобно. Я буду работать. Пока я работаю, в доме должна дарить абсолютная тишина. Ваша подруга, она же моя первая жена, этого не понимала, поэтому я ее выгнал. Сечете?

В косеньких глазах появился ужас. Малянову это очень понравилось.

— Можете лежать, сидеть, читать. Можете играть вот с тем зайцем. Но тихо! Никакой беготни, никаких этик считалок, песенок и та да...

Внезапно чудовищный чемодан поехал сам собою по полу и повалился набок. Загудело за окном. Качнулась люстра. Лидочка ошеломленно ойкнула и вцепилась обеими руками в кушетку.

— Спокойно! — сказал Малянов — Это маленькое землетрясение. В вашу честь. У нас тут бывает... А завтра ожидается даже небольшое солнечное затмение. Тоже — в вашу, как я понимаю, честь...

За окном было уже совсем темно. Малянов включил настольную лампу и сидел за столом, положив волосатые кулаки на обе стороны от чистого листка бумаги, набычившись, выдвинув челюсть, словно собирался наброситься на кого-то, кто сидит по ту сторону стола. Но там никого не было. И в комнате никого не было. Дверь закрыта. Слышно, как ворчит вода в ванной и позвякивает посудой Лидочка на кухне. Потом там раздается отчаянный сдавленный вопль, дребезг стекла, и наступает мертвая тишина.

Малянов вздрогнул и посмотрел на закрытую дверь. Выражение лица его переменялось. Он вытянул губы дудкой, повел носом, как всегда, когда намеревался состричь, но тут же забыл обо всем, схватил фломастер и нарисовал на листке жирный красный контур, а на контуре — стрелку. Взял другой фломастер — зеленый. Рядом со стрелкой красиво вывел е. Откинулся на спинку, чиркнул спичкой, закурил удовлетворенно, но тут скрипнула дверь и Лидочка, просунувшись в комнату половинкой жалкой физиономии, пролепетала горестно:

— Дмитрий Алексеевич, я чашку разбила.

— Как! — театрально провозгласил Малянов, развлекаясь. — Еще одну?

— Да. Синюю. С корабликом.

Малянов встал.

— Черт побери! — сказал он уже без всякой театральности. — Извините, Лидия, но вы все-таки поразительная корова!

— Я нечаянно, Дмитрий Алексеевич!..

Малянов проследовал на кухню. Стол там был накрыт к ужину, и со вкусом. Кушанья разложены по тарелочкам. Салат. Зелень. Капельки воды весело искрились на свежeweымытой редиске...

А на углу стола лежала синяя чашка в трех частях. Малянов взял в руки одну из частей и бережно покрутил ее в пальцах. Взял вторую. Попытался сложить. Части сложились охотно, и образовалась золотистая надпись: «...ому папе на день рожде...»

Малянов посмотрел на Лидочку. Та обессиленно опустила под его взглядом на табуретку, и поза ее выразила такое отчаяние, что он смягчился.

— Ладно уж, — сказал он. — Долой сантименты! Где ведро?  
— Не надо в ведро, — сказала Лидочка. — Я сама склею.  
— С вашими способностями вам знаете, что надо склеивать?  
— Не знаю, — сказала Лидочка отчаянно. — Я вам еще доску расколола.

— Какую доску?!

— Деревянную. Для хлеба.

Малянов картинно развел руки.

— Ну это уже все! — провозгласил он. — Вызываю специалиста. Пора.

— Не смейтесь! — сказала Лидочка. — Ничего смешного здесь нет! Вы просто ничего не понимаете... Вы как каменный... Шуточки, прибауточки, а глаза — мертвые, пустые, и весь вы там... — Она ткнула пальцем в сторону кабинета. — С вашими дурацкими проклятыми формулами!.. Вы же не соизволили узнать меня. Я для вас сейчас чувело гороховое, посмешище, а тогда ухаживали, руки целовали... цветы...

Малянов не глядя нащупал стул и уселся.

— Какие цветы? — сказал он растерянно. — Когда?

— Четыре года назад. В Гаграх. Вы еще ходили в такой желтенькой рубашке с надписью «Дельта сайнс фикшн» ... — Она вдруг улыбнулась сквозь слезы. — Помните, как вы меня тогда дразнили: «Лидия! Отвратительная мидия!..» Мы с вами мидий собирали и варили из них похлебку с луком. Ну неужели вы совсем ничего не помните?!

Малянов, растерянно таращивший на нее глаза, не успел ничего ответить, потому что в дверь забарабанили и затрещивали разом, будто целая толпа хулиганов рвалась в квартиру, но оказалось, что это всего-навсего один тощий старикашка — сосед с нижнего этажа.

— Вы что тут — с ума все сошли! — ужасным фальцетом вопил он. — Ведь у меня же там все затопило! Что вы тут делаете? Куда смотрите? Потолок же обваливается... обои! Книги!..

Малянов метнулся в ванную. Ванна была переполнена, на полу — по щиколотку воды. Горячей. С паром.

— Лидия! — загремел Малянов. — Ведь я же предупреждал вас, что сток не работает!..

Он схватил тряпку, пустое эмалированное ведро и шагнул в ванную.

Он собирал воду тряпкой и отжимал ее в ведро. Она работала мусорным совком и довольно ловко. Оба они были мокрые от пота, воды и пара, а старикашка реял над ними, не переставая браниться и жаловаться.

— Надо быть самой фантастической коровой...  
— Не предупреждали вы меня! Не предупреждали и все!  
— Самой надо соображать! Самой! Голова вам на что?  
— Нет, таких людей нельзя селить в современном доме! (Это уже старикашка.) Это же дикие люди! Таким надо жить в деревне, в кишлаке... И в шайке мыться!..

— Я вам говорил, что струя слишком сильная?  
— Нет, не говорили!  
— Я вам...  
— Не говорили, не говорили, не говорили!!!  
— Из шайки, из корыта мыться, но не в ванне...  
— Второе ведро возьмите, я вам говорю! В кладовке!  
— Откуда мне знать, где тут у вас кладовка!..  
— Нет, я все понимаю! — это — старикашка. — Я сам интеллигентный человек. Но ежегодно устраивать потоп... Ежегодно!

И звенит совок о край ведра, и всхлипывает залитая слезами Лидочка, и ужасно кряхтит Малянов, ползая на коленках по мокрому кафелю пола.

Малянов стоял над своим рабочим столом, тщательно утирался большим махровым полотенцем и тупо рассматривал огненно-красный контур на чертеже, забытом да столе. По всей квартире было натоптано мокрыми ногами, входная дверь распахнута настежь, гремел мусоропровод с лестницы, и доносились из кухни душераздирающие рыдания.

Малянов тяжело вздохнул, смял чертеж с красным контуром, бросил бумажный комок на пол и, растирая полотенцем спину, направился на кухню.

Все уладилось, впрочем, наилучшим образом. Они вкусно и с аппетитом поужинали, выпили водочки из роскошной импортной бутылки, потом откупили хванчку. Лидочка покраснела, развеселилась и чудо как похорошела. Малянов в свежей белой сорочке и причесанный выглядел почти элегантно — мешала, однако трехдневная щетина. Разговоры велись самые легкомысленные. Например, о ложной памяти.

— Да нет же, Дмитрий Алексеевич! Я все помню совершенно отчетливо! И эту вашу ярко-желтую рубашечку, и голос ваш, и какие стихи вы мне читали над морем...

— Какие же?

— «Старый бродяга в Аддис-Абебе, покоровивший многие племена...»

— Гм. Мо-от быть, мо-от быть... Но, золотко мое...

— Ирина нас познакомила, а потом сама же и ревновала ужасно...

— Вполне! Вот это — вполне! Очень похоже на мою первую жену. Но, Лидочка, поймите... Да, я люблю женщин. К чему скрывать? И они меня любят. И у меня было их много. И моей первой жене это чертовски не нравилось... Но, деточка, не настолько же много их у меня было, чтобы я забывал целые эпизоды!

— А как пограничники за нами гнались, тоже не помните?

— Нет. А почему это за нами вдруг погнались пограничники?

— Мы сидели с вами на пляже поздно вечером. Они прошли мимо, а вы прошептали им вслед таким зловещим шепотом, на весь пляж: «Место посадки обозначьте кострами...»

Малянов радостно ржал, мотал щеками и приговаривал:

— И все-таки не было этого ничего. Не было! Ложная память, дитя мое, ложная память... Это все вам приснилось...

Лидочка с почти священным трепетом рассматривала пустой уже панцирь омара, в то время как Малянов излагал ей предысторию сегодняшнего ужина.

— ...И вино, и водка, и зелень, и все эти вкусности... Представляешь, мать? — они уже были на ты.

— И все оплачено?

— И все оплачено! Кем? Не знаю. Как это все получилось? Представления не имею...

— Но ведь ты понимаешь, Митя, что так не бывает. Даром ничего не бывает. За все приходится когда-нибудь платить. И хорошо, если деньгами. Потому что если не деньгами, то чем же?

Лидочка говорила все это так серьезно, с такой неожиданной печалью и горечью в голосе, что Малянов, убравший столовой ложкой остатки салата, приостановил свое занятие и посмотрел на нее с сомнением.

Строгая и грустная девушка сидела перед ним. Красивая. Очень чужая и странная. За спиной ее качалась и шевелилась на стене огромная бесформенная тень. А омар в тонких пальцах шевелился как живой и словно пытался вырваться, освободиться, уползти куда-нибудь подальше.

В легком разговоре возник явный и неприятный перебой. Оба молчали. Оба искали, что сказать, и не находили. Малянов несколько судорожно схватил бутылку и принялся старательно подливать вино в стаканы, и без того полные.

— И-ну уж, прямо-таки... — промямлил он. — С-слушай... Да! А какие у тебя, мать, планы в нашем прекрасном городишке?

— Планы? — этот простой вопрос привел, по-видимому, Лидочку в полное недоумение. Она явно не знала, что на него ответить. — У меня?

— У тебя, у тебя?..

— А что тут у вас есть?

— Н-ну, как что? Море. Пустыня вон, за сопками... Все есть. Обсерватория. Старый город... Мечеть одиннадцатого века... Слушай, старуха, ты все равно стоишь, достань-ка вон там, с полки, альбом...

Лидочка сейчас же послушно вскочила за альбомом, и Малянов, оживившись, принялся рассказывать про мечеть и про обсерваторию, иллюстрируя свою импровизированную лекцию фотографиями из альбома.

Потом, когда со стола было убрано, сели пить чай с вареньем, Малянов все порывался рассказать о своей работе, но Лидочку это совсем не интересовало. Более того, разговоры о маляновской работе не то злили, не то раздражали ее.

— Не надо, Митя! Не хочу!

— Нет, мать. Ты попробуй представить себе эту картину: жуткая черная бездна, пустота... пустота абсолютная, человек не может себе такую даже вообразить — ни пылинки, ни искорки, ничего! И ледяной холод. Мрак и холод. И вдруг, словно судорога, — взрыв, беззвучный, конечно, звуков там тоже нет... И эта мрачная пустота... это пустое пространство содрогается и сминается, как пластилиновая лепешка...

— Ну не надо, Митя! Я прошу вас, пожалуйста... Не могу я, когда вы об этом говорите и даже думаете... Я не шучу, не смейтесь...

— Старуха! — возмутился Малянов. — Ведь мы с тобой выпили на брудершафт!

— Ну, хорошо, ну, «ты» ... Только не надо больше про это...

— Эх, Ньютону бы об этом рассказать! Вот бы старик воспламенился! Это он только языком трепал: гипотез, мол, не измышляю. Гордое смирение! А у самого воображение работало ого-го!

— Я, слава богу, не Ньютон.

— Старушечка! Я же популярно... без математики...

— И популярно не надо. Не думай об этом.

— Невозможно, мать. Когда я работаю, я думаю только о работе.

— А ты не думай. И не работай. Черт побери, Дмитрий! Ты ведь сидишь рядом с женщиной!.. И что это за мужики пошли...

— Дети и книги делаются из одного материала, — процитировал Малянов не без скабрёзности.

— Что это такое?

— Бальзак. Или Флобер. Не помню точно.

— Не понимаю.

— А что тут понимать? Либо детей делать, либо книги. Одновременно — не пойдёт. Материала не хватит.

— Глупости какие!

— Безусловно. Но сказано элегантно. А может быть, не так уж и глупо, если призадуматься.

— Не надо призадумываться!

— Ой, до чего же вы, бабы, не любите призадумываться!

— А нам это ни к чему. Мы и так все знаем. Наперед. Ведь Ева съела яблоко, а Адам, бедняжка, только надкусил.

Малянов посмотрел на нее критически. Да, она явно кокетничала. Она пыталась ему понравиться, бедняжка. Старалась показаться значительнее и умнее. Но слишком уж она была непривлекательна в дурацком своем наряде и безобразных очках. И косая вдобавок.

— Ох, мать... — Малянов поднялся и налил еще чаю, себе и ей. — Жаль мне вас. Думать — это, брат, прекрасно! Это единственное, что отличает нас от обезьяны. Иногда меня вдруг осеняет: вот сижу я за столом, такой маленький, такой жалкий, ничтожный, крошка, пылинки, полпылинки... а в мозгу у меня — вспыхивают и гаснут вселенные!.. Когда я осознаю это... Старуха! Это ощущение я не променяю ни на какую женщину!.. Вот дети, это — да! Ребенок — это сгусток будущего. Это, мать, будит воображение... Это, знаешь ли... На самом деле... — Он вдруг оживился. — На самом деле, настоящие идеи, они похожи на детей. Честное слово. Они зарождаются под черепушкой, как дети во чреве, и копошатся там, и сладко так толкаются... Ты рожала когда-нибудь, старуха? Нет? Ну ты тогда не поймешь...

Все это он говорил без тени юмора. Ему и в голову не приходит, что в его устах это звучит забавно. Аналогия только что пришла ему в голову и страшно его увлекла.

— ...Заметь, они требуют усиленного питания — духовного, конечно, в первую очередь... и всяческого внимания, и бережного отношения, и времени... Упаси бог поторопиться — будет выкидыш!.. А потом происходит таинство... акт появления на свет... роды, если угодно. Бог ты мой, как это на самом деле мучительно! Если бы ты понимала! Роди ее, перенеси на бумагу, дай ей словесную, знаковую плоть... И какая она жалкенькая сразу после рождения — даже самая могучая идея! — какая она беспомощная, сырая, уродливая...

Тут вдруг Лидочка посмотрела Малянову через плечо и отчаянно взвизгнула. Малянов резко повернулся, повалив табурет. В полусумраке коридорчика страшно светилось изуродованное лицо Снегового.

Секунду стояла напряженная тишина, а потом Снеговой проговорил хрипло:

— Извините меня, Дмитрий Алексеевич, но дверь у вас была настежь...

— Бога ради, бога ради! — зачастил опомнившийся Малянов. — Замок дрянь, не защелкивается... Да вы заходите, Арнольд Палыч, садитесь.

— Нет-нет! Ни в коем случае, Дмитрий Алексеевич... — Снеговой был вполне корректен и вел себя совсем по-светски, но странно было, что, разговаривая с Маляновым, он почти неотрывно смотрит на Лидочку. — Ни в коем случае! Я ведь почему зашел? Книгу! Книгу же я вам обещал и совсем забыл... Вы, может быть, заглянете сейчас ко мне?

— Какую книгу? — ошеломленно бормотал Малянов. — Что-то я не прип...

— А то я, знаете ли, завтра убываю, и надолго... — продолжал Снеговой, беря Малянова за рукав халата и увлекая его за собою. — Я забираю его у вас буквально на минутку, — обратился он к Лидочке. — Извините меня... — и снова к Малянову: — Было бы глупо, если бы я забыл... Сам же обещал, даже навязывал, и сам же забыл... Однако же, слава богу, вспомнил в последнюю минуту...

Продолжая молотить одно и то же, как заведенный, он протащил Малянова через прихожую, а на лестничной площадке, когда Малянову удалось наконец освободить свой рукав и он уже рот раскрыл, чтобы разразиться негодующей речью, Снеговой близко глянул ему в глаза и вдруг поднял и прижал к своим губам толстый корявый палец.

После этого немислимого жеста Малянов, потрясенный и заинтригованный, полностью покорился, и они осторожно, почти на цыпочках, прокрались через лестничную площадку к обитой дерматином двери.

В квартире Снегового свет горел повсюду — в прихожей, в обеих комнатах, в кухне и даже в ванной. Все мыслимые источники были включены. И вообще квартира производила довольно-таки странное впечатление. Повсюду — на полках, на столах, на стенах — располагались десятки и сотни разнообразнейших раковин и улиток — от огромных тропических, рогатых и многоцветных, до самых невидных, маленьких и скромных, россыпью наваленных в огромное блюдо

на журнальном столике. И не только улитки — самые неожиданные спирали и их красочные изображения наполняли квартиру. Винты, шурупы (и среди них — гигантские!), спиральные пружины, шнеки, яркие схемы каких-то спиральных образований и даже великолепные цветные фотографии спиральных галактик чуть ли не в полстены размером...

— Кто эта женщина? — негромко, но как-то очень напористо и с непонятной неприязнью спросил Снеговой, едва они вошли в комнату.

— Лидочка. Знакомая... Просто знакомая.

— Давно знакомы?

— Н-нет... Сегодня приехала... с запиской от жены...

— Вы же в разводе.

— Да. Но не могу же я отказать... — Малянов спохватился. — Арнольд Палыч, в чем дело? Вы ее знаете? Она что?..

— Стойте. Спрашивать буду я. Времени у нас нет, Дмитрий Алексеевич, вот что. Давайте по порядку. Во-первых, возьмите книгу.

— Какую?

— Любую, — сказал Снеговой нетерпеливо. — Возьмите вот эту и держите в руках, чтоб потом не забыть... И давайте присядем на минутку.

В полном обалдении Малянов взял со стола толстый том и, зажав его под мышкой, опустился на диван у торшера. Снеговой сел рядом и тотчас же закурил. На Малянова он не глядел. Снеговой, видимо, и в самом деле собирался уезжать. На полу и на стульях были расставлены раскрытые чемоданы, наполовину забитые одеждой, книгами и какими-то папками. На распахнутой дверце шкафа висел на распялочке темно-синий парадный костюм с орденскими ленточками сорочка, галстук... Сам Снеговой был в обширной полосатой пижаме, в домашних стоптанных тапочках.

— Значит, по порядку... — прогудел он, глядя в угол и поминутно затыгиваясь. — Во-первых. Над чем вы сейчас работаете?

— Я? А что?

— Вы ведь, кажется, астроном? Так?

— Так.

— Наблюдатель?

— Нет. Теоретик.

— А такая фамилия — Губарь — вам ничего не говорит?

— Губарь? Губарь... Нет, Арнольд Палыч, что случилось?

Снеговой раздавил окурочек в пепельнице и тут же закурил снова.

— А фамилия Глухов?

— Глухов? Тоже нет... Хотя подождите, у Вечеровского же есть приятель Глухов... Владлен... Владлен...

— Историк?

— Д-да... кажется.

— Так! — Снеговой поднялся и, жуя окурок, прошелся по комнате, засунув огромные свои лапы в карманы пижамы. — А Вечеровский?..

— Да я же вас с ним знакомил! Он биолог, очень крупный, с европейским именем...

— Да-да... Помню... Вечеровский... — прогудел Снеговой. — Помню, конечно... Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Это очень ценно, что вы мне сообщили... Да! Так над чем вы сейчас работаете?

И тут Малянову стало страшно. Снеговой был не похож на себя. Вопросы его скрывали какую-то тайную угрозу... И Малянов разозлился:

— Слушайте, Арнольд Павлович! — сказал он. — Я не понимаю!..

— Я тоже! — сказал Снеговой резко. — Я тоже не понимаю, а понять надо! Пока не поздно. Рассказывайте. Подождите!.. У вас закрытая тема?

— Какого черта закрытая! — сказал Малянов раздраженно. — Общая космология, немного астрофизики и звездной динамики... теория гравитации... Я доказываю, что некоторые виды сингулярностей устойчивы... Да вы все равно ничего не поймете, Арнольд Павлович.

— Сингулярности... — медленно проговорил Снеговой и пожал плечами. — В огороде бузина, а в Киеве дядька... И не закрытая? Ни в какой части?

— Ни в какой букве!

— И Губаря не знаете?

— И Губаря не знаю.

Снеговой засмолил третью папиросу. Он стоял перед Маляновым, нависая над ним, — огромный, сторбившийся, страшный — и молчал. Потом он сказал:

— Ну, на нет я суда нет. Извините меня, Дмитрий Алексеевич. У меня все.

— Да, но у меня не все! — сварливо сказал Малянов, поднимаясь.

— С вашего позволения, Арнольд Павлович, я бы хотел узнать...

— Не могу, — сказал Снеговой как отрезал. — Не имею права.

И не обращая более никакого внимания на Малянова, он подошел к столу и принялся разгружать карманы пижамы. Носовой платок, грязный, мятый, — в угол. Пачка «Беломора». На стол. Коробок спичек. Еще один коробок спичек... Какие-то сложенные бумажки... авторучка...

Потом он извлек на свет огромный пистолет и сунул его небрежно в первый ящик стола.

Увидев этот пистолет, Малянов приоткрыл рот и тихонько попятился к двери.

На пороге своей квартиры Малянов задержался и прислушался. Дверь была приоткрыта, виднелся свет в щели, но звуков никаких слышно не было, кроме, впрочем, ворчания водопровода. Тогда Малянов осторожно прошел в прихожую. Дверь при этом отчаянно за скрипела, и Малянова всего перекосило от этого скрипа.

В кухне было пусто. Стол прибран, чисто протерт. Вся грязная посуда — в мойке. Пол подметен. Газ выключен. И никого.

И в ванной тоже никого. Висят на бельевой веревке розовые трусики и такой же лифчик.

Малянов прошел в кабинет, положил на край стола толстый справочник Снегового и некоторое время стоял в нерешительности, озирая свое хозяйство: включенный калькулятор с красными цифрами на дисплее, груды исписанной бумаги, рулоны графиков, бумажные листы, разбросанные по всему полу...

Потом он вытянул губы дудкой, задрал брови повыше, словно собирался отмотать какую-нибудь шуточку, повернулся и на цыпочках, но решительно направился в бывшую детскую.

Лидочка мирно спала. Мигающий фонарь за окном выхватывал из темноты контуры ее тела, закутанного в простыню, бледное, без кровинки лицо с поджатыми губами. Лицо это было сейчас таким непривлекательным и даже страшноватым, что Малянов, казалось, оставил свои решительные намерения и остановился на полдороге, неспособный решить, так ли уж ему нужно то, за чем он сюда приперся.

И вдруг давешний гул прокатился за окном, снова подпрыгнул и повернулся на месте огромный лидочкин чемодан, и фонарь на улице сперва замигал и задержался, словно припадочный, а потом вдруг разгорелся в полную силу.

Всю комнату залило ртутным мертвенно-синим светом, и в этом свете Лидочка вдруг поднялась на постели, села, придерживая на груди простыню, и уставилась на Малянова ясными, широко раскрытыми глазами. Будто и не спала вовсе.

— Трясет... — сказал Малянов, словно оправдываясь. — Кому-то мы очень не нравимся...

— Дмитрий Алексеевич, — сказала Лидочка негромко. — Идите сейчас же спать.

Голос у нее был, что называется, «железный», и опытное ухо Малянова не улавливало в нем ни тени надежды. Само по себе это, может быть, и не остановило бы его, но... Все было не так, как должно быть и бывает обычно в подобных случаях. И резкий беспощадный свет в окно — словно любопытствующий прожектор. И поддрагивающие стены, и шорох штукатурки, осыпающейся где-то от подземных толчков. И женщина в постели... Не женщина сидела там, выпрямившись, прижавшись лопатками к стене, — ведьма это сидела, кутаясь в простыню. Сухая кожа туго обтягивала лицо, и обнажились верхние зубы — то ли в улыбке, то ли в оскале каком-то.

— Так уж прямо и спать... — глупо сказал Малянов, переминаясь с ноги на ногу. — Рано еще спать. Пусть дети спят.

Лидочка молча смотрела на него. Ведьма на допросе.

— Ну что ты в самом деле! — сказал он, слегка приободрясь. — Лидия! Отвратительная мидия!

Лицо ее дрогнуло, она словно бы расслабилась мгновенно.

— Что ты глядишь на меня, как ведьма на допросе? — он шагнул вперед и оказался на краешке кушетки. Женщина снова напряглась и чуть отодвинулась.

— Ну ладно. Ну не буду. Как хочешь. Пойду тогда работать. Сегодня весь день не давали работать. Как с цепи сорвались, честное слово. Сначала — телефонные звонки. Потом этот деятель с замороженным омаром. Потом Вечеровский приперся...

— Потом я, — сказала Лидочка тихо.

— Потом ты, — согласился Малянов.

— А кто это сейчас приходил?

— Сосед.

— Зачем?

— Да так... Ерунда разная. Про тебя расспрашивал, между прочим.

— И что ты ему сказал?

— Сказал: это одна моя знакомая ведьмочка... — промурлыкал Малянов, предпринимая кое-какие разведывательные действия.

— А он?

— А он... всякие глупости спрашивал... про общих знакомых...

— А ты?

Малянов не ответил.

Он проснулся утром от выстрела. Выстрел ахнул у него прямо над ухом, так что он подскочил на тахте и сел озираясь. В комнате все было, как вчера, но из раскрытого окна доносился какой-то галдеж, там рычали двигатели, высокий голос повторял: «Не создавайте

препятствия... Проезжайте... Проезжайте быстрее...» И какой-то смутный галдеж доносился из-за входной двери, с лестничной площадки.

Малянов спрыгнул с тахты и прежде всего высунулся в окно. У подъезда толпился народ, стояли неподвижно и ерзали, пристраиваясь поудобнее, многочисленные автомобили: милицейская ПМГ с мигалкой, «скорые», газик Снегового и еще четыре «Волги» — три пропыленные, жеванные, черные и одна новенькая, ослепительно белая. Половина проезжей части была всем этим перегорожена. Проезжающие машины притормаживали, останавливались, гаишник с жезлом прогонял их прочь, покрикивая высоким голосом. Белая «Волга» вдруг газанула, из выхлопной трубы вылетел клубок светлого дыма, выстрелило оглушительно, и «Волга» заглохла...

Малянов кое-как оделся и выскочил на лестничную площадку.

Здесь, оказывается, тоже было полно народу. Малянов узнал кое-кого из соседей, но были и незнакомые, и все они концентрировались около распахнутой настежь квартиры Снегового. Были там среди прочих майор милиции, сержант милиции, двое в штатском, врач в белом халате и дворничиха...

— Что случилось? — спросил Малянов давешнего старикашку из квартиры снизу.

— Смерть случилась, дорогой мой, — торжественно и печально произнес старикашка. — Смерть, голубчик... Беда-то какая, а?

— Кто?.. С кем?

— Снегового, Арнольда Павловича, знали вы? Из одиннадцатой квартиры...

— Ну?!

— Умер. Все. Ушел из жизни.

— Не... не может быть... — пролепетал Малянов, холодея.

— Увы. Уже и вынесли. Все. Финита ля комедия.

— Да что случилось?

Старикашка приблизил горбатый нос к маляновскому уху и прошептал:

— Застрелился он этой ночью. Вот сюда пулю послал... — он постукал себя по виску. — И ни записки, ничего...

Малянов дико глянул на него и, оскользаясь в домашних шлепанцах, ссыпался по ступенькам. Внизу, в маленьком вестибюле, опять же толклись люди. Здесь был лопоухий мальчишечка-шофер — он силится отворить вторую половинку двери в подъезде. Еще один сержант милиции. Какие-то вовсе бездельные, глазающие люди и два

санитара, держащие на весу носилки с длинным громоздким телом, укрытым простыней...

Пока давались со всех сторон советы, пока ковыряли дверь, пока со скрипом распахивали ее, Малянов стоял столбом, глядя на белое, длинное, мертвое... Он не в силах был ни уйти, ни подойти ближе.

Потом дверь распахнулась, носилки понесли, и только тогда Малянов протолкался к ним я пошел рядом. И вдруг он увидел глаз. Простыня была продрана, и сквозь дыру смотрел на Малянова широко открытый мертвый и потому совсем незнакомый глаз...

Вернувшись домой, Малянов сразу бросился к телефону, набрал номер и долго слушал длинные гудки. Потом пробормотал: «Ну да, у него же лекции с утра...» и положил трубку. Он все еще не мог прийти в себя. Все еще стоял у него перед глазами огромный страшный Снеговой — как он выволакивает из кармана пижамы и засовывает в стол черный тусклый пистолет... И звучал мрачный голос: «Не имею права...» И мертвый глаз сквозь дыру в простыне смотрел на Малянова, словно с того света...

Малянова передернуло. «Жуть-то какая, господи!.. И глупо же, глупо!» Он бормотал эти слова, не замечая собственного бормотания, а сам снова и снова набирал телефон Вечеровского, уже забыв, что тот с утра на лекции. Телефон вел себя странно — то было занято, то шли бесконечные длинные гудки.

Потом он швырнул трубку и помчался к дверям детской. Постучал. Никакого ответа. Потряс дверь. То же самое. Заглянул внутрь. Все очень чисто, все прибрано и... пусто. Ничего и никого. И исчез громоздкий чемодан, занимавший весь передний угол, где игрушки.

В полном остолбенении Малянов прошел по квартире, заглядывая во все углы. Никого и ничего. И все прибрано, вычищено, вылизано — ни пылинки в доме. И только в ванной на бельевой веревочке сиротливо покачивались на сквознячке розовый лифчик и розовые же трусики.

— Нет, отцы, это чушь какая-то, — громко сказал Малянов.

Медленно, шаркая ступнями по полу, он вернулся в свой кабинет, присел было за стол, но тут же сорвался в прихожую, схватил с вешалки пиджак, обшарил карманы, вытащил бумажник, несколько скомканных кредиток, оглядел все это со стыдливым изумлением и сунул обратно.

— Все равно, — сказал он громко. — Тут что-то не то. Что-то тут, отцы мои, не получается...



Он вернулся в кабинет, снова набрал номер Вечеровского, снова оказалось занято. Он бросил трубку, рассеянно взял несколько листочков из папки, пробежал их глазами, нашарил в столе фломастер и старательно вычеркнул из рукописи очередное «легко видеть, что...»

И в этот момент в кухне звякнула ложечка.

Малянов вздрогнул и уронил листки.

В кухне кто-то был. Кто-то двигался там — шаркнули подошвы, снова брякнул металл о стекло, чиркнула спичка... Малянов слез с края стола и осторожно двинулся в направлении кухни.

Там спиною к Малянову стоял теперь низкорослый странный человек. Он колдовал с чайником над газовой плитой и, когда повернулся к Малянову, в одной руке держал заварочный чайник, в другой — распечатанную пачку чая.

Это был огненно-рыжий горбун в душном черном костюме. Сорочка под пиджаком у него была тоже черная, а галстук белый. И лицо — белое, длинное, а борода клином, рыжая и ухоженная.

Малянов только рот раскрыл, чтобы рывкнуть: «Кто вы такой, черт вас поберит совсем!», как горбун быстро заговорил:

— Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Меня зовут Губарь, Захар Захарович Губарь... Нет-нет, меня не Лидия сюда к вам пустила, нет, ее уж не было здесь... Я сам зашел, ибо дверь была настежь... Нет-нет, это вам показалось только, что кухня пуста, я вот тут стоял, видите? А вы заглянули и сразу же ушли. Вот я и решил, покуда вы звоните Филиппу Павловичу, дай-ка я чайку заварю... Но Снеговой, а? Какой кошмар! Тут уж поневоле голова кругом пойдет и всякое начнет мерещиться... Но нельзя, нельзя, Дмитрий Алексеевич! Нельзя! Поддаваться никак нельзя, крепиться надо, держаться... Да вы садитесь, садитесь, я уж у вас тут успел разобраться, где что, к вас обслужу по первому разряду, и себя не забуду, правильно?..

Он говорил быстро, весело, но в то же время как бы и с приличествующей печалью, он отвечал на незадаанные вопросы Малянова и упреждал его инстинктивные действия. И стоило Малянову подумать (с некоторым испугом): «Губарь?.. Это ведь Снеговой что-то там говорил о Губаре...», как горбун уже подхватывал:

— Губарь, Губарь моя фамилия. И Снеговой вас имя обо мне спрашивал, мы с ним были знакомы... познакомились в свое время...

Какая-то неприятно угрожающая интонация прорвалась у горбуна в последней фразе, но он тут же спохватился:

— А вот и чаек! Прошу вас, Дмитрий Алексеевич. Сейчас, сейчас я все вам расскажу, зачем я у вас оказался, и почему, и с какой целью...

Тогда вы сами убедитесь, Дмитрий Алексеевич, насколько все это серьезно и важно...

Малянов молча принял свою любимую чашку — большую цветастую — и отпил из нее. Ему по-прежнему не удавалось вставить ни одного слова, но ответы на большинство своих вопросов он уже получил.

— Знаю, Дмитрий Алексеевич, — продолжал между тем горбун, орудуя чайником, — сам знаю — странно. Все странно. И мое появление тут странно, и мое поведение, и сами слова, коими я ваши вопросы заглушаю. Однако же — терпение. Терпение, Дмитрий Алексеевич, и скоро все разъяснится. Ситуация складывается не совсем обычная, вот почему так странно все и необычно...

В паузах горбун не забывал отхлебнуть чайку. Он и чай даже пил не как все. Редко кто пьет сейчас чай так — из блюдца, поставив его на растопыренные пальцы, с шумом и подсасыванием, через кусочек рафинада.

— Нам с вами надобно разрешить всего лишь одну проблему. Дмитрий Алексеевич, но проблема эта... как бы это выразиться... мучительная проблема, Дмитрий Алексеевич. И для меня мучительная, и в особенности для вас... А для начала позвольте вопросик, всего один: над чем вы сейчас работаете?

Вопрос этот показался Малянову не менее странным и неуместным, чем все прочее. Он представить себе не мог, что, собственно, понадобилось этому удивительному горбуну в его, Малянова, доме. Скорее всего, что-то связанное с исчезновением Лидочки, но, может быть, и не с этим... может быть, с кончиной Снегового... В самом деле, не маляновская же работа привела его сюда!

— Над чем работаю? — повторил Малянов, растерявшись. — Что-то последнее время все интересуются, над чем — я работаю...

— А кто еще? — сейчас же спросил горбун. — Кто еще интересовался?

Он сидел напротив Малянова, далеко отведя в сторону руку с растопыренными пальцами, на которых картинно дымилось блюдце с чаем, и смотрел пристально и недобро, как смотрят на противника, а не просто собеседника.

Впрочем, выражение лица его тут же переменялось на приятное.

— Ну да, ну да! — проворковал он, заговорщически подмигивая. — Снеговой же и спрашивал... Естественно! Что ему оставалось делать? Никак он не мог поверить, что все это — никак не случайное совпадение...

— Что «не случайное совпадение»? — спросил Малянов резко. — О чем это вы все время говорите?

Торжество и неприязнь почудились ему в голосе горбуна, и он вдруг почувствовал приступ страха. Пусть пока еще необоснованного. Инстинктивного. И как всегда в такие минуты, голос его слегка сел и захотелось откашляться. Он откашлялся.

— Да все — не случайное совпадение, — небрежно сказал горбун, вновь принимаясь отхлебывать и причмокивать. — Неужели же и вы, Дмитрий Алексеевич, ученый, интеллигент, неужели и вы считаете, что все это случайные совпадения? И что вам директорство предложили, филиал... в прошлом году и кандидатуру вашу обсуждать не стали, а в этом — бац! — без всякого обсуждения взяли и предложили? И что телефонные звонки вам жить не дают? И омаров вам на дом поставляют... и женщин... Причем очень недурных женщин, согласитесь!..

Страшная и отвратительная мысль поразила Малянова, но горбун снова не дал ему раскрыть рта.

— Нет, нет и нет! — очень громко и очень напористо вскричал он. — Ни в коем случае! И думать не можете, Дмитрий Алексеевич! Вы же и сами должны понимать, что это смехотворно. Ну какой же я агент иностранной разведки? Ну сами же посудите: агент должен быть человек тихий, скромный, малоприметный... А я? Да на меня же любая лошадь на улице оборачивается! Каждый, можно сказать, верблюду! Нет, нет и нет!.. Да вы ведь и тайн-то никаких не знаете. Может быть, вы думаете, что нам неизвестно, над чем вы сейчас работаете? Да прекрасно известно! Вы же в прошлом году на семинаре сообщение делали, а в феврале догадались, что надо преобразования Гартвига применить, вот у вас дело сразу и сдвинулось с мертвой точки, пошло как по маслу... Я ведь вам вопрос о работе только потому задал, что проблема у нас с вами, повторяю, мучительная... Ее не то, что решить — даже и подойти-то к ней трудно. Надо же было мне как-то завязывать разговор, вот я и начал с вашей работы — для плавности, так сказать...

— Ну вот что... — начал было Малянов и даже поднялся почти, упираясь кулаками в столешницу, но горбун вдруг сказал ему: «Сядьте!» — да так жестко, что Малянов сразу же сел.

— Давайте без истерик! — продолжал горбун все так же жестко и без всякого уже ерничества в голосе. — Никакой измены Родине от вас не потребуется. Выкиньте этот бред из головы. Речь будет идти только о вас и о вашей работе. Больше ни о чем. Никаких государственных и военных тайн, никаких подписок, ничего подобного. Все дело в вашей работе, точнее, в вашей последней статье, еще точнее — в вашей теореме о макроскопической устойчивости. Нам это мешает, и мы самым убедительным образом просим вас дальнейшие размышления в этом

направлении прекратить. Самым убедительнейшим образом, Дмитрий Алексеевич! — он постучал ногтем указательного пальца по крышке стола для вящей убедительности, что ли, и продолжал все так же жестко, словно гвозди вонзал: — К сожалению, скрытыми средствами отвлечения вас остановить не удалось. Администратором вы стать не пожелали, даже крупным. Обыкновенные житейские помехи на вас не действуют. Женщина вас по-настоящему ни отвлечь, ни увлечь не в состоянии. Даже смерть Снегового... — горбун резко и словно бы с отвращением отодвинул от себя блюдце с недопитым чаем. — Даже смерть Снегового, к сожалению... — он снова не закончил фразы. — Впрочем, об этом у вас еще будет время подумать... Сейчас вы должны ясно понять следующее. Ваша работа нам мешает. Следовательно, она вредна. Следовательно, ее надлежит прекратить. Следовательно, она и будет прекращена. Настоятельно советую вам проявить благоразумие, Дмитрий Алексеевич!

Малянов слушал все это, холодея. Неправдоподобность и даже иррациональность происходящего возбудила в нем животный страх, какой у нормального добропорядочного человека бывает разве что в тяжелом душном кошмаре. И, как в кошмаре, он испытывал дурное оцепенение, язык не слушался его и руки-ноги тоже.

А горбун — опять же ни с того ни с сего, словно его переключили на другую программу, — вдруг засуетился, замельтешил почти угодливо.

— А как насчет еще чайку? А? Свеженького? Понятно! Айн момент! — и он мигом принялся за дело, вновь и вновь опережая Малянова в вопросах и движениях. — Кто такие «мы», чтобы требовать от вас чего-то, советовать, угрожать и так далее? Какое мы на то имеем право и откуда у нас на это власть? Резонно, резонно, но вы уж поверьте мне, Дмитрий Алексеевич, есть у нас и такое право, и такая власть... Ах, почему не живем мы с вами в благословенном девятнадцатом веке! Представился бы я вам генералом какого-нибудь таинственного ордена или жрецом Союза Девяти... Слыхали про Союз Девяти? Он учрежден был в незапамятные времена легендарным индийским царем Ашокою и существует до сих пор. Чудесно, тайно, авторитетно... Девять почти бессмертных старцев пристально следят за развитием науки на Земле, следят, чтобы слепая жажда познания не привела людей к преждевременной кончине человечества. Вы же знаете, какие бывают ученые: все ему трын-трава, лишь бы узнать, возможна какая-нибудь там цепная реакция или нет. Потом он узнает, конечно, что реакция, да, возможна, но уже поздно! Вот Союз Девяти и следит за порядком в этой области. Если кто-то вырвется слишком

далеко вперед, опасно вырвется, не вовремя, вот тут-то и принимаются надлежащие меры! А иначе нельзя, Дмитрий Алексеевич. Никак нельзя! Знаете, что было бы, если бы Эйнштейну удалось построить единую теорию поля? Ведь там, в этой теории, есть такие нюансики... Бац! — и тишина. Надолго!

— Так вы что, жрец Союза Девяти? — спросил Малянов, с усмешкой принимая новую чашку чая.

Горбун замер в неудобной позе. Глаза его торопливо забегали по Малянову, лицо неприятно перекосилось, словно он забыл контролировать свою мимику.

— Не похоже, верно? — проговорил он наконец. — Чушь какая-то получается... Но ведь мы же с вами не в благословенном девятнадцатом. У нас на дворе — конец двадцатого. Электричество вот, газ, на мысу атомный опреснитель строят... Какие уж тут могут быть жрецы?

— Что вам от меня надо, вот чего я никак не могу понять, — сказал Малянов почти благодушно. — Если вы жулик, то...

— Стоп-стоп-стоп! — запротестовал горбун. — Мне от вас вот что надо: а — чтобы вы поняли свое положение, и бэ — чтобы при этом не свихнулись, не принялись бы драться или — упаси бог! — палить себе в висок из казенного пистолета... Понимаете? Чтобы вы все осознали, повели бы себя правильно, и чтобы все было тихо-мирно, по-семейному. Вот что мне надо. Я вам специально передышку даю, психологическую, когда рассказываю про Союз Девяти. Бог с ним, с союзом этим, не до него нам сейчас...

— Ну а если я сейчас сюда милицию вызову? Приедет ПМГ...

— Да бросьте вы, в самом деле, милицией пугать, Дмитрий Алексеевич! Что это, в самом деле, за манера: чуть что — сразу милиция, ПМГ... Вы лучше судьбу Глухова вспомните!

— Какого Глухова?

— Да Владлен Семеныча.

— Не знаю я никакой судьбы Глухова...

— Ну тогда Снегового вспомните, Арнольд Палыча. Вспомните ваш с ним последний разговор... вспомните, какой он был, наш Арнольд Палыч... Между прочим, очень, очень твердый человек оказался. Иногда просто вредно быть таким твердым, честное слово... И куда он только ни обращался — и в милицию, и по начальству... Да только кто же ему поверит, посудите сами?

Тогда Малянов вытянул губы дудкой, поднялся с демонстративной неторопливостью и, повернувшись спиной, направился к телефону. Горбун продолжал говорить ему вслед, все повышая голос и все быстрее выстреливая слова:

— ...Вот и осталось ему одно, бедолаге, — пулю в висок. А куда деваться? Куда? Показания его — бред. А, так сказать, обвиняемый, то есть лично я, сегодня здесь, а завтра...

Он вдруг замолчал, словно его выключили. Малянов обернулся. Кухня была пуста. На столе оставался обсосанный кусочек сахара, блюдце с чаем, чашка... И все. И тишина. Особенная, тяжелая, ватная тишина, какая бывает в болезненном бреде.

И вдруг свет в кухне померк, будто облако закрыло солнце. Но небо за окном было по-прежнему чистое, знойное, белесое. И, однако, что-то там тоже было не в порядке: там, на улице, пронесся вдруг желтый пыльный вихрь, хлопнуло где-то окно, стекла зазвенели, разлетаясь и раздались какие-то крики — не то отчаянные, не то радостные. И вдруг завыла собака. И другая. И еще...

Малянов, лунатически переступая, вышел на балкон, огляделся (никого на балконе, разумеется, не было), поднял глаза к небу.

Начиналось затмение.

Некоторое время Малянов следил равнодушно, как черный диск наползает на солнце, как бегают и прыгают ребятишки на улице, размахивая закопченными стеклами, как мечутся собаки..., потом вернулся на кухню, налил в стакан воды из-под крана, жадно выпил, залил себе грудь и живот. Резко повернулся: горбун сидел на прежнем месте, улыбался — почему-то грустно — и наливал чай из чашки в блюдце.

— Сегодня я здесь, а завтра... А завтра меня здесь нет, — проговорил он. — И никакая милиция меня не найдет. Так что давайте уж лучше без милиции, Дмитрий Алексеевич...

— Кто вы? — хрипло спросил Малянов.

— Меня зовут Губарь Захар Захарович, — с готовностью представился горбун еще раз. — Но я понимаю, вы не об этом меня спрашиваете... Кто мы? Это трудный вопрос, вот в чем дело. Давайте не будем его обсуждать. Поверьте, это совершенно неважно, кто мы. Важно, что мы — сила, неодолимая сила, или, как говорят на флоте, форсмажорная сила. Преодолеть нас вы не сможете, вот что важно. Вы либо подчинитесь, либо погибнете — вот и весь ваш выбор, вот это, Дмитрий Алексеевич, вам действительно важно понять. А кто мы? В девятнадцатом веке мы назвали бы себя Союзом Девяти, в средние века я был бы Мефистофелем, а нынче... Ну, разумеется, вы считаете меня ловким иллюзионистом, гипнотизером, хотя и сами в это не верите... Нет-нет, я не умею читать мысли, успокойтесь, я только умею их вычислять... Поймите, я не жулик и не шпион, я не гипнотизер и не фокусник...

— Пришелец с другой планеты... — хрипло сказал Малянов и откашлялся.

Горбун вскинул на него глаза — веселые, с сумасшедшинкой.

— Вы это сказали!

— Чушь, вздор...

— Не такая уж и чушь, голубчик! Не такой уж и вздор! Пришелец с другой планеты, представитель сверхмощной внеземной цивилизации — это такая же информационная реальность двадцатого века, как Мефистофель пятнадцатого или какие-нибудь туги-душители девятнадцатого... Не отмахивайтесь с пренебрежением! Подумайте! Ведь вам же легче станет, проще, понятнее... Сопоставьте факты. Ваша работа обещает в далеком будущем могучий рывок для всей земной цивилизации. А нашей цивилизации совсем не нужен соперник в Галактике, зачем нам соперник? И поэтому мы этот рывок уничтожаем самым безболезненным способом, еще в зародыше — работу вашу останавливаем и прекр...

— Убирайтесь, — сказал Малянов негромко. — Убирайтесь вон!

— Дмитрий Алексеевич! Подумайте хорошенько.

— Пошел вон, сволочь! Работу тебе мою? Вот тебе — мою работу! — Малянов привстал на стуле и сделал малопрстойный жест. — Я ее вам не отдам. Я ее доведу до конца. Понял? Она моя. Я эту идею двенадцать лет вынашиваю, она меня измучила. Пошел вон отсюда! Ничего не получишь, пришелец ты или жулик... Мне все равно... Работу ему мою!..

Он замолчал и принялся гулко глотать остывший чай. Молчал и горбун. А в кухне становилось все темнее, я выли за окном собаки.

Потом зазвонили в дверь. Малянов поднялся было, но приостановился и поглядел на горбуна. Тот покивал.

— Давайте-давайте. Это к вам.

Малянов все смотрел на него. В дверь позвонили снова.

— Открывайте-открывайте, — сказал горбун. — Не мытьем так катаньем, Дмитрий Алексеевич. У нас, знаете ли, тоже выхода нет. Приходится пользоваться самыми разными средствами...

Тогда Малянов осторожно снял с гвоздя шипастый тяжелый молоток для отбивания мяса, демонстративно взвесил его в руке и неспешно двинулся через прихожую к входной двери.

За порогом, на площадке, стоял мальчик лет семи. На мальчике были трогательные короткие штанишки с двумя ляпочками через плечи и с поперечной ляпочкой на груди — так одевали обеспеченных мальчиков в тридцатые — сороковые годы, и вообще он

производил впечатление ребенка из тех времен, а короткая стрижка с челочкой еще и усиливала это впечатление.

Больше на лестничной площадке никого не было. Мальчик стоял один — хмурый, насупленный, руки за спиной.

— Тебе кого надо? — спросил Малянов, не зная, куда теперь девать шипастый молоток.

— Я к тебе, — ясным голосом ответил мальчик. — Я теперь буду у тебя жить.

— Что еще за глупости, — сказал Малянов сурово. — Кто это тебя, интересно, подучил?

— Ай! — вскрикнул вдруг мальчик, отступая на шаг и заслоняясь ладонями и локтями. Он глядел мимо Малянова, за спину ему, в коридор, и Малянов сейчас же обернулся, заранее отводя молоток для удара.

Но в коридоре никого не оказалось, а мальчишка, довольно гадко хихикнул, прошмыгнул мимо Малянова и по-хозяйски пошел по квартире, отворяя все двери и заглядывая во все комнаты. Ошеломленный Малянов следовал за ним как привязанный.

— Это детская, ясно... — говорил мальчик, подшмыгивая носом. — Твоего Петьки комната? Ничего себе комнатка — светлая, квадратная... Ага. Это у тебя санузел. А почему ванна грязная? Ванну надо мыть — и до, и после... И полотенца небось месяц не стираны... Кухня. Ясненько... — в кухне мальчик чуть задержался, искоса поглядел на стол (пустое блюдце, обсосанный кусочек сахара, чашка, а горбуна, разумеется, и в помине нет), но ничего не сказал, проследовал на балкон. — Здесь что? Ага, здесь затмение... Хорошо. И балкон у тебя хороший, только бутылки надо вовремя сдавать... — он вернулся в кухню и снова задержался у стола. — А этот... Ушел, что ли? Давно?

Малянов обрел наконец дар речи:

— Послушай-ка, — сказал он. — Кто тебя подослал?

— А в общем-то, ушел — и слава богу, — сказал мальчик, не обращая внимания на вопрос. — Главное, что его тут нет. И воздух чище. Ты знаешь, ты с ним лучше не связывайся. Ты вообще с ними не связывайся...

— С кем?!

— Тебе-то, может, и ничего не будет, а вот меня они не пожалеют...

Тут Малянов поймал его за плечи и, усевшись, поставил у себя между колен.

— А ну, давай рассказывай все, что знаешь!

Но мальчик вывернулся. Он не хотел стоять (по-сыновьи) между маляновских колен.

— А я еще меньше твоего знаю, — сказал он небрежно. — Да тут и знать-то нечего. Сказано тебе: прекрати, вот и прекращай. А то грамотные все очень стали, рассуждают все: что да как... А тут, знаешь, рассуждать нечего. Тут — закон джунглей. Или ты ложись на спинку и лапки кверху, или... это... не жалуйся.

Малянов поднялся.

— Пойдешь со мной, — объявил он.

— Куда это?

— Пошли, — сказал Малянов, беря мальчика за плечо.

Мальчик послушно позволил вывести себя в прихожую, подождал, пока Малянов отворит наружную дверь, и тут вдруг словно взорвался.

Он мигом вскарабкался по Малянову, как кот по столбу, и принялся лупить его коленками, кулаками, локтями, драл его ногтями и все норовил прихватить зубами щеку или ухо. При этом он орал. Он ужасно орал, выл и верещал, как истязуемый:

— Ой, дяденька, не надо! Ой, больно! Ой, я больше не буду! Дяденька! Не надо! Это не я! Это не я! Не бей меня, я больше не буду!..

Малянов шарахнулся, пытаясь отодрать от себя этого маленького дьявола, но тщетно. Мальчишка дрался и орал как оглашенный, а по всей лестнице уже захлопали двери, зашаркали шаги.

— Что там такое?.. — раздавались голоса. — Что случилось? У кого это? Кажется, ребенок...

Малянов ввалился обратно в квартиру, и мальчишка тут же очень ловко ногой захлопнул входную дверь. Потом он отпустил Малянова, легко соскользнул на пол, шмыгнул носом.

— Вот так-то лучше, — сказал он как ни в чем не бывало. — А то выдумал — милицию в это дело впутывать. Это же дело деликатное, неужели до сих пор не ясно? Посадят тебя в психушку — и все дела. Не балуй, дядя!

И он, не спеша, руки в карманы, проследовал в маляновский кабинет. Огляделся там. Подошел к столу, вскарабкался в маляновское рабочее кресло, небрежно перебрал несколько листов.

— Все истину ищешь... — пробормотал он осуждающе. — Гармонию!.. Не подпирай стенку, сядь. Придется мне вогнать тебе ума в задние ворота... Это кто? — он выкопал из бумаг фотографию мальчика под стеклом на подставочке. — А, Петька... Сын, стало быть. Вот ты гармонию ищешь, — обратился он к Малянову проникновенно, — а понимаешь ли ты, что вот сына твоего не тронут, это, видите ли, дешевый прием, запрещенный, видите ли... Тебя самого, скорее всего,

тоже не станут уничтожать, хотя это вопрос более сложный... А вот со мной церемониться не будут!

— Почему? — спросил очень маленький и очень тихий Малянов, сидящий на краешке тахты у двери.

— А чего со мной церемониться? Кто я такой, чтобы со мной церемониться? Нет, со мной церемониться не будут, не надейся! Ты будешь искать здесь вечную гармонию, весь такой погруженный в мир познания, а меня тем временем... — он не закончил, сполз с кресла и пошел наискосок через комнату к книжным полкам. — А меня тем временем за это, то есть за искания твои, истины... Вот! — он перелистнул том Достоевского: — «Да не стоит она (то есть твоя гармония, дяденька) слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка!» Помнишь, откуда? «Братья Карамазовы». Это Иван говорит Алеше. «И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены». Вот сказал так сказал! На сто лет вперед сказал! А может, и на двести? Ведь слова-то никогда и ничего не решали... — он захлопнул книгу и вдруг попросил: — Кушать хочу! Кушинькать!..

Он сидел на кухне на толстом справочнике, подложенном под него на табуретку, уплетал ложкой яичницу из сковородки и продолжал уговаривать Малянова:

— А ты брось, в самом деле. Брось, и все. Не ты первый, не ты последний... Главное, было бы из-за чего спорить! Я ведь посмотрел, что там у тебя, — закорючки какие-то, циферки, ну кому это надо, сам посуди! Кому от них легче станет, чья слеза высохнет, чья улыбка расцветет?..

— Нет, старик, ты не понимаешь... — проникновенно втолковывал в ответ Малянов. Он основательно хватил из фигурной бутылки с ликером, и настроение его теперь менялось в очень широком диапазоне. — Во-первых, глупости, что это никому не надо. Тогда и Галилеевы упражнения с маятниками, они тоже никому были не нужны? Или там про вращение Земли — кому какое дело, вертится она или не вертится? Да и не в этом же дело! Не могу! Не могу я это бросить, паря! Это же моя жизнь, без этого я ничто... Ну откажусь я, ну забуду — и чем же я тогда стану заниматься? Жить для чего? И вообще — что делать? Марки собирать? Подчиненных на ковре распекать? Ты способен понять, какая это тоска, вундеркинд ты с ляпочкамн? И потом — никакая сволочь не имеет права вмешиваться в мою работу!..

— Галилей ты задрипаный! — убеждал мальчик. — Ну что ты строишь из себя Джордано Бруно? Не тебе же гореть на костре — мне! Как ты после этого жить будешь со своими макроскопическими неустойчивостями? Ты об этом подумал? Без работы он, видите ли, жить не сможет...

— Да вранье все это. Запугали они тебя, паря! Ты мне только скажи, кто они такие...

— Дурак! Ой, дурак какой!

— Не смей взрослого называть...

— Да поди ты! Сейчас не до церемоний! Вот подожди... — мальчик снова раскрыл том Достоевского и прочитал с выражением: — «Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, вот того самого ребеночка... м-м-м... и на его слезках основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях...» А? Согласился бы?

Малянов слушал его, полуоткрыв рот. Мальчишка читал плохо, по-детски, но смысловые ударения ставил правильно. Он понимал все, что читает. И когда мальчик кончил, Малянов замотал щеками, словно силясь прийти в себя, и пробормотал:

— Бред, бред... Ну и ну!

— Ты не нунукай! — наступал мальчик. — Ты отвечай, согласился бы или нет?

— Как тебя зовут, странное дитя?

— Не отвлекайся! Да или нет?

— Ну нет! Нет, нет, конечно.

— О! Все говорят нет, а посмотри, что кругом творится! Крохотные созданища мрут, как подопытные мухи, как дрозофилы какие-нибудь, а вокруг все твердят: нет! ни в коем случае! дети — цветы жизни!.. — он вдруг широко зевнул. — Спатинышки хочу. А ты думай. И не будь равнодушным ослом. Я ведь знаю, ты детей любишь. А начнешь себя убеждать да накачивать: дело прежде всего! потомки нас не простят!.. Ты же понимаешь, что ты не Галилей. В историю тебя все равно не включат. Ты — человек средненький. Просто повезло тебе с этими полостями устойчивости — додумался раньше прочих... Но ведь ты человек вполне честный? Зачем тебе совесть-то марать, ради чего?.. — он снова зевнул. — Ой, спатинышки хочу. Спатки!

Он протянул к Малянову руки, вскарабкался ему на колени и положил голову на грудь. Глаза у него тут же закрылись, а рот приоткрылся. Он уже спал.

Некоторое время Малянов тихо сидел, держа его на руках. Он и в самом деле любил детишек и ужасно скучал по сыну. Потом все-таки поднялся, осторожно уложил мальчика на тахту в кабинете, а сам взялся за телефон.

— Вечеровский? Фил, я зайду к тебе. Можно?

— Когда? — спросил Вечеровский, помолчав.

— Немедленно.

— Я не один.

— Женщина?

— Нет... один знакомый.

У Малянова вдруг широко раскрылись глаза.

— Горбун? — спросил он, понизив голос. — Рыжий?

Вечеровский хмыкнул.

— Да нет. Он скорее лысый, чем рыжий. Это Глухов. Ты его знаешь.

— Ах, Глухов? Прелестно! Не отпускай его! Пусть-ка он нам кое-что расскажет. Я иду! Не отпускай его. Жди.

Малянов подкатил на своем старинном велосипеде к высокому антисейсмическому дому, окруженному зеленым палисадником, соскочил у подъезда и принялся привычным движением заводить велосипед в щель между стеной и роскошной белой «тридцать второй» «Волгой» (с белыми «мишленовскими» шинами на магниевых литых дисках).

Пока он этим занимался, дверь подъезда растворилась и из дома вышел давешний лопухий шофер, который возил только вчера Снегового. Выйдя, он оглянулся по сторонам как бы небрежно, но небрежность эта была явно показной. Шофер чувствовал себя не в своей тарелке к сильно вздрогнул, даже как-то дернулся, словно собирался броситься наутек, когда из-за угла вывернула и протарахтела мимо какая-то безобидная малолитражка. Малянова и появление шофера, и поведение его несколько удивили, но ему было не до того, и когда шофер, торопливо усевшись в кабину своего газика, уехал, Малянов тут же забыл о нем.

Он вошел в подъезд и нажал кнопку квартиры 22.

— Да? — отозвался хриловатый радиоголос.

— Это я, — сказал Малянов, и дверь перед ним распахнулась.

Он медленно пошел по лестнице на четвертый этаж. Он ступал тяжело, тяжело сопел, и лицо его стало тяжелым и мрачным. Лестница была пуста и чиста — до блеска, до невозможности. Сверкали хромированные перила, сверкали ряды металлических заклепок на обитых коричневой кожей дверях — Вечеровский жил в каком-то образцово-показательном доме, где все было «по классу „А“».

У Вечеровского и квартира образцово-показательная, где все было «по классу „А“». Изящная люстра мелкого хрусталя, строгая финская стенка, блеклый вьетнамский ковер, несомненно, ручной работы, круглый подсвеченный аквариум с величественно неподвижными скаляриями, ультрасовременная Хай-фай-аппаратура, тугие пачки пластинок, блоки компакт-кассет... В углу гостиной — черный журнальный столик, в центре его — деревянная чаша с множеством курительных трубок самой разной величины и формы.

Хозяин в безукоризненном замшевом домашнем костюме (белая сорочка с галстуком! дома!!!) помещался в глубоком ушастом кресле. В зубах — хорошо уравновешенный «бриар», в руках — блюдечко и чашечка с дымящимся кофе. Все дьявольски элегантно. Антикварный кофейник на лакированном подносе. И по чашечке кофе (чашечки — тончайшего фарфора) — перед каждым из гостей.

По левую руку от Вечеровского прилепился в роскошном кресле Глухов, совсем не роскошный маленький человечек, лысоватый, очкастенький, в рубашечке-безрукавочке, в подтяжках, с брюшком. Бледные волосатые ручки сложены и засунуты между колен. Все внимание направлено на Малянова.

Малянов — особенно крупный, потный и взлохмаченный сейчас, среди всей этой невообразимой элегантности, — закончил свой рассказ словами:

— ...Я лично считаю, что все это — ловкое жульничество. Но не понимаю, зачем и кому это нужно. Потому что на самом деле... на самом деле! Ну что с меня взять? Ну кандидат, ну старший научный сотрудник... Ну и что? Сто рублей на сберкнижке, восемьсот рублей долгу...

Он энергически пожал плечами и, помотав щеками, откинулся в кресле. При этом задел ногой столик, чашечка его подпрыгнула в блюдце и опрокинулась.

— Пардон... — проворчал Малянов рассеянно.

— Еще кофе? — сейчас же осведомился Вечеровский.

— Нет. А впрочем, налей...

Вечеровский принялся осторожно, словно божественную амброзию, разливать кофе по чашечкам, а Глухов глубоко вздохнул и забормотал как бы про себя:

— Да-да-да... Удивительно, удивительно... И ведь в самом деле, не пожалуешься, не обратишься... никто не поверит. Да и как тут поверить?

— Ты полагаешь, — сказал Вечеровский Малянову, — что твоя работа действительно тянет на Нобелевскую премию?

— А черт его знает, на самом деле. Как я могу судить? Что я тебе — Нобелевский комитет? Классная работа. Экстра-класс. Люкс. Это я гарантирую. Но мне же ее еще надо докончить! Они ведь мне ее докончить не дают!..

— Да-да-да... — снова заторопился Глухов. — Да! Но ведь с другой стороны... Вы только вдумайтесь, друзья мои, представьте это себе отчетливо... Дмитрий Алексеевич! Кофе какой — прелесть! Сигаретка, дымок голубоватый, вечер за окном — прозрачность, зелень, небо... Ах, Дмитрий Алексеевич, ну что вам эти макроскопические неустойчивости, все эти диффузные газы, сингулярности... Неужели это настолько уж важно, что из-за этого следует... Ну, вот, например, возьмем звезды. Право же, есть что-то в этой вашей астрономии... что-то такое... непристойное, что ли, подглядывание какое-то... А зачем?? Звезды ведь не для того, чтобы подглядывать за ними, за их жизнью... Звезды ведь для того, чтобы ими любоваться, согласитесь...

Он не спорил, не настаивал, этот маленький тихий Глухов, он, скорее уж, уговаривал, просил, умолял даже каждой черточкой своего невыразительного серого личика. Но на Малянова эта его речь подействовала почему-то раздражающе, и он, не думая, брякнул:

— А ведь он и вас упоминал, Владлен Семенович!

— Кто?

— Горбун. Рыжий этот, бандит-пришелец.

— Меня?

— Вот именно, вас. «Вспомните, — говорит, — что случилось с Глуховым!..» — тут Малянов осекся, потому что Глухов побелел, даже позеленел как-то и совсем задвинулся в глубину огромного кресла. Никогда еще Малянов не видел до такой степени испуганного человека.

— А что со мной случилось? — пробормотал Глухов затравленно. — Со мной все в порядке. Ничего со мной не случилось... и не случилось...

Вечеровский, не глядя, протянул руку вправо, извлек из скрытого холодильника сифон и высокий стакан. Зашипела струя, стакан очутился перед Глуховым, но тот пить не стал, даже в руки его не взял и посмотрел на него, как будто это отравка какая-то. Он только облизнул сухие губы сухим языком и еще глубже засунул слабые свои лапки между колен.

— Это все вздор... Это вздор какой-то, Алексей Дмитр... Дмитрий Алексеевич, — шелестел он. — Вы не верьте. Как можно верить?.. Явные жулики...

Малянов смотрел на него пристально.

— Если это жулики, надо их вывести на чистую воду, так? — спросил он свирепо.

— Конечно, конечно. Но как?

— Для начала каждый должен рассказать все, что знает про них.

— Безусловно, разумеется... — Глухов снова облизнулся. — Но ведь я... Вы, кажется, решили, будто я что-то знаю про них. Но ведь я ничего не знаю, уверяю вас.

— Ничего?

— Право же, ничего... Тут какая-то ошибка...

— Так-таки и ничего? — продолжал наседать Малянов, значительно прищуриваясь.

— Ни-че-го! — неожиданно твердо отчеканил Глухов. словно точку поставил на этой теме.

Глухов выпростал руки из колен, проглотил свой кофе и сейчас же запил водой из стакана. На лице его вновь обозначился румянец. Он улыбнулся и, неумело изображая развязность, вольготно расположился в кресле, засунув большие пальцы рук под подтяжки.

Малянов ел его глазами, но Глухова все эти взгляды вроде бы и не волновали вовсе — он, казалось, совершенно оправился от своего неодолимого страха и держал теперь себя как ни в чем не бывало.

— Но сами-то вы верите, что это жулики? — спросил наконец Малянов.

— А представления не имею, — ответил Глухов все с той же судорожной развязностью. — Откуда же мне это знать, посудите сами, Дмитрий Алексеевич?

— Ну а все-таки?..

— Отстань от человека, — негромко сказал Вечеровский. — Ты прекрасно понимаешь, что это не жулики.

— То есть? Откуда это следует?

— Если бы ты считал их обыкновенными жуликами, ты бы уже был в милиции, а не здесь.

— Как это, интересно, я попрусь в милицию? А факты?

— Вот именно, — сказал Вечеровский. — Факты. Факты, дорогой мой! Так что не тешь себя иллюзиями, это не жулики. Какое дело жуликам до твоих полостей устойчивости?

— А какое до них дело инопланетным пришельцам?

— Тебе же объяснили, какое. И объяснили весьма логично. Твоя работа в перспективе выводит человечество в ряды сверхцивилизаций, делает нас их соперниками во Вселенной. Естественно, они предпочитают расправиться с соперником, пока тот еще в колыбели. Как это сделать? Высаживать десанты? Взрывать арсеналы? Зачем? Надо именно так: тихо, бесшумно, почти безболезненно скальпелем по самому ценному, что есть у человечества, — по перспективным исследованиям...

— Бог ты мой, Фил! Ты же сам говоришь — это сверхцивилизация, а значит, сверхразум, сверхгуманность, сверхдоброта!..

Вечеровский кривовато усмехнулся.

— Милый мой, откуда тебе знать, как ведет себя сверхдоброта? Не доброта, заметь себе, пожалуйста, а сверхдоброта.

— Все равно, все равно... — Малянов замотал щеками. — Методы... Методы, Фил! Ты пойми, это сверхмощная организация. Он же способен исчезать и появляться мгновенно... это же как волшебство! Если сверхцивилизация, то они, с нашей точки зрения, почти всемогущи. И вдруг такая дешевка — доведение до самоубийства, шантаж, подкуп.

— Что ты знаешь о сверхцивилизациях?

— Нет-нет. Все равно. Нецелесообразно.

— Какова целесообразность моста — с точки зрения рыбы? — провозгласил Вечеровский. — Когда тебе на щеку садится комар, ты бьешь по нему с такой силой, что мог бы уничтожить всех комаров в округе. Это целесообразно?

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но дело даже не в этом. Как ты не чувствуешь несоразмерности? При их всемогуществе. Ну зачем им поднимать весь этот шум? Зачем им нужно, чтобы Малянов бегал по знакомым и жаловался в милицию? Зачем? Ведь куда проще было подсунуть ему тухлого омара — и концы.

— И-ну, значит, они принципиальные противники убийства, — сказал Вечеровский, снова принимаясь разливать кофе. — Сверхгуманность.

— Ага, ага — шантажировать можно, а убивать нельзя. Ну ладно... Можно же и без убийства, в рамках, так сказать, гуманности... Мощно так, например, — садится Малянов работать над своей статьей, и сейчас же у него разбалливается живот, да так, что никакого терпению нет, и уже ни о какой работе говорить невозможно. Отложил работу — все прошло, снова взялся за нее...

Тут Малянов замолчал, потому что заметил, что Вечеровский его не слушает. Вечеровский сидел и нему боком и, крутя в пальцах

драгоценную трубку, пристально глядел на Глухова, а Глухов вдруг забеспокоился, зашевелился, снова съежился в кресле, и глазки его приняли выражение, как у загнанного зверька.

— Что вы на меня смотрите, Филипп Павлович? — жалобно проскрипел он.

— Прошу прощения, — сейчас же отозвался Вечеровский и, отведя глаза, принялся старательно выбивать и вычищать трубку.

— Нет, позвольте! — снова заскрипел Глухов, но теперь уже не жалобно, а скорее даже вызывающе. — Я ваш взгляд понимаю вполне определенным образом... И я раньше замечал такие взгляды... И ваши прежние намеки! Я хотел бы изъясниться сейчас же и окончательно! И пусть Дмитрий Алексеевич присутствует... Посудите сами, Дмитрий Алексеевич, — он повернулся к Малянову. — Будьте судьей. Да, у меня было нечто подобное... Но это аллергия, и не более того. Болезнь века, как говорится...

— Не понимаю, — сказал Малянов сердито.

— Действительно, это было как-то связано с моей работой. Какая-то связь, пожалуй, была... Но ведь не более того. Не более того, Филипп Павлович! Аллергия — и не более того!..

— Я вас не понимаю, Владлен Семенович! — сказал Малянов, оживляясь, ибо кое-что ему стало понятно.

— Все очень просто, — сказал Вечеровский лениво. — Начиная с прошлого марта, стоило Владлену Семеновичу сесть за свою диссертацию, уже почти готовую, между прочим, как его поражала головная боль, причем столь сильная, что он вынужден бывал работу свою прекращать. Это длилось несколько месяцев и кончилось тем, что Владлен Семенович свою диссертацию и вовсе отставил.

— Позвольте, позвольте! — живо вмешался Глухов — Все это так, но я хочу подчеркнуть, что я отставил ее, как вы выражаетесь, только временно и исключительно по совету врачей. И я попросил бы никаких аналогий здесь не проводить. Всякие аналогии здесь совершенно неправомерны.

— Над чем вы работали? — резко спросил Малянов. — Тема?

— «Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа», — с готовностью отбарабанил Глухов.

— Господи, — сказал Малянов. — При чем тут культурное влияние...

— Вот именно! — подхватил Глухов. — Вот именно!

— А тема у вас не закрытая была?

— Ни в какой степени! Совершенно!

— А Губаря, Захара Захаровича, вы не знаете?

— Да в первый раз слышу!

Малянов хотел спросить еще кое о чем, но спохватился: он вдруг понял, что задает Глухову такие же вопросы, какие Снеговой задавал вчера ему, Малянову.

— Вы понимаете, что я не мог не последовать совету врачей, — продолжал между тем Глухов. — Врачи посоветовали, и я отложил пока эту работу. Пока! В конце концов в мире достаточно прелести и без этой моей работы... И потом я, знаете ли, амбиций никаких не имею, да и не имел никогда... Я ученый маленький, а если по большому счету, то и не ученый, собственно, а так, научный сотрудник. Конечно, я люблю свою работу, но с другой стороны... — он поглядел на часы и всполошился: — Ай-яй-яй-яй! Поздно-то как! Я побегу... Я побегу, Филипп Павлович! Извините меня, друзья мои, но сегодня же детектив по телевизору. Ах, друзья мои, друзья мои! Ну много ли человеку надо? Если честно, если без дурацкой простите, романтики? Добротный детектив, стакан правильно заваренного чая в чистом подстаканнике, сигаретка... Право же, Дмитрий Алексеевич, было трудно, очень болезненно было мне выбрать более спокойный путь, но врачи врачами, а если подумать: что выбирать? Ну, конечно же, жизнь надо выбирать. Жизнь! Не абстракции, пусть даже самые красивые, не телескопы же ваши, не пробирки, не затхлые же архивы! Да пусть они подавятся всеми этими телескопами и архивами! Жить надо, любить надо, природу ощущать надо... Именно ощущать, прильнуть к ней, а не ковырять ее ланцетом... Когда я теперь смотрю на дерево, на куст, я чувствую, я ощущаю физически: это мой друг, мы нужны друг другу... Ах, Дмитрий Алексеевич!

Он вдруг махнул рукой и пошел из комнаты, на ходу вдевая руки в рукава серого своего занюханного пиджачка. Он даже не протерся ни с кем. Пронесся по гостиной сквознячок, колыхнул облако табачного дыма над головой Вечеровского, потом ахнула вырвавшаяся, видимо, из рук входная дверь, и все стихло.

— Ну и что ты думаешь? — осведомился Малянов агрессивно.

— О чем?

— Что ты думаешь о своем Глухове? По-моему, его запутали. Или даже купили. Какая гадость!

— Не суди и не судим будешь.

— Ты так ставишь вопрос? — сказал Малянов саркастически.

Вечеровский наклонился вперед, выбрал в чаше новую трубку и принялся медленно, вдумчиво набивать ее.

— Мне кажется, Митя, — сказал он, — ты плохо пока понимаешь свое положение. Ты возбужден, ты слегка напуган, сильно озадачен и

в высшей степени заинтригован. Так вот, тебе надлежит понять, что ничего интересного с тобою не произошло. Тебе предстоит очень неприятный выбор. Неприятный в любом случае, ибо если ты поднимешь руки, то станешь таким, как Глухов, и никогда не простишь себе этого, ты же очень высокого о себе мнения, я тебя знаю. Если же ты решишь бороться, тебе будет так плохо, как бывает только человеку на передовой...

— На передовой люди тоже жили, — сказал Малянов сердито.

— Да. Только, как правило, плохо и недолго.

— Ты что, запугиваешь меня?

— Нет. Я пытаюсь только объяснить тебе, что в твоём положении нет ничего интересного. На тебя действует сила — чудовищная, совершенно несоразмерная и никак не контролируемая...

— Ты все-таки считаешь, что это сверхцивилизация?

— Послушай, дружище, какая тебе разница? Тля под кирпичом, тля под пятаком... Ты — одиночный боец, на которого прет танковая армия.

— Клопа танком не раздавишь, — пробормотал Малянов.

— Верно. Но ты же не согласен быть клопом.

— Хорошо, хорошо, но что ты мне посоветуешь? Я ведь пришел к тебе за советом, черт тебя дери, а не философией заниматься...

— Я тебе могу посоветовать только одно: пойми и осознай, что ничего интересного...

— Это я уже понял!

— По-моему, нет.

— Это я уже понял! — сказал Малянов, повышая голос. — И легче мне от этого не стало. Если это жулики, то я их не боюсь. Пусть они меня боятся. А если это действительно сверхцивилизация, если это действительно вторжение... Во-первых, я не очень-то в это верю... А во-вторых, что ж, мы так и будем сдаваться — один за другим? Мы ляжем на спинку, все по очереди, и будем жалостно махать лапками в воздухе, а они беспрепятственно станут отныне определять, чем нам можно заниматься, а чем нельзя? Нет, отец, этого допускать нельзя, как хочешь...

— Логично, — сказал Вечеровский без всякого, впрочем, одобрения в голосе. — И даже красиво. Только на передовой нет ни логики, ни красоты. Там — грязь, голод, вши, страх, смерть...

Малянов не слушал его. Он глубоко вдруг задумался. Рот приоткрылся, глаза стали бессмысленными. Потом он вдруг улыбнулся.

— Слушай, Фил, — сказал он. — А мощную, наверное, я сделал работу, если целая сверхцивилизация поднялась на нее войной. А?

Дома он снова засел за работу. Он махнул рукой на все, все откинул, все забыл — он работал. Он исписывал формулами листок за листком и швырял черновики прямо на пол. Было уже поздно. Гасли окна в домах напротив. Стало совсем темно. Из открытого окна летели мотыльки, кружились вокруг лампы, падали на бумагу перед Маляновым. Он их досадливо смахивал, но они возвращались на ярко-белое — снова и снова.

Мальчик как с вечера заснул, так и спал беспробудно, обняв во сне мохнатого олимпийского мишку. Малянов прикрыл их обоим шалью. По кушетке разбросаны были книги: том Спинозы, Достоевский, «Популярная медицинская энциклопедия» и какие-то детские, с картинками.

Работалось Малянову очень хорошо, он ни на что не отвлекался, только один раз почудилось ему боковым зрением, что в кресле для гостей сидит, прикрыв лицо ладонью, большой темный человек... Малянов вздрогнул так, что ручка вылетела у него из пальцев и закатилась под бумаги. Еще мгновение он совершенно отчетливо видел человека в кресле и успел понять, что это Снеговой сидит там, упершись локтем в подлокотник, и смотрит одним глазом через расставленные пальцы... Потом страшное видение исчезло — купальный халат лежал в кресле, разбросав пустые рукава. Но Малянов вынужден был встать и пройтись несколько раз по комнате, чтобы успокоиться. Халат он сложил и унес в ванную.

А потом, это было уже часов в одиннадцать, раздался вежливый тихий звонок в дверь, и мальчик сразу сел, словно подброшенный, словно он и не спал вовсе.

— Это за мной! — сказал он с отчаянием.

Малянов с трудом оторвался от своих бумаг.

— Что ты сказал?

— Ты все-таки засел за свою проклятую работу... — продолжал мальчик, отползая по тахте в самый угол — Я все проспал, а ты опять засел за эти проклятые формулы... Я же предупредил тебя... Эх, ты, Галилей задрипанный...

В дверь зазвонили снова.

Малянов, заранее хмурясь, вышел в прихожую и щелкнул замком. На пороге стоял приятной внешности мужчина лет тридцати в потертых джинсах и какой-то курточке, накинутой прямо поверх майки, — по-домашнему. А на ногах у него вместо ботинок были шлепанцы, тоже по-домашнему.

— Прошу извинить, — сказал он, прижимая руку к сердцу. — Но мне сказали, что мой Витька у вас...

— Витька?

— Вы знаете, он у нас парнишка с фантазиями... Уж извините, если он вас утомил, но у него манера появилась: натворит что-нибудь, а потом удерет, спрячется у соседей, навывдумывает там с три короба...

— Прощу, — сказал Малянов сухо.

Он и сам не мог объяснить себе, чем не нравился ему этот вежливый папаня, явно и очевидно угнетенный невоспитанностью и самовольством своего капризного сына. Они вместе вошли в комнату, и папаня прямо с порога залебезил:

— Ну что ж ты, Витька... Что ты, в сам деле, вытворяешь. Ну, пошли домой, пошли... Хватит. Подумаешь, графин раскокал. Будто тебя за это бить будут. Пошли. Мама там плачет, волнуется... Пошли, а?

Мальчик, молча поджав по-взрослому губы, принялся послушно слезать с тахты, а папаня все продолжал говорить, как заведенный:

— Беда мне с ним, беда и беда. Хоть к врачам обращайся. Растет дикий, как камышовый кот. Не признает, ну, ни малейшей строгости... Витя, застегни, пожалуйста, сандалики... свалятся... Вы только представьте себе: ну я — мужик, ладно, но матери-то каково, Дмитрий Андреевич!..

— Алексеевич, — машинально поправил Малянов.

— Разве? А мне сказали: Андреевич.

— Кто сказал?

— Да в вахте какая-то тетка... Ты готов, Витька? Ну пошли... Извините, ради бога, за беспокойство. Ох, дети, дети...

Мальчик взялся за протянутую руку мужчины и только сейчас глянул на Малянова, и взгляд у него был такой странный, что Малянов подобрался и, преодолевая неловкость, проговорил:

— М-м-м... Вы простите, но... Документы ваши... Все-таки чужой ребенок... Разрешите взглянуть...

— Ну конечно, ну ясно! — всполошился мужчина, хлопая себя по карманам курточки и джинсов. — Мы же здесь я живем, в этом же доме, только в четвертом подъезде... Милости прошу, в любой момент... Будем очень рады... Вот, пожалуйста, — он протянул Малянову маленькую аккуратную визитную карточку — Полуянов Александр Платонович, работаю на СНУ-16, главный инженер... так что человек довольно известный... Прощу, так сказать, любить и жаловать. Очень было приятно познакомиться, но в будущем лучше было бы встречаться в более приятной ситуации, правильно? Извините, еще раз, Витька, попрощайся с Дмитрием Андреевичем и скажи «спасибо».

— До свидания, — сказал мальчик без выражения. — Спасибо.

И Малянов остался в прихожей один.

Он вернулся к столу, швырнул вверх бумаг визитную карточку и встал около распахнутого окна так, чтобы видеть свой подъезд. Ртутный фонарь мертво светил сквозь черную листву. Прошла заплетающимся шагом парочка в обнимку и скрылась в палисаднике. Две старухи молчали, сидя рядышком на скамеечке около подъезда. Из дома никто не выходил.

Тогда Малянов перегнулся через стол и снова взял в руки визитку. Только теперь это была не визитка. Это был маленький прямоугольник очень белого картона, чистый с обеих сторон.

И вдруг за окном заплакал, забился в истерике ребенок: «Ой, не надо! Ой, я больше не буду!.. Ой-ей-ей... я не буду больше!» Малянов тотчас высунулся из окна по пояс — на улике никого, только хлопнула где-то в отдалении дверь и сразу же стихли отчаянные детские вопли.

В два огромных прыжка Малянов пересек всю свою квартиру и оказался на лестнице. И там, конечно, было пусто тоже. Только лежал на верхней ступеньке пролета какой-то непонятный желтый предмет. Это была маленькая сандалия. С правой ноги. Малянов поднял ее, повертел в руках, потом медленно вернулся домой, к столу, где лампа ярко освещала исчирканные, разрисованные кривыми листки, по которым ошалело ползали большие черные мотыльки и всякая крылатая зеленая мелочь.

Он собрался быстро.

Все бумаги, лежавшие на столе, все листки, разбросанные по полу, чистовые страницы статьи с еще не вписанными формулами, графики, таблицы, красиво вычерченные для показа по эпидиаскопу, — все это он аккуратно и ловко собрал, подровнял и сложил в белую папку «Для бумаг». Папка раздулась, и он для вящей прочности перетянул ее хозяйственной резинкой. Потом нашарил в ящике стола черный фломастер и неторопливо со вкусом вывел на обложке: «Д. Малянов. Задача о макроскопической устойчивости».

Закончив все дела, он взял папку под мышку, внимательно оглядел комнату, будто рассчитывал обнаружить что-нибудь забытое в щелях, и выключил лампу. Стало темно, только светились насыщенным красным светом цифры на дисплее калькулятора. Тогда он выключил и калькулятор тоже.

Он подъехал к дому Вечеровского на велосипеде, которым управлял одной рукой, правой, — потому что под мышкой левой у него

была зажата толстая белая папка. Медленно, грузно, словно больной, он сполз с седла, прислонил велосипед к стене и поднялся по лестнице к подъезду.

Дверь была распахнута. В проеме, прямо на пороге, сидел какой-то человек. Он поднял навстречу Малянову лицо, и Малянов узнал Глухова. Лицо у Глухова было измученное, перекошенное и вдобавок измазанное не то сажей, не то краской.

— Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич, — проговорил Глухов. — Туда сейчас нельзя.

Он загораживал проход и Малянов молча стоял перед ним и ждал.

— Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции... — Глухов закричал и медленно, в три разделения, поднялся на ноги, держась за поясницу. В руках у него оказалась серая сильно помятая шляпа. Он нацепил ее на лысину и сейчас же снял.

— Понимаете... — проговорил он. — Никак не решусь уйти. Тошно. Капитулировать всегда тошно. В прошлом веке частенько даже стрелялись, только чтобы не капитулировать...

— В нашем — тоже случалось, — сказал Малянов.

— Да, конечно, конечно. Но в нашем веке стреляются главным образом потому, что стыдятся других, а в прошлом стрелялись, потому что стыдились себя. Теперь почему-то считается, что сам с собою человек всегда сумеет договориться... — он похлопал себя шляпой по бедру. — Не знаю, почему это так. Мы все стали как-то проще, циничнее даже, мы стесняемся краснеть и стараемся спрятать слезы... Может быть, мир все-таки стал сложнее за последние сто лет? Может быть, теперь, кроме совести, гордости, чести, существует еще множество других вещей, которые годятся для самоутверждения?..

Он смотрел выжидательно, и Малянов сказал, пожав плечами:

— Не знаю. Может быть. Я не знаю.

— И я тоже не знаю, — сказал Глухов как бы с удивлением. — Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени уже думаю об этом... только об этом... сколько убедительных доводов перебрал... Вот уж и успокоишься будто, и убедишь вроде бы себя, и вдруг заноеет. Конечно, двадцатый век — это не девятнадцатый, разница есть. Но раны остаются ранами. Они заживают, рубцуются, и вроде бы ты уже и забыл о них вовсе, а потом переменится погода, и они заноеют. И всегда так это было, во все века.

— Это вы про совесть говорите, да?

— Про совесть. Про честь. Про гордость.

— Да, — сказал Малянов. — Все это правильно. Только иногда чужие раны больнее.

— Ради бога! — прошептал Глухов, прижимая шляпу к груди обеими руками. — Я бы никогда не осмелился... Как я могу вас отговаривать или советовать вам. Да ни в коем случае!.. Но я все думаю и никак не могу разобраться: почему мы так мучаемся? Ведь совершенно же ясно, ведь каждый же скажет, что поступаем мы правильно... иначе поступить нельзя, глупо поступать иначе... детский сад какой-то, казачи-разбойники... А мы уже давно не дети... Все правильно, все верно... Почему же так мучительно стыдно? Не понимаю! Никак не могу понять.

Тут он вдруг захихикал совершенно неуместно, а потому и мерзко, и принялся махать шляпой кому-то за спиной Малянова. Малянов оглянулся. Там под фонарем, шагах в двадцати от них, стояла женщина — в годах уже полная и почему-то с тростью... или с зонтиком?

— Так что все в порядке! — искусственно бодрым и повышенным голосом провозгласил вдруг Глухов. — Если зуб болит, его беспощадно удаляют. Такова логика жизни. Не так ли, Дмитрий Алексеевич? Ну, желаю вам всяческого...

Он снова захихикал, закивал, заулыбался — ясно было, что делает все это и говорит он исключительно для женщины с тростью, но это было глупо: она стояла слишком далеко, чтобы различать его ужимки. А он снова замахал ей шляпой и ссыпался по лестнице — этак молодо, энергично, по-студенчески — и быстро зашагал к фонарю, все еще продолжая размахивать шляпой. «...Тревоги нашей позади!.. — доносилось до Малянова, — ...солнце снова лето возвестило!.. вот и я!..» Он подошел к женщине, попытался обнять ее за плечи одной рукой, но это у него не получилось — он был слишком мал для такой крупной женщины, тогда он просто взял ее под руку, и они пошли прочь, она сильно прихрамывала и опиралась на трость, а он все размахивал свободной рукой с зажатою в ней шляпой и все говорил, говорил не переставая: «...всяческая суета!.. и совершенно напрасно!.. как я и говорил... ну что ты, маленькая!»

Малянов проводил их взглядом, взял свою папку поудобнее и стал подниматься по лестнице.

Вечеровский открыл ему дверь не сразу. Узнать его было нелегко — Вечеровский словно только что выскочил из пожара. Элегантный домашний костюм изуродован: левый рукав почти оторван, слева же, на животе, большая прожженная дыра. Некогда белоснежная сорочка — в грязных разводах, и все лицо Вечеровского в грязных пятнах, и руки его.

— А! «Заходи», — сказал он хрипловато, повернулся к Малянову спиной и пошел в глубь квартиры.

В гостиной все было разгромлено, словно лопнул здесь только что картуз дымного порока. Копоть чернела на стенах, копоть тоненькими нитями плавала в воздухе... Зияла обугленная дыра посреди ковра... И горы рассыпанных, растрепанных книг... и осколки аквариума, и расплющенные обломки звукоаппаратуры... Все искорежено, искромсано и будто опалено адским огнем.

Они прошли в кабинет, где все было, как и прежде, безукоризненно чисто и элегантно, и Малянов, обернувшись на разгром в гостиной, спросил:

— Что это было?

— Потом, — сказал Вечеровский и откашлялся. — Что у тебя?

Тогда Малянов положил на стол свою папку и проговорил сквозь зубы:

— Вот. Они забрали мальчика. Пусть это пока у тебя полежит.

— Пусть, — спокойно согласился Вечеровский. Он поднял к глазам чумазные руки и весь перекосясь от отвращения. — Нет, так нельзя. Подожди, я должен привести себя в порядок.

Он стремительно вышел, почти выбежал из комнаты, а Малянов, оставшись один, прошел к дверям в гостиную и еще раз, теперь уже очень внимательно, оглядел царивший там разгром.

Когда он вернулся к столу, лицо его было угрюмо, а брови он задрал так высоко, как это только было возможно.

Потом он оглядел стол.

Стол был завален папками. Там была толстая черная папка с наклеенной на обложке белой карточкой: «В. С. Глухов. Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа». Там была еще более толстая, чудовищная зеленая папка с небрежной надписью фломастером: «А. Снеговой. Использование фелдингов». Собственно, там было даже две таких папки... Там была простенькая серая тощая папка некоего Вайнгартена («Ревертаза и пр.») и перетянутая резинкой пачка общих тетрадей (некто У. Лужков «Элементарные рассуждения»), и еще какие-то папки, тетради и даже свернутые в трубку листы ватмана с чертежами.

И там, с краю, лежала белая папка с надписью: «Д. Малянов. Задача о макроскопической устойчивости». Малянов взял ее и, усевшись в кресло, прижал к животу.

Вернулся Вечеровский — свежесмытый, с мокрыми еще волосами, снова весь элегантный и по классу «А»: белые брюки, черная

рубашка с засученными рукавами, белый галстук, на ногах какие-то немислимые мокасины.

— Вот так гораздо лучше, — объявил он. — Кофе?

— Что все это значит? — спросил Малянов, показывая на стол.

— Это значит, — сказал Вечеровский, усмехнувшись, — что каждому хочется верить, будто рукописи не горят.

— Значит, все это вот. — Малянов повел рукой в сторону разгромленной гостиной.

— Не без того, не без того... Итак, кофе?

— Но почему все они притащили это именно тебе?

— А ты? Ты почему?

— Не знаю, — сказал Малянов растерянно. — Я же не знал, что тут у тебя делается... Мне показалось, что... пусть полежат пока у тебя... раз иначе нельзя...

— Вот и им тоже показалось. Всем. В последний раз спрашиваю: кофе?

— Да, — сказал Малянов.

Они пили кофе на кухне, где все сверкало чистотой, все стояло на своих местах и все было только самого высокого качества — на мировом уровне или несколько выше. Папку свою Малянов положил на стол рядом с собою и все время держал ее под локтем.

— Зачем тебе понадобилось связываться с нами? — спрашивал он. — Что за глупая бравада!

— Это не бравада. Это проблема, — Вечеровский отхлебнул кофе из чашечки кузнецовского фарфора и запил ледяной водой из высокого запотевшего стакана. — Посуди сам Снеговой занимался изучением федингов. Это — радиотехника, прикладная физика, в какой-то степени атмосферная физика. Глухов — специалист по новейшей истории, социолог, «Культурное влияние» его — это чистая социология. У тебя — астрофизика и теория гравитации... Я хочу понять, что общего у всех ваших работ? По-видимому, где-то в невообразимой дали времен они сходятся в точку, и точка эта очень важна для нас... для человечества, я имею в виду, — он снова с аппетитом отхлебнул кофе. — Сверхцивилизация, как я понимаю, это сила настолько огромная, что ее вполне можно считать стихией, а все ее проявления — это как бы проявления нового закона природы. Воевать против законов природы — глупо. Капитулировать перед законом природы — стыдно. В конечном счете — тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Именно этим я и намерен заняться.

— Глупо, — сказал Малянов. — Глупо! — сказал он, все более раздражаясь. — Зачем тебе в это ввязываться? Ты же уникальный специалист... Ты же лучший в Европе. Они же просто убьют тебя, и все.

— Не думаю, — сказал Вечеровский. — Промахнутся. Пойми, они слишком огромны, они все время промахиваются...

— Откуда ты все это можешь знать?

— Господи, — сказал Вечеровский. — Откуда я могу это знать? Ты видел мою гостиную? Промах! А в прошлую субботу... Да что там говорить! Они лупят меня уже вторую неделю. За мою собственную работу. За мою. Собственную. А вы все здесь совсем ни при чем, бедные мои барашки, котики-песики... Ну что, Митька, я-таки умею владеть собой, а?

— Пр-ровались ты!.. — сказал Малянов и поднялся. Он был красен и зол.

— Сядь! — сказал Вечеровский, и Малянов сел.

— Налей в кофе коньяк.

Малянов налил.

— Пей. Залпом!

И Малянов осушил чашечку, не почувствовав ни вкуса, ни запаха.

— Ты очень спешишь, — сказал Вечеровский назидательно. — А спешить нам некуда. Предстоит работа... Ты все еще никак не можешь понять, что ничего интересного с нами не произошло. Просто работа. Долгая. Тяжелая. Скорее всего, грязная. Не один год, а может быть, сто лет или тысячу, или миллиард... Опасно? Да, опасно. Заниматься настоящей научной проблемой всегда было опасно. Архимеда зарезали солдаты. Ньютон свихнулся в мистику. Жолио-Кюри умер от лучевой болезни... Научная проблема — это всегда опасно. А тут — настоящая проблема. На всю жизнь.

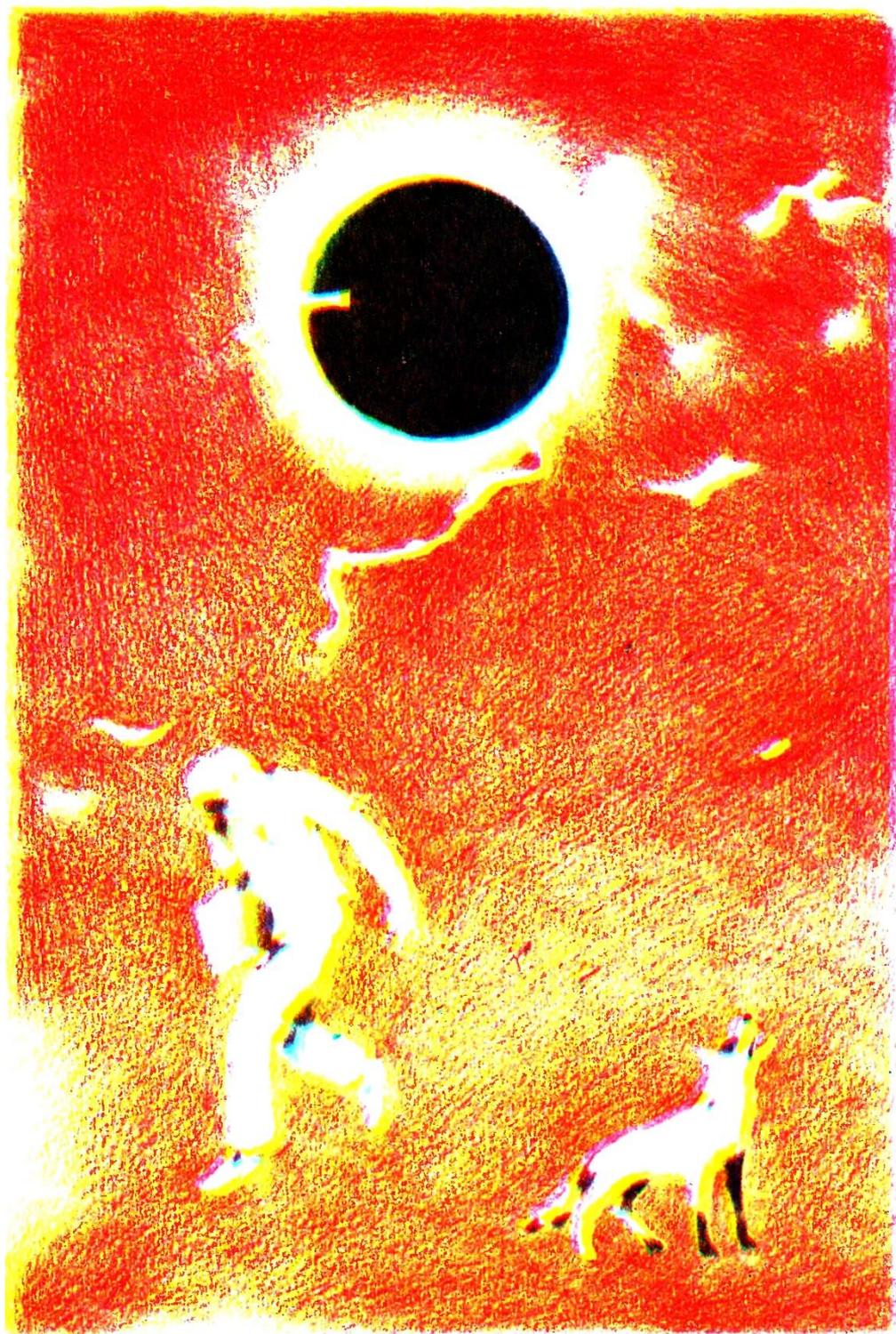
— Идиот! — сказал Малянов. — Гордыня проклятая, сатанинская... Архимед, Ньютон... Проблему себе отыскал. Здесь детей убивают, а он проблему себе выдумал на миллиард лет вперед...

— Я вижу, они тебя основательно запугали, — сказал Вечеровский, покусывая губу.

— А тебя они не запугали? — спросил Малянов злобным шепотом. — У тебя под твоей проклятой лощеной маской, скажешь, не прячется маленький голенький дрожащий человечек?! Когда у тебя в доме бомбу рвали, этот человечек что — не плакал, не рвался под кровать — забиться в угол, закрыть глаза и ни о чем не думать?

Вечеровский молчал, опустив белесые ресницы.

— Вот они меня запугали! — заорал вдруг Малянов, крутя у него перед носом потной дулей. — Я ничего не боюсь! Но на совесть свою



гирю навесить не позволю! Нет, ради чего? Во имя человечества? За достоинство землянина? За галактический престиж? Вот тебе! Я не дерусь за слова! За себя драться, за семью, за друзей, даже за мальчишку этого чудовищного, которого я раньше и не видел никогда, — пожалуйста! До последнего, без пощады! Но за какие-такие проблемы?.. Увольте. Это вам не девятнадцатый век! Кому будет принадлежать Галактика через миллиард лет, нам или им? Да плевал я на это!

Он вскочил и забегал по кухне, размахивая руками.

— Нет, вы подумайте только, какой страшный выбор мне предлагают: или мы тебя сделаем директором великолепного современного института, из-за которого два членкора уже глотки друг другу переели, — или мы тебя шлепнем, как гада, или, хуже того, моральным калекой сделаем до конца дней твоих! Ничего себе выбор! Да я в этом своем институте десять нобелевок заложу, понял? Институт — это тебе не чечевичная похлебка, можно его и на право первородства поменять. Не хотите, чтобы я макроскопической устойчивостью занимался, — пожалуйста! Обойдусь! Я в своем институте десять новых идей заложу, двадцать идей, а если вам не понравится еще какая-нибудь, ну что ж, снова поторгуюсь!.. И не коптите мне мозги красивыми словами! Через миллиард лет от меня и молекул не останется. А я человек простой, я хочу умереть естественной смертью и совесть свою не пачкать...

Он вдруг замолчал, словно ему заткнули рот, уселся на прежнее место, схватил папку, бросил ее на стол, снова схватил.

— Не знаю, что делать, — сказал он жалобно. — Может быть, они только запугивают?

— Может быть, — сказал Вечеровский.

— Однако Снегового они до смерти запугали.

— Похоже на то.

— Ч-черт! Работу жалко. Экстра-класс. Люкс. У меня, может быть, никогда больше ничего подобного не выйдет.

— Возможно, — сказал Вечеровский.

— Но мальчишка-то? Мальчишка-то как? Или, может быть, запугивают? Ну невозможно же себе это представить, чтобы они осмелились... А может быть, это вовсе и не мальчишка даже? Уж очень он странный... Может быть, это робот какой-нибудь, а?

Вечеровский, не отвечая, поднялся и снова принялся заваривать кофе. Малянов следил за ним бездумным взглядом.

— А если они тебя угробят? — спросил он.

— Вряд ли.

— А если все-таки?.. Куда же тогда все это денется? — он потряс папкой.

— Ну ты же в курсе, — сказал Вечеровский, не оборачиваясь. — Да и не один ты. Вас довольно много.

— Только не я, — сказал Малянов, мотая щеками. — Я в это дело впутываться не желаю. Уволь.

Тогда Вечеровский повернулся к нему и прочитал негромко: «Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул назад. С тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы...»

Малянов застонал, как от боли.

Он сидел, прижав папку к животу, и раскачивался взад-вперед, плотно зажмурил глаза, скрипя стиснутыми зубами, и в голове у него не было ни одной мысли, только глуховатый голос Вечеровского в десятый, двадцатый раз повторял одно и то же: «...с тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы...»

А в пяти километрах от этой кухни, на плоском песчаном морском берегу, на мелководье, в неподвижной, похожей на застывшее стекло воде лежал навзничь, неловко подвернув под себя руку, мальчик в коротких штанишках с лялочкой и с сандалией только на одной левой ноге. Он был совершенно неподвижен, и смотреть на него было неприятно и страшно, потому что он казался давно и безнадежно мертвым.

Над сопками-скалами, окаймляющими город, над недалекими отсюда домами окраины показалось солнце. Длинные синие тени легли на пляж. Легкий ветерок пронесся и зарябил воду у берега. И тогда мальчик вдруг пошевелился. Упираясь ладонями в песок, он поднялся и поглядел сонными глазами вокруг. Потом он вдруг вскочил и запрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха и приговаривая: «Ухо, ухо, вылей воду на дремучую колоду...»

И был пляж, и было стеклянное море, и солнце вставало самым жизнеутверждающим образом, и мальчуган, вполне живой, здоровый, веселый, разве что несколько мокрый, а потому слегка озябший, бредет вдоль воды босиком, загребая ногами влажный песок, держа в руке одинокую сандалию.

## ТУЧА

Под низким пасмурным небом, под непрерывным сеющим дождем по мокрому асфальтовому шоссе движется колонна машин: длинный лимузин впереди и три огромных автофургона следом. На мокрых брезентовых боках фургонов знаки «опасный груз».

На заднем сиденье лимузина, сложивши руки на груди, расположился хозяин этой колонны, известный метеоролог и атмосферный физик профессор Нурланн, человек лет сорока, с надменным лицом. Впереди рядом с шофером сидит его ассистент, личность вполне бесцветная, доведенная своим начальником до состояния постоянной злобной угодливости. О шофере и говорить нечего, голова его втянута в плечи, словно он поминутно ожидает, что его ткнут в загривок.

Ассистент, вывернувшись на сиденье, насколько позволяют ремни безопасности, говорит ядовито-сладким голосом:

— Я правильно помню, профессор, что вы не бывали здесь вот уже больше пятнадцати лет?

Нурланн молчит.

— Пятнадцать лет! С ума сойти. Я понимаю ваше волнение — вернуться в родной город, даже при таких обстоятельствах...

Нурланн молчит.

— А может быть, именно при таких обстоятельствах? Вернуться как бы избавителем. Избавителем от большой беды...

— Сядьте прямо и заткнитесь, — холодно говорит Нурланн.

Ассистент моментально выполняет приказание. На губах его довольная улыбка.

Видимость отвратительная — не больше пятидесяти метров. За пеленой дождя по сторонам дороги уносятся назад:

шеренга каких-то зачехленных громадин вдоль шоссе и снующие среди них солдаты в плащ-накидках;

необозримое стадо пустых пассажирских автобусов;

походная радарная установка;

еще одна походная радарная установка, окруженная стадом пасущихся коров;

обширная асфальтовая площадка, несколько вертолетов на ней;

бензоколонка, очередь легковых машин с трейлерами, на крышах мокнут разнокалиберные чемоданы, и тут же остановился фермер с телегой и взирает на это с видом глубокой задумчивости.

И вообще: то и дело проносятся навстречу лимузину легковые машины, тяжело нагруженные барахлом.

Колонна, замедлив ход, въезжает в город. Граница города обозначена гигантским медным барельефом городского герба: обнаженный богатырь с ослиной головой поражает трезубцем гидру о трех головах — две из них мужские, третья женская.

Сразу за барельефом в сквере стоят два танка, и тут же под навесом за походным столом кормятся несколько военных попеременно со штатскими. Ослепительная молния вдруг обрушивается на сквер, и тотчас за ней вторая оплетает самое высокое дерево. Привычного грома нет, а есть какой-то странный свистящий шелест, но вспышки очень яркие и молнии очень страшные. Под навесом, однако, только один человек поднял голову и обернулся с недовольным видом, не переставая жевать.

В оперативном отделе штаба на огромном столе расстелена карта города. Вокруг стола стоят военные в пятнистых десантных комбинезонах без знаков различия и несколько штатских. В конусе света от лампы только карта и руки, упирающиеся в стол, лиц почти не видно.

На карте центр города занят угольно-черным пятном неправильной формы, по очертаниям немного напоминающим бабочку с распростертыми крыльями.

— Я полагаю ударить сюда, — говорит Нурланн, показывая пальцем. — Для начала рассечем ее пополам. Если повезет, мы сразу накроем активную зону. Здесь проходит магнитный меридиан, вот по этому проспекту...

— Дорога чистых душ, — негромко произносит кто-то из военных.

— Что? — надменно спрашивает Нурланн. — А! В мое время это был проспект Реформации... Очень удачно, что он проходит прямо по малой оси, можно бить прямой наводкой. Для начала, полковник, мне нужен дивизион «корсаров». Полагаю, его надо развернуть где-нибудь здесь... или здесь... А после того, как она развалится надвое, будем бить в этом и этом направлении.

— А если не развалится? — насмешливо и раздраженно спрашивает кто-то.

Нурланн, резко вздернув подбородок, пытается рассмотреть в сумраке говорившего. Полковник поспешно произносит:

— Вы должны понять нас правильно, профессор. Все-таки мы здесь уже полгода. Мы испробовали чертову пропасть всевозможных средств, а помогают одни только дальнобойные огнеметы... и вообще огонь...

Тот же насмешливо-раздраженный голос вставляет:

— Пока горит.

— Вот именно, — говорит полковник. — Пока горит, она не двигается.

— Там, где горит, — вставляет голос.

— Капитан, я попросил бы вас! — сердито говорит полковник.

Нурланн, несколько смягчившись, снисходит до объяснения:

— Я привез сорок пять снарядов, начиненных «Одеколоном АБ». Это коагулянт, который осаждаёт любое аэрозольное образование. Подчеркиваю: любое. Газетчики распространяют легенду, будто Туча — живое существо. Это вздор. Туча — это аэрозольное образование довольно сложной и не вполне понятной структуры. Поскольку оно возникло и распространяется в плотно населённом районе, у нас, к сожалению, нет возможности изучить его должным образом. Его придется уничтожить. Для этого я и приехал.

— То есть вы полагаете, — уточняет полковник, — что эвакуацию можно отменить?

Нурланн, повернув голову, смотрит на него. Полковник продолжает:

— Эвакуация практически подготовлена. Более того, если бы не... ну, некоторые обстоятельства... некоторые неконтролируемые обстоятельства, мы бы ее начали завтра. Дело в том, что скорость Тучи увеличивается, вчера на некоторых радиусах она превысила сто метров в сутки.

— Увольте, полковник, — недовольно говорит Нурланн. — В этом вопросе я не компетентен. Могу сказать только, что «Одеколон АБ» — штука очень ядовитая и людям лучше держаться от нее подальше. Таким вот образом. Может быть, еще есть вопросы?

Робкий голос:

— Правда, что вы родились в этом городе?

Нурланн ухмыляется:

— Правда. Вот здесь я родился (показывает пальцем на карте). Вот здесь жил. Здесь венчался (палец упирается в центр черного пятна). Так что, господа мои, эта штука (стучит по черному пятну) нравится мне еще меньше, чем вам, и играть с ней в научные игры, как вы, может быть, полагаете, я не намерен.

— Аминь, — произносит насмешливый голос, и все смеются с явным облегчением.

— Вот и славно, — произносит Нурланн покровительственно. — Теперь так, полковник. Первый залп назначаем на завтра, восемнадцать ноль-ноль, раньше все равно не управимся. А утром, часов в десять, я бы хотел посмотреть на нее сверху. Напоследок. Могу я рассчитывать на вертолет?

Возникает нечто вроде замешательства.

— М-м-м... — тянет полковник. — Вертолет я, конечно, дам...

— Но? — спрашивает удивленный Нурланн.

— Смысла никакого нет, — говорит полковник. — Как бы это вам объяснить...

— Вы ничего не увидите, — говорит кто-то.

— Почему? — спрашивает Нурланн. — Облачность? Но Туча выше облаков!

— Нет, вы увидите, только не то, что есть на самом деле.

— А что? Мираж?

— Мираж не мираж, — говорит полковник в затруднении и от этого сердясь. — А, да что мне — вертолета жалко? Я распоряжусь.

— Вы лучше, профессор, посмотрите на это. Это дело верное, без миражей, — говорит кто-то и высыпает веером на карту несколько фотографий.

Нурланн небрежно перебирает их одну за другой.

— Это я видел... и это видел...

Его внимание задерживается только на одной фотографии: Туча просачивается через дом. Светлый тысячеоконный фасад на фоне угольно-черной стены и тысяча черных языков, выливающих из окон. Нурланн бросает фотографию на стол и говорит:

— Хочу проехать по городу. Посмотрю завтрашнюю позицию и посмотрю все это (он щелкает пальцем по фотографиям) вблизи.

— Конечно, — говорит полковник. — Разрешите представить вам сопровождающего: старший санитарный инспектор Брун.

При первых словах полковника лицо Нурланна неприязненно сморщивается, но при имени Бруна оно расцветает неожиданно доброй улыбкой.

— Господи, Брун! — восклицает Нурланн. — Откуда ты здесь?

Лимузин профессора Нурланна неторопливо катит по улицам.

В городе безраздельно царит дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб, разливается по мостовой, бежит по руслам, промытым между плитами тротуаров. Черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами. Человек — незванный гость на этих улицах, дождь его не жалует, и людей почти не видно.

— Как это ты заделался санитарным инспектором? — спрашивает Нурланн сидящего за рулем Бруна. — Ты же, помнится, был по дипломатической части.

— Мало ли что... Вон Хансен — сидел-сидел у себя в суде, а теперь кто? Великий бард! Менестрель!

— О да. Давно ты его видел?

— Да два часа назад, он с утра до вечера торчит в отеле, где ты поселился. В ресторане, конечно. Пьет как лошадь, старый хрен.

\* \* \*

Вместе с дождем в городе хозяйничают молнии. Странные, очень яркие и почти бесшумные молнии. Огненными щупальцами они то и дело проливаются из Тучи и уходят в фонарные столбы, в фигурные ограды палисадников, просто в мостовую. Вдоль стены дома пробирается случайный прохожий, согнувшийся под зонтиком, и молния падает на него, оплетает тысячью огненных нитей. У человека подкашиваются ноги, он роняет зонт, хватается за стену и приседает на корточки. Это длится несколько секунд. Вот он уже опомнился, подобрал зонтик и, очумело крутя головой, заспешил дальше.

— Невозможно поверить, что это безвредно, — говорит Нурланн, провожая прохожего взглядом.

— Даже полезно, — откликается Брун.

Лимузин сворачивает за угол и останавливается.

— Это еще что такое? — озадаченно спрашивает Нурланн. — Кто они такие, что они здесь делают?

На обширном газоне расположился странный лагерь. Прямо под дождем расставлены кровати, шкафы, столы и стулья, кресла — не походная мебель какая-нибудь, а дорогие спальни и кабинеты, безжалостно и противоестественно извлеченные из особняков и апартаментов. Тут и там торчат роскошные торшеры, которые, разумеется, не горят, трюмо и трельяжи, по зеркалам которых толстой пленкой стекает вода. И здесь полно людей, которые ходят, лежат и даже, кажется, спят под пропитанными водой одеялами. Мужчины и женщины, старики и старухи, все в одинаковых плащах-балахонах в черно-белую шахматную клетку. Кто-то из обитого бархатом кресла склонился над походной газовой плитой, помешивая в кастрюльке; кто-то стоя читает толстенный томик, видимо молитвенник; а кто-то целой бригадой стаскивает с грузовика новую порцию диванов, торшеров и кроватей...



Агнцы Страшного Суда, — произносит Брун с неопределенной интонацией. — Прочь из-под тяжких крыш. Они не спасут, они раздавят. Прочь из затхлых обиталищ. Они не согреют, они задушат. Под небо! Под очищающее небо! Причащайтесь чистой влагой! Только тот спасется, кто успеет очиститься. И так далее. Агнцы Страшного Суда. У нас их много.

— При чем здесь Страшный Суд?

— А при том, что вы все считаете Тучу аэрозольным образованием. А для них это начало Пришествия Того, кто грядет. И когда Туча закроет всю Землю, начнется Страшный Суд.

Сразу за лагерем Агнцев стоит на проспекте, взгромоздившись правыми колесами на тротуар, странная машина, этакая помесь «скорой помощи» и пожарной, длинная, желтая, непропорционально высокая, с огромными красными крестами на бортах, усаженная всевозможными фарами, прожекторами, проблесковыми маячками, ощетиленная причудливыми антеннами, стоит тихая, странная, словно бы брошенная, и только вспыхивает у нее на крыше фиолетовый слабый огонек.

— Я развелся тогда, пятнадцать лет назад, — говорит Нурланн, — и нисколько об этом не жалею...

— Да, я видел твою бывшую на прошлой неделе, — откликается Брун. — Был гран-прием у отцов города... Она у тебя очень, очень светская дама.

— Да провалилась она совсем, — говорит Нурланн раздраженно. — Мне дочку жалко. Так и не отдает она мне Ирму.

— У тебя дочка есть? — спрашивает Брун, насторожившись.

— Да. Вижусь с ней раз в два года... то ли дочка, то ли просто знакомый ребенок. Раз в два года мамаша изволит ее ко мне отпускать, стерва высокомерная...

— Угу, — произносит Брун. — А у меня, слава богу, детей нет. По крайней мере, в этом городе.

Туча.

Она перегораживает проспект и выглядит как непроницаемо-черная стена, поднимающаяся выше всех крыш и уходящая вершиной в низкие облака. Огромные медленные молнии ползают по ней, словно живые существа. Сама же она кажется абсолютно неподвижной и вечной, как будто стояла здесь и будет стоять всегда.

— Экая красотища, — произносит Нурланн сдавленным голосом.

— Жалко? — Брун криво ухмыляется.

— Не знаю... Не об этом речь. А поближе подъехать нельзя?

— Нельзя.

— Брось, давай подведем.

Брун цитирует:

— Эти животные настолько медлительны, что очень часто застают человека врасплох.

Лимузин вынужден притормозить, чтобы проехать через толпу, сгрудившуюся вокруг тумбы регулировщика. В основном толпа состоит из шахматно-клеточных Агнцев, но довольно много среди них и простых горожан, они отличаются не только одеждой, но и тем, что прячутся под зонтиками — великое разнообразие зонтиков: огромные черные викторианские; пестрые веселенькие курортные; прозрачные коконы, укрывающие человека до пояса... В толпе можно видеть и военных в плащ-накидках.

Все лица обращены к человеку в клетчатой хламиде, который вдохновенно ораторствует, взобравшись на тумбу. За дождем его плохо видно и еще хуже слышно, доносятся только выкрики-возгласы:

— ...Последнее знамение! ...бедные, бедные агнцы мои! ...очищайтесь! ...и число его — шестьсот шестьдесят шесть! ...отчаяние и надежда, грех и чистота, черное и белое!

Лимузин уже почти миновал толпу, и тут со свистящим шелестом изливается из облаков лиловая молния и неторопливо, с каким-то даже сладострастием оплетает длинного унылого прохожего, задержавшегося на тротуаре посмотреть и послушать. Человек валится набок, как мешок с тряпьем, но он еще не успел коснуться асфальта, как вдруг раздается странный каркающий сигнал и, откуда ни возьмишь, вынырнула и остановилась возле него давешняя нелепая машина с красными крестами на бортах. Сейчас на ней включено все: все прожектора, все окна, все фары, и добрый десяток красных, синих, желтых, зеленых огней одновременно перемигиваются у нее на крыше, на капоте, на боках. Расторопные люди в белых комбинезонах с красными крестами на спине, на плечах и на груди выскакивают под дождь и бегут к упавшему, волоча за собой шланги и кабели, на бегу распахивая черные чемоданчики со светящимися циферблатами и шкалами внутри. Они склоняются над пострадавшим и что-то делают с ним. Главный из них в причудливом шлеме, из которого рогами торчат две антенны, трясущиеся у самого рта тонкие лапки с набалдашниками и длинный штырь с микрофоном, человек этот, весь красный и потный от возбуждения, нависнув над пострадавшим, орет надрывно:

— Что вы видите? Говорите! Говори! Что видишь? Говори! Скорее! Говори!

Закаченные глаза пострадавшего обретают осмысленное выражение, и он лепечет:

— Коридор... Коридор вижу... Они уходят...

Он замолкает, и глаза его вновь закатываются.

— Дальше! Дальше! — надрывается главный. — Говори! Кто в коридоре? Кто уходит? Говори! Говори!

— Малыш... — бормочет пострадавший. — Малыш и Карлсон... По коридору... Длинный...

Тут взор его окончательно проясняется, он отпихивает от себя главного и садится.

— Все. «Проехало», — говорит один из санитаров.

Пострадавшему помогают встать, подают ему зонтик.

— Спасибо, — запинаясь, бормочет пострадавший. — Ох, большое спасибо.

А в толпе хоть бы кто голову повернул.

Лора, бывшая жена Нурланна, принимает бывшего мужа в своей гостиной. Гостиная обставлена не просто богато, но изысканно, поэтому очень странно видеть на безукоризненном мозаичном паркете под портъерами, закрывающими окна, обширные темные лужи.

— Я пригласила тебя сюда не для того, чтобы обмениваться резкостями, — говорит Лора. — У меня к тебе дело. Однако я не хочу говорить о нем без моего адвоката. Имей терпение. Он должен прийти с минуты на минуту.

— Прекрасно, — произносит надменно Нурланн. — Поговорим о чем-нибудь другом. Где Ирма?

— Прекрасно, — в тон ему произносит Лора. — Поговорим об Ирме. Ты, безусловно, будешь рад услышать, что твоя дочь делает большие успехи в муниципальной гимназии и что ее лучший друг — сын гостиничного швейцара.

— Во всяком случае, ничего плохого я в этом не вижу.

— Ну конечно, было бы гораздо хуже, если бы твоя дочь получала образование в Женеве или хотя бы в Президентском колледже в столице... Мы же демократы! Мы плоть от плоти народа!

Нурланн не успевает ответить, потому что в гостиной появляется рослый человек в черно-белом клетчатом пиджаке и при клетчатом же галстуке. Нурланн не сразу соображает, что это тот самый проповедник, который давеча вещал с регулировочной тумбы.

— Знакомьтесь, — произносит Лора. — Мой адвокат. А это — мой бывший муж, профессор Нурланн.

— Прошу прощения, я несколько опоздал, — говорит адвокат, кладя на стол бювар и усаживаясь. — Но тем больше оснований у нас перейти прямо к делу. Вот бумага, профессор. Моя клиентка хотела бы, чтобы вы эту бумагу подписали, а я, как свидетель и как юрист, удостоверил вашу подпись.

Нурланн молча берет бумагу и начинает читать. Брови его задираются. Он поднимает глаза на Лору.

— Позволь, — несколько растерянно говорит он. — На кой черт тебе это надо? Кому какое дело?

— Тебе трудно поставить подпись? — холодно осведомляется Лора.

— Мне не трудно поставить подпись. Но я хотел бы понять, на кой черт это нужно? И потом, это все вранье! Ты никогда не была верной женой. Ты никогда не ходила в церковь. Аборты ты делала! Только в мое время ты сделала три аборта!

— Господа, господа, — примирительно вступает адвокат. — Не будем горячиться. Профессор, я знаю, вы атеист. Ваша подпись под этим документом не может иметь для вас никакого значения. Она ценна только для моей клиентки. И не из юридических, а исключительно из религиозных соображений. Считайте свою подпись под этим документом просто актом прощения, актом братского примирения...

Он замолкает, потому что в глубине квартиры раздаётся какой-то лязг, дребезг, звон разбитого стекла. Нурланн еще успевает заметить, как внезапно побелело и осунулось лицо Лоры, как пришипился, втянув голову в плечи, клетчатый адвокат, но тут дверь в гостиную распахивается, словно от пинка ногой, и на пороге возникает Ирма.

Это девочка-подросток лет пятнадцати, высокая, угловатая, тощая, на ней что-то вроде мини-сарафана, короткая прическа ее схвачена узкой белой лентой, проходящей через лоб. Босая. И мокрая насквозь. Но ничего в ней нет от «мокрой курицы», она выглядит, как если бы в очень жаркий день с наслаждением искупалась и только что вышла из воды.

Лора и адвокат встают. Физиономии их выражают покорность, в них что-то овечье.

Ирма с бешенством произносит:

— Я двадцать раз просила тебя, мама, не закрывать окна в моей комнате! Что прикажешь мне делать? Выбить их совсем? Я выбила одно. В следующий раз выбью все.

Лора, совершенно белая, пытается что-то сказать, но из горла ее вырывается только жалобный писк. Адвокат, втянувши голову в плечи, смотрит себе под ноги. Ирма обращает взгляд на Нурланна. Тонем ниже, без всякой приветливости, произносит:

— Здравствуй, папа.

— Здравствуй, здравствуй, — говорит Нурланн озадаченно. — Что это ты сегодня так развоева...

Ирма прерывает его:

— Мы с тобой еще поговорим, папа. Может быть, уже сегодня вечером. Ты нам нужен.

И вновь — матери:

— Я в двадцать первый раз повторяю: не закрывай окна в моей комнате. В двадцать первый и последний.

Она поворачивается и уходит.

Воцаряется неловкая тишина, и адвокат, криво ухмыляясь, говорит:

— Дети — дар божий, и дети — бич божий.

И тут Лора срывается.

— Ну что — доволен? — визжит она, перегнувшись через стол к Нурланну. — Видел, как твоя дочь плюет мне в лицо? Как вытирает об меня ноги, словно не мать я ей, а половая тряпка? Тебе, наверное, тоже захотелось? Плюй! Топчи! Унижай! Не надо со мной церемониться! Да, я грешница, я грязь, я сосуд мерзостей! Я убивала нерожденных младенцев моих, я блудила, я ненавидела тебя и блудила, с кем только могла! Я смеялась над богом... я, тля ничтожная! Это ты, ты научил меня смеяться над богом! А теперь втаптываешь меня в ад, в вечный огонь... В серу меня смердящую, в уголья! Дождался! Вон она, тьма страшная, кромешная, надвигается на мир! Сколько еще дней осталось? Кто скажет? Это Суд идет! Последний Суд! Все перед ним предстанем, и спросится с тебя, зачем не простил женщину, которая была с тобою единой плотью и кровью, зачем толкнул ее в пропасть, когда одной лишь подписи твоей хватило бы, чтобы спасти ее! Лжец! Лжец! Чистая я! Перед Последним Судом говорю, я — чистая! Не было ничего, клеветешь! Подписи пожалел, единого росчерка!

— Да провались ты... — бормочет ошеломленный Нурланн и хватается за авторучку.

Вечер. На улицах тьма кромешная. Дождь льет как из ведра, а молний почему-то нет. Нурланн ведет машину по пустым улицам. Дворники не справляются с водой. Уличные фонари не горят, и лишь в редких окнах по сторонам улицы виден свет. В свете фар появляются

посередине улицы какие-то неопределенные фигуры. Нурланн совсем сбрасывает газ и наклоняется над рулем, пытаясь разобраться, что же там происходит за серебристыми в свете фар струями дождя.

А происходит там вот что.

Половину мостовой занимает большой легковой автомобиль, стоящий с погашенными огнями и распахнутыми дверцами. На другой половине двое здоровенных мужиков в блестящих от воды плащах пытаются скрутить мальчишку-подростка, который отчаянно извивается, брыкается длинными голыми ногами, отбивается острыми голыми локтями, крутится вьюном — и все это почему-то молча.

Лимузин Нурланна останавливается в пяти шагах от этой потасовки, фары его в упор бьют светом, и тогда один из мужиков бросает мальчишку и, размахивая руками, орет:

— Назад! Пошел отсюда! Мотай отсюда, дерьмо свинячье!

Поскольку ошеломленный Нурланн и не думает мотать отсюда, просто не успевает подчиниться, мужик в бешенстве бьет кованым сапогом по правой фаре и разбивает ее вдребезги.

Это он зря.

— Ах ты сволочь, — произносит Нурланн, достает из-под сиденья монтировку и вылезает под дождь.

Он не трус, наш Нурланн. Но откуда ему знать, что он имеет дело с профессионалом? Ленивым движением мужик в блестящем плаще уклоняется от богатырского удара монтировкой. В глазах у Нурланна вспыхивают огненные колеса, и наступает тьма.

Четверть века назад подросток Нурланн поздним вечером возвращался из кино домой этим самым переулком. Навстречу ему вышел из подворотни могучий шестнадцатилетний дебил по прозвищу Муссолини. Не говоря ни единого слова, он ухватил Нурланна двумя пальцами за нос, стиснул так, что у того слезы из глаз брызнули, а свободной рукой обшарил деловито его карманы. Вся операция не заняла и минуты. Муссолини скрылся в подворотне, а маленький Нурланн, опозоренный, униженный и ограбленный, остался стоять в темноте с вывернутыми карманами. Слезы текли неудержимо, и вдруг подул ветер и дождь брызнул ему в лицо...

— Профессор... Профессор... Очнитесь, профессор!

Тьма расходится перед глазами Нурланна, и он видит близко над собой мокрое мальчишеское лицо, большеглазое, со свежей ссадиной на скуле. Волосы схвачены белой лентой.

Это не тот мальчик. Тот был в красном, а на этом черная безрукавка и черные шорты. Еще один голоногий и голорукий мокрый мальчик.

Нурланн, охая и кряхтя, садится, ощупывает себя. Все болит: печенки, селезенки, кишки. Машина его стоит на прежнем месте, освещающая уцелевшей фарой пустую мостовую.

— А эти где? — спрашивает Нурланн.

— Уехали, — отвечает мальчик. Он сидит перед Нурланном на корточках, озабоченно оглядывая его лицо.

— А мальчик где?

— Вы можете встать? — спрашивает мальчик вместо ответа.

Нурланн с трудом поднимается на ноги, делает шаг к лимузину и хватается за дверцу, чтобы не упасть.

— Надо же, как он меня...

— Давайте я сяду за руль, — говорит мальчик.

— Валяй. Мне нужно в «Метрополь».

— Я знаю, — говорит мальчик. — Садитесь, я вас отвезу.

Лимузин катит по улицам.

— Что это было? — спрашивает Нурланн. — Кто эти громилы?

Мальчик, не сводя глаз с дороги, отвечает после паузы:

— Не знаю.

— Чего они к нему прицепились? Он что-нибудь натворил?

Пауза.

— Может быть. Только это никого не касается.

— Он удрал?

Пауза.

— Нет.

— Значит, в полицию сдали... Это твой приятель, надо понимать.

Я вижу, тебе тоже попало.

Мальчик не отвечает, только осторожно поглаживает ссадину на скуле.

— Так что же вы все-таки натворили? — спрашивает Нурланн.

— Ничего особенного.

— А если ничего особенного, тогда поехали в полицию вызволять твоего приятеля. Заодно хотелось бы узнать, кто мне разворотил фару и отбил печенки.

— Нет, — твердо произносит мальчик. — Я не могу тратить время на полицию.

Лимузин останавливается перед отелем «Метрополь». Это огромное многоэтажное здание. Несколько редких светящихся окон, и еще свет падает сквозь застекленные двери в вестибюль.

— Спасибо, — говорит Нурланн. — Кстати, как тебя зовут?

— Циприан.

— Очень рад. Нурланн. Между прочим, Циприан, откуда ты все знаешь? Откуда знаешь, что я профессор, что я здесь живу?

— Мы дружим с вашей дочерью.

— Ага. Очень мило. Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Мне нужно позвонить. Вы позволите?

Они проходят сквозь вращающуюся дверь в вестибюль, мимо швейцара, приложившего при виде Нурланна два пальца к форменной фуражке, мимо богатых статуй с электрическими свечами. В вестибюле никого больше нет, только портье сидит за стойкой.

Пока Нурланн берет у портье ключи, у входа происходит разговор.

— Ты зачем сюда вперся? — шипит швейцар на Циприана.

— Меня пригласил профессор Нурланн.

— Я тебе покажу профессора Нурланна, — шипит швейцар. — Манеру взял — по ресторанам шляться...

— Меня пригласил профессор Нурланн, — повторяет Циприан терпеливо. — Ресторан меня не интересуется.

— Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал! Вот я тебя отсюда вышвырну, чтобы не разговаривал...

Нурланн оборачивается к ним.

— Э-э... — говорит он швейцару. — Парнишка со мной. Так что все в порядке.

Швейцар ничего не отвечает, лицо у него недовольное.

У себя в номере Нурланн прежде всего сбрасывает мокрый плащ и сдирает с ног отсыревшие туфли. Циприан стоит рядом, с него капает, но и он, как давеча Ирма, отнюдь не выглядит «мокрой курицей».

— Раздевайся, — говорит ему Нурланн. — Сейчас я дам полотенце.

— Разрешите, я позвоню.

— Валяй.

Нурланн, прилепывая мокрыми носками, уходит в ванную. Раздеваясь там, растираясь купальной простыней и с наслаждением натягивая сухое, он слышит, как Циприан разговаривает — негромко,

спокойно и неразборчиво. Только однажды, повысив голос, он отчетливо произносит: «Не знаю».

Затягивая пояс халата, Нурланн выходит в гостиную и с изумлением обнаруживает там дочь Ирму; Циприан по-прежнему стоит у дверей, и с него по-прежнему капает. Ирма расположилась боком в кресле, она перекинула мокрые голые ноги через подлокотник.

— Здрасьте! — говорит Нурланн, впрочем, обрадованный.

— Слушай, папа, — капризным голосом произносит Ирма. — Где тебя носит? Я тебя двадцать часов жду!

— Где меня носит... Циприан, где меня носит? Иди в ванную и переоденься. Обсушись хотя бы.

— Что вас всех будто заклинило, — говорит Ирма. — Обсушись, оботрись, переоденься, не ходи босиком...

— Ну, мне кажется, это естественно, — благодушно произносит Нурланн, доставая из бара бутылку и наливая себе в стакан на два пальца. — Если мокрый человек...

— То, что наиболее естественно, — негромко говорит Циприан, — наименее подобает человеку.

Нурланн застывает со стаканом на полпути ко рту.

— Естественно всегда примитивно, — добавляет Ирма. — Амеба — да, она естественна. Но человек — существо сложное, естественное ему не идет.

Нурланн смотрит на Ирму, потом на Циприана, потом в стакан. Он медленно выцеживает бренди и принимает вызов.

— Ну, разумеется, — говорит он. — Поэтому давайте колоться наркотиками, одурять себя алкоголем, это ведь противоестественно. Пусть будут противоестественные прически, противоестественные одежды, противоестественные движения...

Ирма прерывает его:

— Нет! Противоестественное — это просто естественное навыворот. Мы говорим совсем не об этом...

Нурланн перебивает в свою очередь.

— Я не знаю, о чем вы говорите, — объявляет он покровительственно. — Зато я знаю, о чем вам следовало бы говорить. Не убий. Не укради. Не сладострастничай. Люби ближнего своего больше себя. Кумира себе не сотвори, лидера, пастыря, интерпретатора... Вот правила воистину неестественные, и они-то более всего подобают человеку. Не так ли? Тогда почему же на протяжении двадцати веков они остаются красивыми лозунгами? Разменной монетой болтунов и демагогов... Нет, мокренькие вы мои философы. Не так все это просто. Никому еще пока не удалось придумать, что подобает человеку, а что

— нет. Я лично думаю, что ему все подходит. Такая уж это обезьяна с гипертрофированным мозгом.

С этими словами он торжествующе наливает себе еще на два пальца и опрокидывает стакан залпом.

Циприан и Ирма переглядываются.

— Вполне, — говорит Циприан.

— А я тебе что говорила?

— Ну, тогда я пойду.

— Подожди... Папа, — Ирма поворачивается к Нурланну, — мы приглашаем тебя поговорить.

— Говорите, — благодушно предлагает Нурланн.

— Нет. Не здесь. Наши ребята хотят с тобой встретиться. Ненадолго, на час-полтора. Пожалуйста.

— Почему со мной? Что я вам — модный писатель?

— С модным писателем мы уже встречались, — говорит Ирма. — А ты — ученый. Ты приехал спасать город. У нас есть к тебе вопросы. Именно к тебе.

— Видишь ли, у меня очень мало времени. Давайте лучше я отвечу на эти вопросы вам. Прямо сейчас. Мне даже вопросы можно не задавать. Тучу я намерен уничтожить в течение пяти-семи дней. Можете быть совершенно спокойны. Будет применен сравнительно новый коагулянт под игривым названием...

— Нет, папа, — качает головой Ирма. — Как раз это нас не интересует. Вопросы к тебе у нас совсем другие.

— Какие? Я больше ничего не знаю.

— Папа, ну пожалуйста!

— Мы вас очень просим, профессор, — присоединяется Циприан.

— Хорошо, — решает Нурланн. — Тогда завтра. Между двенадцатью и двумя. Где?

— В гимназии. Тебя устроит?

— В которой?

— В нашей... и в твоей тоже. Где ты учился.

— Где я учился... — задумчиво произносит Нурланн. — О, забытые ароматы мела, чернил, никогда не оседающей пыли... изнурительные допросы у доски... О, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенных в принцип! Договорились.

— Ну, тогда я пошел, — снова говорит Циприан.

Нурланн неохотно поднимается с кресла.

— Подожди, я тебя провожу. А то наш швейцар что-то тебя невзлюбил.

— Не беспокойтесь, профессор, — говорит Циприан. — Все в порядке. Это мой отец.

Ресторан отеля «Метрополь». Огромная зала, уставленная накрытыми столиками, белоснежные скатерти, серебро, хрусталь, цветы. Возле каждого столика торшер, но горит только один — у столика, за которым ужинают Нурланн, Брун и их школьный друг, ныне известный поэт и бард Хансен.

— Разом сработало великое множество независимых факторов, — объясняет Нурланн. — Выбросы ядерных станций на севере. Раз. На юге пятьдесят лет коптят небо металлургические заводы. Два. На западе загубили Страну Озер, бездарно разбазарили на мелиорацию. Плюс ко всему этому — специфическая роза ветров этого района. И еще какие-то факторы, которые наверняка действуют, но мы о них не догадываемся. Мы многого пока не понимаем...

— Ни черта мы не понимаем, — злобно прерывает Брун. — Невинное аэрозольное образование! Анализы не дают никаких оснований для паники! Три десантные группы были сброшены туда, и ни одна не вернулась! Три! — Он выставляет три пальца. — И ни один профессор пока не объяснил — почему.

— Да, — соглашается Нурланн. — В активной зоне — там, вероятно, происходят какие-то грандиозные процессы. Честно говоря, я не могу сообразить, почему она все время расширяется...

— Погоди, — говорит ему Хансен. — Я сейчас все объясню.

На самом деле было так.

В доходном доме рядом с химическим заводом жил многосемейный коллежский секретарь Нурланн. Обстоятельства его: три комнаты, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет. Днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма. От ядовитого смрада вокруг умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют комнатные мухи. Коллежский секретарь ведет многолетнюю упорную кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные жалобы во все инстанции, разгромные фельетоны в газетах, жалкие попытки организовать пикеты у проходной. Завод стоит, как бастион. На площади перед заводом замертво падают отравленные постовые. Дохнут домашние животные. Целые семьи покидают квартиры и уходят бродяжничать. В газетах появляется некролог по случаю преждевременной кончины директора завода. У нашего коллежского секретаря умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой.

Однажды вечером, спустившись зачем-то в подвал, он обнаруживает там сохранившийся со времен Сопротивления миномет и двадцать два ящика мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак. Завод лежит перед ним как на ладони. В свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. «Я тебя убью», — шепчет коллежский секретарь и открывает огонь. В этот день он не идет на службу. На следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках перед слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабел, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: «Я убью тебя...» Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончаются, — осталось три штуки. Он высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками. Выбитые окна зияют. На боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины. Двор перерыл сложной системой траншей. По траншеям короткими перебежками двигаются рабочие. Быстрее прежнего снуют вагонетки, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна!». В полном отчаянии коллежский секретарь выпустил последние три мины, и вот тут-то все и началось.

— Что именно? — спрашивает Нурланн.

— Лопнуло, — поясняет Хансен. — Лопнуло у них терпение. Сколько можно?

Он пьян, и Нурланн говорит снисходительно:

— Очень элегантная гипотеза. Только там, где на самом деле лопнуло, не было никакого химического завода, а была там наша муниципальная площадь, экологически вполне чистая.

— Да, муниципальная площадь, — соглашается Хансен. — Но плохо вы знаете историю родного города. На этой самой площади: тринадцатый век — восстание «серых», за день отрубили восемь сотен голов, в том числе сорок четыре детских, кровь забила водостоки и разлилась по всему городу; пятнадцатый век — инквизиция, разом сожгли полтора ста семей еретиков, в том числе триста двенадцать детей, небо было черное, неделю падал на город жирный пепел; двадцатый век — оккупация, расстрел тысячи заложников, в том числе двадцати семи детей, трупы лежали на брусчатке одиннадцать дней... Двадцатый век! А бунт сытых в шестьдесят восьмом? Две тысячи сопляков и соплячек под брандспойтами, давление пятьдесят атмосфер,

сто двадцать четыре изувеченных, двенадцать гробов... Сколько же можно такое выдержать? Вот и лопнуло.

— Да что лопнуло-то? — с раздражением спрашивает Брун. — Опять ты надрался...

— Брун, — укоризненно-весело произносит Нурланн, — ты не способен этого понять. Классическая коллизия: поэт и санинспектор.

— Это все дожди, — заявляет Хансен. — Мы дышим водой. Шесть месяцев этот город дышит водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. А дождь все будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, он смоет все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать, и когда земля напитается, тогда взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...

— О боже! — восклицает Брун. — О чем ты говоришь?

— Я говорю о будущем, — с достоинством пьяного отвечает Хансен.

— О будущем... — Брун кривит губы. — Какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят, его делают! Вот рюмка коньяка. Она полная. Я сделаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести. У нас нет времени рассуждать. Надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии со своими рефлексами и эмоциями. Будущее — это просто тщательно обезвреженное настоящее.

— Точка зрения санитарного инспектора, — бросает Нурланн. И тут по неподвижному лицу Хансена полились слезы.

— Они очень молоды, — произносит он чистым ясным голосом ни с того ни с сего. — У них впереди все, а у меня впереди — только они. Кто спорит, человек овладеет Вселенной, но только это будет совсем другой человек... И, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя. Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и не так, как нам хотелось бы...

На другое утро Нурланн вылетает на вертолете обозреть Тучу сверху.

То, что он видит, потрясает его. Затопленный город. Над поверхностью воды выступают верхушки только самых высоких зданий. Торчит башня ратуши со старинными часами, плоская крыша

городского банка с размеченной вертолетной площадкой, крест церкви, в которой он когда-то венчался...

— Что это такое? — кричит он пилоту, тыча пальцем в иллюминатор.

— Туча, — отвечает пилот меланхолично.

— Откуда вода? Вы видите воду?

— Нет. Вижу Тучу... молнии... воронка какая-то крутится над серединой... А вы воду видите? Не беспокойтесь, здесь всегда так. Некоторые пустыню видят, верблюдов... Миражи. Только у каждого свой.

Поперек проспекта Реформации, который все почему-то называют теперь Дорогой чистых душ, высится массивная триумфальная арка, увенчанная гербом города: ослиноголовый человек пронзает трезубцем дракона с тремя человеческими головами.

Вдали за пеленой дождя едва угадывается черная стена Тучи. Все пространство между аркой и Тучей забито людьми, толпящимися вокруг дюжины огромных автобусов: идет спешная эвакуация будущего сектора обстрела. Загруженные автобусы один за другим с ревом уходят под арку и дальше вверх по проспекту.

Чуть в стороне от арки стоят зачехленные ракетно-пушечные установки «корсар», возле них, собравшись кучками, курят в кулак нахорленные экипажи в плащ-накидках.

Рядом с аркой группа начальства: Нурланн, его ассистент, двое офицеров в пятнистых комбинезонах. Нурланн держит над собой зонт, остальные мокнут.

Нурланн говорит ассистенту, указывая на верхушку арки:

— Вот удобная площадка, потрудитесь расставить там все приборы. Полагаю, что места хватит.

— Там будет мой наблюдательный пункт, — произносит один из офицеров, командир дивизиона, человек с недовольным лицом, выражающим откровенную неприязнь к штатскому.

Нурланн бросает на него взгляд и продолжает, обращаясь к ассистенту:

— Позаботьтесь о генераторе. Городская сеть ненадежна.

— К сожалению, ничего не выйдет, профессор, — отзывается ассистент, злорадно поглядывая на недовольного офицера. — Нам предлагается пользоваться генератором дивизиона.

— Не возражаю, — благосклонно кивает Нурланн. — Извольте распорядиться, — говорит он офицеру.

— У меня нет приказа, — говорит тот, едва разжимая губы.

— Вот я вам и приказываю, — отчеканивает Нурланн.

— А вы мне не начальник. И если вы попытаетесь что-нибудь поставить у меня на командном пункте, велю все сбросить вниз.

Нурланн, словно не слыша его, говорит ассистенту:

— Я буду здесь в семнадцать тридцать. Все должно быть готово и отрегулировано.

Тут вступает второй офицер. С виноватым видом он говорит — и непонятно, то ли правду говорит, то ли издевается над высокомерным шпаком:

— Я имею приказ к семнадцати ноль-ноль установить вокруг дивизиона оцепление и никого не пропускать.

Тогда Нурланн поворачивается к офицерам, и такого Нурланна они видеть не ожидали.

— Вы, государи мои, — негромко говорит он, — плохо понимаете свое положение. Здесь команду я, и вы будете выполнять любое мое приказание. А пока меня нет, вы будете выполнять приказания вот этого господина. — Он показывает на ассистента.

В вестибюле гимназии Нурланна поджидает сутулый старик в вицмундире. Это нынешний директор гимназии, но Нурланн помнит его еще своим классным наставником. Четверть века назад это был тиран, одним взглядом своим внушавший гимназистам непереносимый ужас.

— Какая честь, какая честь, профессор! — блеет директор, надвигаясь на Нурланна с простертыми дланями. — Какая честь для доброй старой альма-матер! Орел навестил свое родовое гнездо! Знаю, знаю, вас ждут, и не задержу вас даже на одну лишнюю минуту. Позвольте представить вам: мой поверенный в делах...

— Мы уже знакомы, — говорит Нурланн, с изумлением обнаруживая за спиной директора клетчатую фигуру адвоката-проповедника.

— Совершенно, верно, — мягко произносит адвокат, берет Нурланна под руку и увлекает его к барьеру пустующей раздевалки. — Аналогичное дело, профессор, если вам будет благоугодно...

На барьере лежит знакомый бювар и знакомая авторучка. Нурланн берет из бювара листок с текстом, пробегает его глазами и смотрит на адвоката. Тот легонько пожимает плечами.

— Я только заверяю подпись, и больше ничего. Я целыми днями хожу по городу и заверяю подписи.

Тогда Нурланн поворачивается к директору.

— Господин классный наставник, — говорит он. — Поймите, я не хочу вмешиваться в ваши дела. Ведь вы не религиозный маньяк, вы просвещенный человек. Во-первых, вот это, — он трясет листком, —

сплошное вранье. Вы никогда не были добрым наставником юношества, вы были аспид суций, вы были дракон, вы были семь казней египетских для нас, несчастных и нечестивых. И правильно! Только так с нами и можно было! Либо вы нас, либо мы вас. Почему вы этого теперь стыдитесь? И потом. Ну, пусть Страшный Суд. Неужели вы все-таки верите, будто на Страшном Суде эта бумажка, эта закорючка, которую вы у меня просите, может что-нибудь изменить!

Адвокат торопливо вмешивается:

— Этот вопрос на самом деле очень и очень сложен...

Но директор перебивает его. Голова его трясется, и усы обвисают, как мокрые, и старческие глаза слезятся.

— Молодой человек, — говорит он Нурланну. — Пройдет время, и вы тоже состаритесь. Когда вы состаритесь, вам придет пора умирать. А тогда вы обнаружите, что на очень многие вещи вы смотрите совсем иначе, чем сейчас, когда вы здоровы, энергичны и вас ждут великие дела. И не приведи вам бог ждать конца своего в такую страшную годину, как наша.

— Ты победил, галилеянин, — произносит Нурланн и берет за авторучку.

В актовом зале гимназии огромные окна распахнуты настежь, половина зала залита водой. С окон, с потолка, с люстр свешиваются пучки разноцветных нитей, и поэтому зал несколько напоминает подводную пещеру. Стулья стоят в полном беспорядке, и так же как попало и где попало расселись на этих стульях три десятка девчонок и мальчишек в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет. Все они голоногие и голорукие, у многих длинные волосы схвачены белой ленточкой через лоб, у некоторых на безрукавках с правой стороны нашит черный силуэт бабочки, не сразу понимаешь, что это очертание Тучи, как она видится сверху.

Нурланн стоит на кафедре, все глаза устремлены на него. Одни смотрят со спокойным ожиданием, другие — с явным интересом, третьи с неприязнью, а некоторые с таким выражением, будто ждут, чтобы он поскорее отговорил и ушел и можно было бы заняться более важными делами. Циприан и Ирма сидят в сторонке у стены.

Нурланн с непринужденностью человека, привыкшего к публичным выступлениям, говорит:

— Как вам, может быть, известно, я и сам четверть века назад учился в этой гимназии. В этом зале и с этой кафедры я сделал свой первый в жизни научный доклад. Он назывался «О чувствительности рогатой гадюки к изменению среды обитания». Вторжение большой науки в мир моих одноклассников имело единственное последствие:

преподавательницу зоологии с той поры наградили кличкой Рогатая Гадюка. Должен сказать, что это довольно обычное преломление достижений науки в сознании широких масс.

Пауза. Две-три улыбки. Ну что ж, и это не так уж плохо. Правда, Ирма, кажется, недовольна.

— То было хорошее время. Единственное, что нам тогда угрожало, — это семестровая контрольная по латыни. Сейчас, к сожалению, наше ближайшее будущее безоблачным не назовешь. Туча...

Его прерывает смех. Он нахмуривается.

— Я не собирался каламбурить. Ничего смешного тут нет. Город охвачен паникой, многие из ваших родителей испуганы до такой степени, что ждут Страшного Суда. Город на военном положении. Готовится эвакуация. Для этого есть кое-какие основания, однако положение совсем не так плохо, как это вам, может быть, представляется. Что такое на самом деле Туча? Представьте себе...

Посредине зала воздвигается толстенький подросток с прекрасными синими глазами.

— Господин профессор, — говорит он. — Про Тучу мы все знаем. Не надо про Тучу.

— Вот как? — Нурланн прищуривается на него. — И что же вы знаете про Тучу?

Вопрос этот повисает в воздухе. Его пропускают мимо ушей.

— Меня зовут Миккель, — объявляет толстенький подросток. — Разрешите задать вопрос.

Нурланн пожимает плечами.

— Задавай.

— Что такое, по-вашему, прогресс?

— При чем здесь прогресс? — с недоумением и раздражением спрашивает Нурланн.

— Одну минуту, — громко произносит Циприан и встает. — Господин Нурланн, разрешите, я объясню. Мы бы не хотели сейчас затрагивать частные вопросы. Только общие. Самые общие. Мы обращаемся к вам не как к физику, а как к представителю авторитетной социальной группы. Мы многого не понимаем, и мы хотели бы узнать, что думают сильные мира сего.

— Послушайте, — говорит Нурланн. — Каждый должен заниматься своим делом. Если вам хочется знать, что такое прогресс, обратитесь к социологу, к философу... При чем здесь я?

— Социолога мы уже спрашивали, — терпеливо говорит Циприан. — Мы его поняли так, что никто толком не знает, что такое прогресс. Вернее, существуют разные мнения...

— Вот мы и хотим знать ваше мнение по этому поводу, — подхватывает Миккель. — Только мнение, больше ничего.

Некоторое время Нурланн смотрит на него, затем говорит:

— Хорошо, пожалуйста. Прогресс есть непрерывное увеличение знаний о мире, в котором мы живем.

— Любой ценой? — звонко спрашивает смуглая девочка, и в голосе ее звучит не то горечь, не то ненависть.

— При чем здесь цена? Конечно, существуют запреты на определенные приемы и методы; скажем, можно платить своей жизнью, но нельзя чужой, и так далее. Но, вообще говоря, прогресс — штука жестокая, и надо быть готовым платить за него, сколько потребуется.

— Значит, может быть безнравственный прогресс? — Это тощая девочка прямо перед Нурланном.

— Не может, но бывает, — парирует Нурланн. — Прогресс, повторяю, — это штука жестокая.

Встает Миккель.

— Ваш прогресс — это прогресс науки. А человек?

— Это все связано. Прогресс науки — прогресс общества. Прогресс общества — прогресс человека.

— Вы верите в то, что говорите? — осведомляется Миккель. — Это же несерьезно.

— Почему несерьезно? — изумляется Нурланн.

— Потому что прогресс науки есть определенно. Прогресс общества? Возможно. А уж прогресса человека — точно нет.

Нурланн слегка сбит с толку.

— Н-ну... Это, наверное, все же не так... Есть все же разница между нами и...

Его перебивают.

— Какими вы бы хотели видеть нас в будущем?

Нурланн совсем теряется и поэтому ожесточается:

— Вас? В будущем? С какой стати я должен по этому поводу что-либо хотеть?

Все смеются.

— В самом деле, — говорит Нурланн, несколько приободрившись. — Станный вопрос. Но я догадываюсь, что вы имеете в виду. Так вот, я хотел бы, чтобы вы летали к звездам и держались подальше от наркотиков.

Пауза. Все ждут, что он скажет дальше. Нурланн сам ощущает острую недостаточность своего ответа, но он и впрямь не знает, что сказать.

— И это все? — спрашивает тощенькая девочка.

Нурланн пожимает плечами. По залу пробегает шум. Ребята переглядываются, вполголоса обмениваются репликами.

Поднимается Циприан.

— Разрешите мне. Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается теми же темпами, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов за ненужностью. Из сферы обслуживания тоже. Все сыты, никто друг друга не топчет, никто друг другу не мешает..., и никто никому не нужен. Есть, конечно, миллион человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых... Ну, и летающих к звездам тысяч сто. Но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо, как вы полагаете?

— Не знаю, — говорит Нурланн сердито. — Это и не хорошо и не плохо. Это либо возможно, либо невозможно. Нелепо ставить отметки социологическим законам. Хорош или плох второй закон Ньютона? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов — это хорошо или плохо?

— Наверное, я неправильно выразился, — вежливо отвечает Циприан. — Я хотел спросить: нравится ли вам лично такое состояние общества? Или вот вопрос еще более общий: какое состояние общества представляется лично вам наиболее приемлемым?

— Боюсь, я разочарую вас, — высокомерно произносит Нурланн. — Меня лично вполне устраивает нынешнее состояние общества.

Смуглая девочка яростно говорит:

— Конечно, ведь вас устраивает, что можно схватить человека, сунуть его в каменный мешок и вытягивать из него все, пока он не умрет!

Нурланн пожимает плечами.

— Ну, это никому не может нравиться. Я понимаю, вы молоды, вам хочется разрушить старый мир и на его костях построить новый. Однако имейте в виду, это очень старая идея, и пока она еще ни разу не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает особенное желание беспощадно разрушить, — например, тайная полиция, — особенно легко приспособливается к разрушению, жестокости, беспощадности, становится необходимым и непременно сохраняется, делается хозяином в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей.

— Боюсь, вы нас неправильно понимаете, господин профессор, — возражает Миккель. — Мы вовсе не собираемся разрушать старый

мир. Мы собираемся строить новый. Только строить! Ничего не разрушать, только строить.

— За чей счет? — насмешливо спрашивает Нурланн.

— Этот вопрос не имеет смысла для нас. За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды... за счет звезд.

— В точности как все, кто был до вас, — говорит Нурланн.

— Нет, потому что они вытаптывали траву, рассеивали облака, останавливали воду... Вы меня поняли буквально, а это лишь аллегория.

— Ну что ж, валяйте, стройте, — говорит Нурланн. — Не забывайте только, что старые миры не любят, когда кто-то строит новые. Они сопротивляются. Они норовят помешать.

— Нынешний старый мир, — загадочно произносит Циприан, — нам мешать не станет. Ему, видите ли, не до нас. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше, — говорит утомленно Нурланн. — Очень рад, что у вас все так удачно складывается. А сейчас я хотел бы уточнить относительно прогресса...

Но Миккель прерывает его:

— Видите ли, господин профессор, я не думаю, чтобы это было нужно. Мы уже составили представление. Мы хотели познакомиться с современным крупным ученым, и мы познакомились. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо.

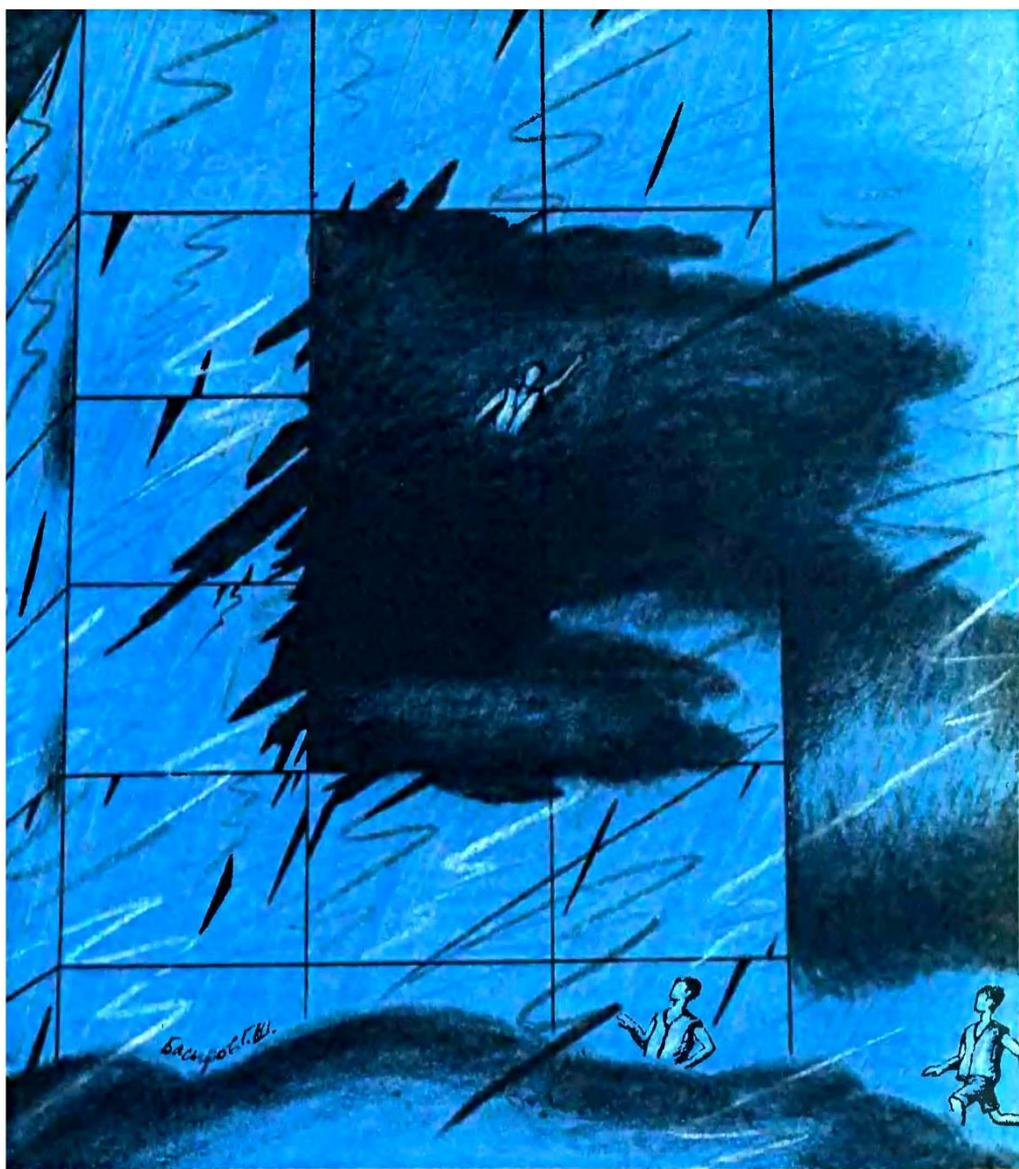
Раздается гомон: «Спасибо... Спасибо, господин Нурланн...», зал понемногу пустеет, а Нурланн стоит на кафедре, стиснув ее края изо всех сил, и чувствует себя болваном, и знает, что красен и что вид являет собой растерянный и жалкий.

Перспект между триумфальной аркой и черной стеной Тучи пуст. На тротуарах и на мостовой огромное количество брошенных зонтиков — это все, что осталось от эвакуированных. Три «корсара» в боевой готовности выстроены шеренгой под аркой, пространство вокруг арки оцеплено солдатами в плащ-накидках, а за оцеплением волнуются толпы Агнцев Страшного Суда в клетчатых балахонах.

Дождь не очень сильный, и с вершины триумфальной арки черная стена Тучи видна вполне отчетливо.

На часах без двух минут шесть.

Нурланн смотрит на Тучу в бинокль. Ассистент застыл на корточках у приборов. В нескольких шагах от него стоит, расставив ноги и перекатываясь с носка на пятку, командир дивизиона. Рядом с ним радист с микрофоном у рта.



— Синхронизации хорошей не получится, — с улыбочкой сообщает ассистент.

— Это несущественно, — отзывается Нурланн сквозь зубы.

— Готовность шестьдесят, — бросает командир дивизиона.

— Готовность пятьдесят девять, — бормочет в микрофон радист.

В этот момент Нурланн вдруг обнаруживает в поле зрения бинокля две человеческие фигурки.

— Что за черт! — говорит он громко. — Там люди!

— Где? — Командир дивизиона утыкается лицом в нарамник стереоприцела.

— Это дети, — говорит Нурланн сердито. — Отмените стрельбу.

В поле зрения его бинокля отчетливо видны двое ребят, голоногих и голоруких, они идут к Туче, причем один оживленно размахивает руками, словно что-то рассказывает.

— Где вы кого видите? — рявкает командир.

— Да вон же, у самой Тучи, посередине проспекта!

— Нет там никого! Пусто!

— Никого нет, профессор, — подтверждает ассистент.

Нурланн дико глядит на него, потом на командира.

— Отменить стрельбу! — хрипло кричит он и бросается к лестнице. Это железная винтовая лестница в одной из опор арки, в мрачном каменном колодце с осклизлыми стенами. Нурланн сыплется вниз по ступенькам, судорожно хватаясь то за ржавые перила, то за сырые плиты стен. Сверху, наклонившись в колодец, командир дивизиона орет ему вслед:

— Еще чего — отменить! Надрался, понимаешь, до чертиков и еще командует...

Нурланн бросается в лимузин, машина с диким ревом устремляется в пустой каньон проспекта, расшвыривая зонтики. Он уже простым глазом видит двух подростков на фоне черной стены, и тут...

Багровым светом озаряются стены домов, и над самой крышей лимузина, над самой головой Нурланна с раздирающим скрежетом и воем проносятся к черной стене огненные шары ракетных снарядов. Нурланн инстинктивно бьет по тормозам, машину несколько раз поворачивает по мокрому асфальту, и, когда Нурланн на дрожащих ногах выбирается из-за руля, он видит впереди, насколько хватает глаз, абсолютно пустой, абсолютно сухой, слегка дымящийся проспект, и нет больше ни черной стены, ни детей.

Шепча молитву, Нурланн долго смотрит на то место, где только что были дети, а тем временем, прямо у него на глазах, справа, слева, сверху, словно беззвучная черная лавина, заливают открывшуюся прореху черная стена. В этот момент он окончательно приходит в себя. Лавина звуков обрушивается на него: ужасные вопли, свист, звон разлетающихся стекол, выстрел, другой... Он оборачивается.

На позиции «корсаров» медленно кипит людская каша — Агнцы Страшного Суда, прорвав оцепление, лезут на «корсары», ломая все, что им под силу...

— Никого там не было! — гремит Брун. Он стоит посередине номера Нурланна, засунув руки за брючный ремень, а Нурланн, обхватив голову руками, скрючился в кресле. — Это мираж! Галлюцинация! Она обморочила тебя, она же морочит людей, это все знают.

— Зачем? — спрашивает Нурланн, не поднимая головы.

— Откуда я знаю — зачем? Мы здесь полгода бьемся как рыба об лед и ничего не узнали. Не хотела, чтобы ты в нее палил, вот и обморочила.

— Господи, — вздыхает Нурланн. — Взрослый же человек...

Он берет бутылку и разливает по стаканам.

— Да, взрослый! — рявкает Брун. — А вот ты — младенец. Со своим детским лепетом про аэрозольные образования... Младенец ты, девятнадцатый век ты, Вольтер—Монтескье, рационалист безмозглый!

Брун опрокидывает свой стакан, подтаскивает кресло и садится напротив Нурланна.

— Слушай, — говорит он. — Ты же сегодня был в гимназии. Ты видел здешних детей. Ты где-нибудь когда-нибудь еще видел таких детей?

Нурланн отнимает ладони от головы, выпрямляется и смотрит на Бруна. В глазах его вспыхивает интерес.

— Ты что имеешь в виду? — спрашивает он осторожно.

— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Это нашествие! Вот что ты попытайся понять. Ну, не понять, так хотя бы взять к рассмотрению как некую гипотезу. Нашествие! Только идет не марсианин и не мифический Антихрист, а кое-что вполне реальное. Будущее идет на нас. Бу-ду-ще-е! И если мы не сумеем принять немедленные меры, нас сотрут в порошок. Нам с ними не справиться, потому что они впереди нас на какие-то чертовы века!

— Ты... вот что, — произносит Нурланн встревоженно. — Ты давай-ка успокойся. Налить тебе еще? — Не дожидаясь согласия, он разливает бренди. — Ты, брат, начал меня утешать, а теперь что-то сам уж очень возбудился.

— В том-то и трагедия, — произносит Брун, мучительно сдерживаясь. — Нам, кто этим занимается, все кажется очевидным, а объяснить никому ничего невозможно. И понятно, почему не верят. Официальную бумагу напишешь, перечитаешь — нет, нельзя докладывать, бред. Роман, а не доклад...

Тут дверь распахивается, и в номер без стука входит Хансен.

— Проходи, — бросает он кому-то через плечо, но никто больше не появляется, а Хансен с решительным видом подступает к Бруну и останавливается над ним.

— Мой сын рассказывает мне о твоей деятельности странные вещи, — говорит он. — Как прикажешь это понимать?

— Что там ещестряслось? — раздраженно-устало произносит Брун, не глядя на него.

— Твои громилы хватают детей, бросают их в твои застенки и там что-то у них выпытывают. Тебе известно об этом?

— Чушь. Болтовня.

— Минуточку! — говорит Хансен. — У моего сына много недостатков, но он никогда не врет. Миккель! — обращается он в пустоту рядом с собою. — Повтори господам то, что ты рассказал мне.

Наступает тишина. Брун пытается что-то сказать, но Хансен орет на него:

— Заткнитесь! Извольте не перебивать!

И снова тишина. Слышен только шум дождя за окном. На лице Нурланна явственно написано: в этом мире все сошли с ума. У Бруна лицо каменное, он смотрит в угол без всякого выражения.

— Так, — говорит Хансен. — Что вы можете на это сказать?

— Ничего, — угрюмо говорит Брун.

— Но я требую ответа! — возвышает голос Хансен. — Если вы ничего не знаете об этом, извольте навести справки! Мальчик должен быть выпущен на свободу немедленно! Вы же слышали, он может умереть в любую минуту. Его нельзя держать под замком! — Он обращается к Нурланну. — Ты представляешь, Нурланн? Твою Ирму подстерегают вечером в темном переулке, хватают, насильно увозят...

И тут до Нурланна доходит.

— Послушай, Брун, — говорит он встревоженно, — это же правда. Я своими глазами видел, как схватили мальчишку. Да я тебе рассказывал — разбили мне фару, дали по печени... а мальчишку, значит, увезли?

— Идиоты, — говорит Брун сквозь стиснутые зубы. — Боже мой, какие болваны. Слепые, безмозглые кретины! Ни черта не понимают. Жалеют их. Это надо же — сопли пораспустили! Ну еще бы — они же такие умненькие, такие чистенькие, такие юные цветочки! А это враг! Понимаете? Враг жестокий, непонятный, беспощадный. Это конец нашего мира! Они обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека, для нас с вами, уже не останется. Вы думаете, если они цитируют Шпенглера и Гегеля, то это — о! А они смотрят на вас и видят кучу дерьма. Им вас не жалко, потому что вы и по Гегелю — дерьмо, и по Шпенглеру вы — дерьмо. Дерьмо по определению. И они возьмут грязную тряпку и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей

философии смахнут вас в мусорное ведро и забудут о том, что вы были...

Брун являет собой зрелище странное и неожиданное. Он волнуется, губы его подергиваются, от лица отлила кровь, он даже задыхается. Он явно верит в то, что говорит, в глазах его ужасом стынет видение страшного мира.

— Подожди... — бормочет Нурланн потерянно. — Дети-то здесь при чем?

— Да при том, что мы ничего не знаем! А они знают все! Они шляются в Тучу и обратно, как в собственный сортир, они единственные, кто знает все. Может быть, они и не дети больше. Я должен знать, кто на нас идет, и в соплях ваших я путаться не намерен!

— Вы негодяй, — холодно говорит Хансен. — Вы признаете, что схватили мальчика и пытаете его в своих грязных застенках?

Брун вскакивает так, что кресло из-под него улетает в угол номера.

— Тройной идиот! — шипит он, хватая Хансена за грудки. — Какие застенки? Какие пытки? Проклятое трепло! Пойдем, я покажу тебе застенки. Это недалеко, это не в подвале, это здесь, в министерском люксе...

Он волочит за собой по коридору вяло отбрыкивающегося Хансена, Нурланн еле поспевает за ними. У последней по коридору двери они останавливаются. Брун стучит нетерпеливо. Дверь приоткрывается, внимательный глаз появляется в щели, затем дверь распахивается.

Широко шагая, Брун проходит через холл, распахивает дверь в гостиную. В гостиной ковры, стол завален фруктами и блюдами со сладостями, беззвучно мерцает экран гигантского телевизора, валяются в беспорядке видеокассеты.

Номер огромен, в нем несколько комнат, одна роскошнее другой. Мальчика находят в последней комнате.

Он лежит под окном в луже воды, уткнувшись лицом в пол, голоногий и голорукий подросток в красной безрукавке и красных шортах. Тот самый.

Брун падает перед ним на колени, переворачивает на спину.

— Врача! — кричит он хрипло. — Скорее!

Поздняя ночь. В холле отеля, едва освещенном слабой лампочкой над конторкой портье, сидят и разговаривают сквозь плеск дождя за окнами Нурланн и швейцар.

— Что ваша ведьмочка, что мой сатаненок, — тихо говорит швейцар, — они одного поля ягоды. Что мы для них? Лужи под ногами.

Даже хуже. Воду они как раз любят. Дай им волю, они бы из воды и не вылезали. Пыль мы для них, деревяшки гнилые...

— Ну зачем же так, — говорит Нурланн. — Мне ваш Циприан очень понравился, замечательный парнишка.

— Да? — Швейцар как бы приободряется. — А что, может, еще и породнимся... если так.

Оба усмеваются, но как-то невесело.

— Уж нас-то они не спросят, — говорит швейцар, — будьте покойны. Главное, никак я не пойму, лежит у меня к ним сердце или нет. Иногда прямо разорвал бы — до того ненавижу. А другой раз так жалко, так жалко их, ей-богу, слезы из глаз... Смотрю я на него и думаю: да он ли это? Мой ли это сын, моя ли кровь? Или, может, он уже и не человек вовсе? — Он наклоняется к Нурланну и понижает голос. — Говорят же, что ходят они в Тучу эту и обратно. Туда и обратно. Как хотят. Вот вы рассказываете: утром... Они же в Тучу шли! И вы не сомневайтесь, были они там, были! Офицеры — дураки, что они понижают? Слепые они. Это — таинство, так люди говорят. Это не каждому дано увидеть. Вот вам дано. Уж я не знаю, счастье это ваше или беда...

— Да уж какое счастье, — произносит Нурланн, кривя лицо. — Получается, что я их убил...

— Ну что ж, — говорит швейцар. — Значит, судьба ваша такая. Может быть, и вы. Только стоит ли огорчаться по этому поводу? Я не знаю. Убить-то вы, может, и убили, а вот кого? — Он совсем прикидывается к уху Нурланна. — Знаете, что люди говорят? Детишки-то эти... в Тучу входят и тут же сгорают. А выходят оттуда уже не они. Обличьем похожи, но не они. Призраки выходят. Мороки. А потом смотришь ты на него и думаешь: да сын ли он мой? Моя ли это кровь?

— Призраки, мороки... — бормочет Нурланн, уставясь перед собой. — Это все нечистая наша совесть. Убиваем мы их. Каждый день убиваем. И знаете почему? Не умеем мы с ними больше ничего делать. Только убивать и умеем. Всю жизнь мы только тем и занимались, что превращали их в таких, как мы. А теперь они отказываются превращаться, и мы стали их убивать.

Маленькому Нурланну не повезло с отцом. Отец был художником — огромный, громогласный, неумный и неопишимо эмоциональный человек. Он не желал слушать никаких оправданий, не терпел никаких объяснений и вообще ничего не понимал. Он не понимал шалостей. Он не понимал детских страхов. Он не понимал маленьких детских радостей. И в самых жутких кошмарах уже взрослого профессора Нурланна нависало вдруг над ним огромное, как туча, лицо. В нем все

было огромно: огромные выпученные глаза, огромные усы, огромные волосатые ноздри и огромные колышущиеся волосы вокруг всего этого. Огромная, испачканная красками рука протягивалась и хватала маленького человечка за ухо, и волокла мимо огромных стульев и столов в распахнувшуюся тьму огромного чулана, и швыряла его туда, и рушились сверху какие-то картонки, какая-то рухлядь, и гремел засов, и наступала тьма, в которой не было ничего, кроме плача и ужаса...

В конце проспекта Реформации (он же Дорога чистых душ), в сотне метров от черной стены Тучи, мокрый клетчатый проповедник гремит, потрясая руками, над толпой мокрых клетчатых Агнцев Страшного Суда, понурых и жалких. На другой стороне проспекта Нурланн, тоже мокрый и тоже жалкий, скрючившись, сидит на краешке роскошного дивана, брошенного поперек тротуара у подъезда покинутого дома.

— Город тот расположен четырехугольником! — гремит проповедник. — И длина его такая же, как и ширина... Стена его построена из ясписа, а город — чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены украшено всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолит, восьмое — вирилл, девятое — топаз, десятое — хризопрас, одиннадцатое — гиацит, двенадцатое — аметист... И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо светильник его — Агнец... Ворота его не будут запираются днем, а ночи там не будет вовсе... Среди улиц его... древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов...

Пока он говорит, от толпы Агнцев один за другим отделяются адепты, человек десять или двенадцать, они идут один за другим к стене Тучи. Им очень страшно, одного трясет, будто в лихорадке, у другого безумные глаза и губы, закушенные до крови, какая-то женщина плачет, прикрыв лицо ладонями, и спутник ведет ее под руку, сам белый как простыня.

— И принесут в него славу и честь народов! — ревет проповедник. — И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни! И ничего уже не будет проклятого! Прииди! Жаждающий пусть приходит и жаляющий пусть берет воду жизни даром...

Люди, идущие в Тучу, вдруг начинают петь. Сначала два жидких, неуверенных голоса, потом подхватывают третий и четвертый, и вот



уже они поют все, с каждым шагом все более исступленно и уверенно. Это — псалом, это крик отчаяния и надежды, это исступленная попытка задавить в себе животный страх неизвестности.

И они уходят в Тучу один за другим, и один за другим на полуслове замолкают голоса. И вот уже остается только один, поющий высоким козлетоном, какой-то калека, изо всех сил спешащий на костылях. Он погружается в тьму, голос его обрывается, и ничего больше не слышно, кроме плеска дождя.

Нурланн, вскочивший от ужаса, медленно опускается на край дивана и закрывает лицо руками.

Темнеет. Зажглись редкие фонари вдоль проспекта Реформации. Черная стена Тучи стала ближе. Туча и в самом деле ведет себя, как подкрадывающееся животное. Только что стоял чуть покосившийся фонарный столб с разбросанными под ним перевернутыми зонтиками, наполненными водой, и вдруг что-то неуловимо меняется, и уже нет ни фонаря, ни зонтиков, а черная стена еще на пяток метров ближе, и большая лиловая молния проходит по ней наискосок.

Нурланн сидит, где и прежде, на том же диване, глубоко засунув руки в проемы плаща, и смотрит на большую лужу, пузыристую от дождевых капель. В луже появляется пара ног в тяжелых армейских башмаках и пятнистых маскировочных штанинах.

— Господин профессор, — произносит прокуренный голос. — Вас ждут в штабе. Полковник просит вас явиться в штаб.

Нурланн поднимает глаза и видит перед собой молодцеватого воюку в берете набекрень, черноусого и чернобрового, с наглыми сержантскими глазами.

— Передайте полковнику, — с трудом ворочая губами, произносит Нурланн. — Здесь нужно поставить заслон. Люди уходят туда и сгорают. Дети уходят. Нужен заслон.

Вояка мельком взглядывает на Тучу и говорит:

— Мы имеем приказ не вмешиваться в эти дела.

— Заслон, — упрямо повторяет Нурланн. — Никого не пропускать!

— Прикажут — поставим, — бодро говорит вояка. — Только вряд ли прикажут. А вас ждет полковник. Пожалуйте в машину.

Нурланн некоторое время смотрит на него, затем говорит устало и злобно:

— Оставьте меня в покое.

И уже совсем ночью, озябший и измученный Нурланн слышит то ли сквозь дремоту, то ли сквозь бред и плеск дождя приближающийся странный разговор:

— Свадебные машины катят к церкви! — с издевательской торжественностью произносит ломкий юный баритон. — Это не может не тревожить!

— Мы научились критиковать религию! — в тон ему отзывается девчоночий голос. — Но не противопоставляем ей ничего своего, положительного. Критикуем обрядность, но не подкрепляем слово делом!

— Человеку нужен обряд! — с издевательским пафосом произносит третий голос, этакий ядовитый тенорок. — Обряд дает выход как положительным, так и отрицательным эмоциям!

И все трое говоривших, словно бы не выдержав, раздражаются хохотом. Этот хохот так заразителен (хотя ничего смешного, казалось бы, не сказано), что Нурланн, не в силах поднять тяжелые веки, сам улыбается в полусне.

— А вот папа сидит, — говорит девочка.

Нурланн наконец просыпается. Перед ним стоят трое подростков, все трое знакомые: дочка его Ирма, сын швейцара Циприан и синеглазый сын Хансена Миккель. Как всегда, они мокры, полны скрытой энергии и сам черт им не брат. Отблески лиловых молний от близкой Тучи то и дело выхватывают из мокрой тьмы их мокрые физиономии.

Нурланн с трудом встает.

— Это вы. Я ждал вас. Не смейте туда ходить.

— Отрекохом, — серьезно произносит Циприан. — Отрекохом от сатаны, от скверны.

— Я не шучу, Циприан, — говорит Нурланн.

— Но это же присно и во веки веков, — убеждающе произносит Миккель. — Во веки веков, профессор!

— Ребятки! — проникновенно говорит Нурланн. — Вы одурманены. Вы как мотыльки. Мотыльки летят на свет, а вы летите на тьму. А там — смерть. И хорошо еще, если моментальная... Слушайте, давайте уйдем отсюда, присядем где-нибудь, поговорим спокойно, рассудительно. Это же как липучка для мух... Я вам все объясню.

— Церковь, — серьезным голосом объявляет Миккель, — учитывая естественное стремление к прекрасному, издавна пыталась использовать красоту для религиозного воздействия на прихожан.

Это явное издевательство, но Нурланну не до свары.

— Хорошо, — говорит он. — Хорошо. Об этом мы тоже поговорим. Только пойдете отсюда! Вам хочется поиздеваться надо мной —

пожалуйста. Но сейчас я плохой оппонент, сейчас со мной неинтересно. Уйдемте отсюда, и я постараюсь соответствовать...

Циприан, подняв палец, важно произносит:

— Не все одинаково приемлемо в новых ритуалах. Но сложность работы не пугает подлинных энтузиастов.

— Папа, — говорит вдруг Ирма обыкновенным голосом. — Пойдем с нами. Это так просто.

И они, больше не взглянув на него, легким шагом идут дальше к Туче. Несколько мгновений он смотрит им вслед, а затем бросается, охваченный жаждой схватить, остановить, оттащить. И вдруг вселенная вокруг него взрывается лиловым огнем.

Он видит зеленую равнину под ясным синим небом, и купы деревьев, и какую-то старую полуразвалившуюся часовню, замшелую и опутанную плющом, и почему-то идет снег крупными белыми хлопьями. На фоне синего неба один за другим, подрагивая в каком-то странном ритме, проплывают: серьезный, сосредоточенный Циприан; задумчивая, очень хорошенькая Ирма; ехидно ухмыляющийся Миккель...

И какой-то вкрадчивый полужнакомый голос шепчет ему на ухо:

— Как ты думаешь, что это такое? Что ты видишь перед собой?

— Я вижу свою дочь.

— А еще что ты видишь? Расскажи, расскажи нам, это очень интересно.

— По-моему, она повзрослела... Красивая стала девушка.

— Рассказывай, рассказывай!

— Циприан... Хорошая пара.

Голос становится назойливым и крикливым.

— Говори! Говори, Нурланн! Что ты видишь? Говори!

Видение светлого мира исчезает, заволакивается тьмой, и в этой тьме возникает лицо Бруна, мокрое, свирепое, огромный орущий рот, раскачиваются в электрическом свете блестящие штыри антенн...

— Говори, Нурланн! Говори! Говори, скотина!

\* \* \*

Ранним утром в номер Нурланна врываются Лора и Хансен. Нурланн, измученный событиями прошлой ночи, спит одетый: как пришел накануне, как повалился на кушетку в чем был, так и заснул, словно в омут провалился.

Лора и Хансен набрасываются на него и ожесточенно трясут.

— Нурланн, боже мой, сделай что-нибудь! — стонет Лора. — Ирма ушла, оставила записку, что никогда не вернется... Боже, за что мне это? За какие грехи?

— Нурланн, надо что-то делать, — хрипит мучительно трезвый Хансен. — Дети ушли! Все! В городе не осталось ни одного ребенка. Да черт же тебя возьми, проснись же! Пьян ты, что ли?

Нурланн садится на кушетке. Он и в самом деле словно пьяный: его пошатывает, глаза не раскрываются, лицо опухло, волосы встрепаны и слиплись.

— Я боюсь, Нурланн, — ноет Лора. — Сделай что-нибудь! Я ничего не понимаю... Почему, за что?

— Сволочи! — хрипит Хансен, бегая по комнате. — Сманили детей! Но это им не пройдет. Хватит, кончилось мое терпение. Кончилось! Да поднимайся же ты, нашел время дрыхнуть!

— Ну хорошо, хорошо... — бормочет Нурланн, растирая лицо ладонями. — Сейчас. Дайте штаны надеть. Где здесь у меня штаны? А! Да что случилось-то, в самом деле? — Он грузно поднимается на ноги. — Что вы раскудахтались?

— Дети ушли из города! — орет Хансен. — Увели наших детей!

Когда пятьдесят лет назад детей уводили из города, это было так. Тянулась бесконечная серая колонна. Дети шли по серым размытым дорогам, шли спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли маленькие, беспомощные, непонимающие, шли плача, шли молча, шли оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры как бы без лиц — железные отсвечивающие каски, руки, затянутые в черные перчатки, лежали на автоматах, и дождь лил на вороненую сталь, и лаяли иноземные команды, и лаяли мокрые иноземные псы...

— Чепуха! — говорит Нурланн, трясая головой и зажмуриваясь. — Это совсем не то...

— Да очнись ты, черт тебя подери! — орет Хансен. — Их Туча заманила! Туча их сожрала, ты понимаешь?

— Погоди, — говорит Нурланн. — Надо без паники. Погоди.

— У тебя оружие есть? — спрашивает Хансен. — Пистолет какой-нибудь, автомат... Хоть что-нибудь?

— Какое оружие, дурак, — огрызается Нурланн. — При чем здесь оружие?

Лимузин Нурланна с трудом пробирается между брошенными как попало многочисленными автомобилями. За рулем Нурланн, рядом с ним истерически рыдающая, вся перемазанная расплывшейся косметикой Лора, на заднем сиденье озверелый Хансен.

Дальше ехать невозможно, и все они выбираются наружу. Кажется, весь город собрался здесь, плотно закупорив проспект Реформации, он же Дорога чистых душ. Тысячи людей, мокрых, жалких, растерянных, озлобленных, недоумевающих, плачущих, кричащих, с закаченными в обмороке глазами, оскаленных. Утонувшие в толпе автомобили — роскошные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы, автокран, на стреле которого сидят несколько человек. И льет дождь. Да такой, какого Нурланн не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что бывают такие дожди, — тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер несет его косо, прямо в лица, обращенные к еле видной черноте впереди, к мутным медленным лиловым вспышкам.

Толпа кричит, плачет, стонет, угрожает:

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господи?

— Идиоты! Слюнтяи! Давным-давно надо было их за ухо — и вон из города! Говорили же умные люди...

— В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, босяками ходили, лишь бы их одеть-обуть...

— Сим, меня сейчас задавят! Сим, задыхаюсь! Ох, Сим...

— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня дочка там!

— Они давно собирались, я видела, да боязно было спрашивать...

— Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

— Да что же это, господа? Это же безумие какое-то! Надо же что-то делать!

— Да я его в жизни пальцем не тронула! Я видела, как вы своего ремнем гоняли. А у нас в доме такого и в заводе не было.

— В кр-р-ровь! Зубами рвать буду!

— Да-а, видно, совсем мы дерьмом стали, если родные дети от нас в эту Тучу ушли... Да брось ты, сами они ушли, никто их не притягивал...

— Муничек мой! Муничка!

— Надо телеграмму господину президенту! Десять тысяч подписей — это вам не шутка!

— Это мои дети, господин хороший, я их породил, я ими и распоряжаться буду, как пожелаю. Извольте их мне вернуть!

И тут раздался Голос. Он как шелестящий гром. Он идет со всех сторон сразу, и он сразу покрывает все остальные звуки. Он раздается как бы в мозгу у Нурланна, но тут же замирает и затихает вся толпа. Голос спокоен и даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышится в нем, безмерная снисходительность, будто говорит кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорит через плечо, оторвавшись на минутку от важных забот ради этой раздражившей его, наконец, пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать, — произносит Голос. — Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственной воле, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот, не одурманивал и не затягивал. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны.

Пока Голос говорит, дождь затихает, а потом прекращается вовсе, и черная стена Тучи, полосуемая медлительными молниями, становится видна совершенно отчетливо. И неподвижно стоит перед нею толпа. Люди словно боятся пошевелиться.

— Вы очень любите подражать своим предкам, — продолжает Голос, — и полагаете это важным человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они подражать вам. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, скучными обывателями, рабами, конформистами, не хотят они, чтобы из них сделали преступников против Человечества, не хотят ваших семей и вашего государства. Поглядите на себя! Вы родили их на свет и калечили их по образу своему и подобию. Подумайте об этом. А теперь — уходите.

Толпа остается неподвижной. Может быть, она пытается думать. А у Нурланна в мозгу вспыхивают только отдельные странные и страшные картинки — собственные воспоминания вперемежку с виденным в кинохронике:

...огромное лицо отца и огромная рука его, тянущаяся с угрозой и злобной яростью...

...кучки наркоманов под мостом, жуткие морды вместо лиц, шприц вонзается в бедро прямо сквозь джинсы...

...дряхлый трясущийся Гитлер вручает железный крест мальчишке-смертнику, ласково треплет его по щечке...

...несметные толпы подростков, бессмысленно усеявших пустырь, словно огромная стая ворон на помойке...

...и подростки-фанаты, с ревом громящие стадион...

...и крепенькие румяные подростки в полувоенной форме, в золотых рубашках до колен, подпоясанные армейскими ремнями с тяжелыми пряжками, с массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами — эмблема на пряжке, эмблема на дубинке, эмблема на румяной морде — и значки, значки, значки...

...и сам Нурланн омерзительно, потеряв контроль над собой, орет на молодую еще Лору, а она орет на него, похожая на отвратительно красивую мегеру, и маленькая Ирма с ужасом и недоумением смотрит на них, забившись в угол с большой куклой...

...и какой-то молодой отец с кружкой пива у ларька — хлебает сам и дает отхлебнуть сынишке, который держится за его брючину...

— Ну, что же вы стоите? — произносит Голос. — Пошли вон. Уходите!

И черная стена Тучи толчком продвигается на толпу, разом прыгнув метров на пятнадцать.

— Уходите! Уходите совсем из города! Города больше не будет! Убирайтесь, пока целы!

И снова Туча делает огромный шаг на толпу.

Город прорвало как нарыв.

Впереди, по обыкновению, драпают избранные, драпает магистратура и полиция, драпает промышленность и торговля, драпают суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф — все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов, во вспышках фар спецмашин — рев стоит на проспекте, а гигантский фурункул все выдавливается и выдавлиывается, и когда схлынул гной, тогда потекла кровь — собственно народ, на огромных автобусах, на битком набитых грузовиках, в навьюченных «фольксвагенах», «тойотах» и «фордиках», на мотоциклах, на велосипедах, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставив позади свои дома, свои газоны, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее.

За народом отступает армия. Идут вездеходы с офицерами, бронетранспортеры, огромные машины полевых штабов, полевые кухни, зачехленные «корсары» ... Последними идут танки, с башнями, развернутыми назад, в сторону наступающей Тучи.

И гремит над этим громадным бегством голос проповедника:

— ...Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой... И плодов, угодных для души твоей, не

стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, — ты уже не найдешь его... И голоса играющих на гусях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в тебе найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле...

К рассвету город опустел.

Утро хмурое, но дождь прекратился. По пустому проспекту Реформации мимо мрачных домов с мертвыми окнами бредет нога за ногу Нурланн, растерзанный, небритый, взлохмаченный, с отрешенным лицом, с глазами, как бы устремленными внутрь.

На асфальте проспекта, на тротуарах разбросано затоптанное тряпье, валяются раздавленные чемоданы, колесо грузовика лежит посередине мостовой, и тут же неподалеку — сам грузовик, перекошенный, с распахнутой дверцей, уткнувшийся в фонарный столб; и опрокинутая детская коляска; и остатки стойбища Агнцев, а на углу переулка и какой-то Агнец лежит, клетчатый, то ли мертвый, то ли смертельно пьяный. Нурланн равнодушно проходит мимо.

Потом навстречу ему с садовой скамейки скверика поднимается взъерошенный Хансен, в руке у него наполовину опорожненная бутылка, глаза осоловелые, его шатает, и поэтому свободной рукой он сразу же вцепляется в локоть Нурланна.

— Все убежали... — доверительно сообщает он. — То есть все удрали. До последнего человека. Пустой город. Представляешь?

Нурланн ничего не отвечает. Похоже, он просто не слышит Хансена. А тот продолжает на ходу:

— А я вот решил остаться и посмотреть все-таки. Ведь это будущее, Нурланн! Ведь мы же все его ждали. Мы все на него работали. И что же теперь? Удирать? Глупо! Пусть оно нас гонит. Ну и что? А мы не пойдём. Верно, Нурланн?

Нурланн молчит. Хансен на ходу подкрепляется из бутылки.

— Очень страшно, — признается он. — Просто мороз по коже — до чего страшно. Понимаешь, Нурланн? Будущее создается тобой, но не для тебя. Вот я ненавижу старый мир. Глупость ненавижу, равнодушные, невежество, фашизм. Но с другой-то стороны — что я без всего этого? Это же хлеб мой и вода моя! Новый мир — строгий, справедливый, умный, стерильно чистый... Ведь я ему не нужен, я в нем — нуль!

Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать там будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, смерть... И выпить мне там не дадут, ты понимаешь, Нурланн, они там не пьют, совсем!

На каком-то перекрестке к ним присоединяется швейцар отеля. «Фольксваген» его поломался, стоит с задраным капотом. Швейцар, потный, злой, в форменной своей фуражке и без пиджака, в жилетке, ругательски ругается:

— Да пропади они все пропадом! Сунул их в какой-то автобус, и сразу на душе полегчало. Главное, я говорю снохе: ну зачем тебе, дура, этот сервис? «Саксонский фарфор, саксонский фарфор, голубые мечи...» Светопреставление наступает, а ей голубые мечи, видите ли! Дал я ей коленом под задницу толстую... А вы как же, господа? Не страшно?

— Страшно, — говорит Хансен. Нурланн молчит.

— И мне страшно. А с другой-то стороны, ежели подумать, как следует, ведь от них не убежишь. Днем раньше, днем позже, а они тебя достанут. Мое меня не минует, вот что я вам скажу. И опять же: дети-то наши не испугались? Может, глядят сейчас на нас из-за этой стены черной и посмеиваются... А?

Они идут и идут, черная стена Тучи все ближе и ближе, сейчас она абсолютно черная, на ней нет даже молний, и пустыми окнами смотрит на них город, покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, — и от него идет пар.

Из бокового переулка выскакивает на большой скорости, едва не перевернувшись, желтая машина во всей своей красе — с фарами, мигалками и антеннами — и резко тормозит перед идущими. Из кабины выскакивает Брун, как всегда подтянутый, резкий, решительный.

— В чем дело? — спрашивает он свирепо. — Почему вы здесь?

— Идем туда, — важно отвечает швейцар.

— Куда — туда? Вы что — с ума сошли?

— Тебя не спросили, — неприязненно произносит Хансен. — Проезжай, чего встал?

Брун бешеными глазами оглядывает каждого из них по очереди.

— Предатели, — говорит он сквозь зубы. — Подонки.

Нурланн ни с того ни с сего вдруг широко улыбается.

— Бедный прекрасный утенок, — говорит он. — До чего же хлопотно тебе жить! Все суетишься, все бегаешь, совершаешь глупости, совершаешь жестокости, и все тебе кажется, что ты тормозишь будущее. А на самом деле ты тоже его строишь, тоже кладешь свои кирпичики. Пойдем с нами, Брун. Пришла пора расплачиваться.

— Идиоты! — шепчет Брун побелевшими губами, прыгает обратно в машину и с силой захлопывает за собой дверцу.

И вот они стоят перед черной стеной, все трое, и всем им страшно, а швейцар монотонно читает вполголоса:

— И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить... И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч... и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей... хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; еля же и вина не повреждай... и я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зеврями земными...

Черная стена надвигается и поглощает их.

Зеленая равнина под ясным синим небом распахнута перед ними. Все заросло высокой густой травой: неузнаваемые развалины с пустыми проемами бывших окон и дверей; груды железного хлама — сплюснутые ржавые кузова автомобилей, телевизоры с пустыми дырами вместо экранов, мотки спутанных ржавых тросов, бесформенные комки колючей проволоки между покосившимися гнилыми колыями, и тут же заплетенный плющом огромный танк, зарывшийся в траву хоботом пушки; клочья бумаги и раскисшие папки, и огромный том энциклопедии, страницы ее лениво шевелятся под ветерком. Прямо перед ними — полуразвалившаяся часовня, замшелая, опутанная плющом...

И над всем этим — ослепительно-синее небо, а над горизонтом медленно поднимается сплюснутый рефракцией румяный диск солнца. Стоит оглушительная, ошеломляющая тишина, и слышно, может быть, только, как глухо и неровно бьется сердце Нурланна.

И Нурланн начинает говорить, еле шевеля губами:

— Не надо жестокости. Милосердия прошу. Мы раздавлены. Нас больше нет. Наверное, мы заслужили это. Мы были глупы. Мы были высокомерны. Мы были жадны и нетерпеливы в своей жадности. Мы были жестоки. Не надо больше жестокости.

Пока он говорит, по сторонам от него, справа, слева, везде, из густой травы один за другим начинают подниматься люди. Ободранные, жалкие, грязные, мужчины небриты, женщины взлохмачены.

Поднявшись, они стоят неподвижно и слушают, и смотрят на Нурланна с надеждой и ожиданием.

— Мы поносили тебя, — продолжает Нурланн. — Мы восхваляли тебя. Мы унижали тебя. Мы мастерили тебя по образу своему и подобию. Мы распоряжались друг другом, мы приказывали, мы горланили и галдели, и пустословили от твоего имени. Мы творили мерзости от твоего имени и во имя твое. Все мы клялись умереть за будущее, но умирать норовили в прошлом. Нам и в голову не приходило, что суждено нам наконец встретиться с тобой лицом к лицу... И вот теперь, когда мы с тобой встретились, молю тебя об одном: не карай! Многие из достойных кары твоей не ведали, что творят. Они вообще не думали о тебе. Милосердия! Но если справедливость твоя все же требует наказания, то покарай меня. И если нужно покарать миллионы, тогда покарай меня одного миллионы раз.

Он замолкает. И тут же где-то в невообразимой дали возникает чистый и сильный звук трубы. И начинает идти снег. С чистого ясного неба, на котором ни облачка, медленно падают, кружась, крупные белые хлопья — на зеленую траву, на цветы, на развалины, на ржавое железо, на запрокинувшиеся грязные лица.

И новый звук возникает: глухой мерный топот копыт, и из снежной мглы, пронизанной солнцем, появляются, выплывают всадники.

Циприан, повзрослевший, с молодой русой бородкой. Он в белых парусиновых штанах, белая сорочка распахнута на груди, белая шелковая лента схватывает длинные волосы, босые ноги упираются в стремя, левой рукой он держит поводья, а правая уперта в бок. И конь под ним белый как снег.

Ирма Нурланн на рыжем коне, крепкая красивая девушка с цветком в зубах, в оранжевом рабочем комбинезоне, скачет, бросив поводья, отнеся правую руку в сторону, и на ладони у нее трепещет стеклянными крыльями большая зеленая стрекоза.

Миккель в черных трусах, голый до пояса и пунцово обгоревший на солнце, на вороном коне без седла и без уздечки, держится одной рукой за гриву, а в другой у него сверкающая золотом труба.

В неспешной рыси они проплывают мимо. Они не видят, может быть, даже и не замечают ободранных и грязных (многие встали на колени) людей.

Циприан скачет, задумавшись, подбородок его опущен на грудь, он всегда был серьезным мальчиком.

Ирма занята своей стрекозой — слегка повернув к ней лицо, словно бы помогает ей удерживаться на ладони.

У Миккеля же такой вид, будто он только что отмочил какую-то шуточку и вполне ею доволен. Он ехидно улыбается...

...и вдруг подносит трубу к губам и трубит — звонко, чисто и сильно.

Солнце уже высоко, и снег прекратился, и на горизонте из утреннего тумана возникают силуэты новых и новых всадников.

Будущее не собиралось карать. Будущее не собиралось миловать. Будущее просто шло своей дорогой.

## ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА

**Время действия:** наши дни, поздняя весна.

**Место действия:** крупный город, областной центр на юге нашей страны.

Двухкомнатная квартира писателя средней руки Феликса Александровича Снегирева. Обычный современный интерьер. Кабинет идеально прибран: все полированные поверхности сияют, книги на полках выстроены аккуратными рядами, кресла для гостей, полосатый диван — красивы и уютны, пол чист и блестит паркетом. Порядок и на рабочем столе: пишущая машинка зачехлена, массивная стеклянная пепельница сияет первозданной чистотой, рядом затейливая зажигалка и деревянный ящичек, наполовину заполненный каталожными карточками.

Два часа дня. За окном — серое дождливое небо.

Феликс — у телефона на журнальном столике под торшером. Это обыкновенной наружности человек лет пятидесяти, весьма обыкновенно одетый для выхода. На ногах у него стоптанные домашние шлепанцы.

— Наталья Петровна? — говорит он в трубку. — Здравствуй, Наташенька! Это я, Феликс... Ага, много лет, много зим... Да ничего, помаленьку. Слушай, Наташка, ты будешь сегодня на курсах?.. До какого часу? Ага... Это славно. Слушай, Наташка, я к тебе забегу около шести, есть у меня к тебе некое маленькое дельце... Хорошо? Ну, до встречи...

Он вешает трубку и устремляется в прихожую. Быстро переобувается в массивные ботинки на толстой подошве, натягивает плащ и нахлобучивает на голову бесформенный берет. Затем берет из-под вешалки огромную авоську, набитую пустыми бутылками из-под кефира, лимонада, «Фанты» и подсолнечного масла.

Слегка согнувшись под тяжестью стеклотары, выходит он на лестничную площадку за порогом своей квартиры и остолбенело останавливается.

Из дверей квартиры напротив выдвигаются два санитара с носилками, на которых распростерт бледный до зелени Константин Курдюков, сосед и шапочный знакомый Феликса, третьестепенный поэт городского масштаба. Увидев Феликса, он произносит:

— Феликс! Сам господь тебя послал мне, Феликс!..

Голос у него такой отчаянный, что санитары враз останавливаются. Феликс с участием наклоняется над ним.

— Что с тобой, Костя? Что случилось?

Мутные глаза Курдюкова то закатываются, то сходятся к переносице, испачканный рот вяло распущен.

— Спасай, Феликс! — сипит он. — Помираю! На коленях тебя молю... Только на тебя сейчас и надежда... Зойки нет, никого рядом нет...

— Слушаю, Костя, слушаю! — говорит Феликс. — Что надо сделать, говори...

— В институт! Поезжай в институт... Институт на Богородском шоссе — знаешь?.. Найди Мартынюка... Мартынюк Иван Давыдович... Запомни! Его там все знают... Председатель месткома... Скажи ему, что я отравился, ботулизм у меня... Помираю!.. Пусть даст хоть две-три капли, я точно знаю — у него есть... Пусть даст!

— Хорошо, хорошо! Мартынюк Иван Давыдович, две капли... А чего именно две капли? Он знает?

На лице у Кости появляется странная, неуместная какая-то улыбка.

— Скажи: мафуссалин! Он поймет...

Тут из Костиной квартиры выходит врач и напускается на санитаров:

— В чем дело? Чего стоите? А ну, давайте быстро! Быстро, я говорю!

Санитары пошли спускаться по лестнице, а Костя отчаянно кричит:

— Феликс! Я за тебя молиться буду!..

— Еду, еду! — кричит ему вслед Феликс. — Сейчас же еду!

Врач, воткнув незажженную «беломорину» в угол рта, стоит в ожидании лифта. Феликс испуганно спрашивает его:

— Неужели и вправду ботулизм?

Врач неопределенно пожимает плечами:

— Отравление. Сделаем анализы, станет ясно.

— Мартынюк Иван Давыдович, — произносит Феликс вслух и, когда врач взглядывает на него непонимающе, торопливо поясняет: — Нет, это я просто запоминаю. Мартынюк, председатель месткома... Мафуссалин...

Дверь лифта раскрывается, и они входят в кабину.

— А как вы полагаете, — спрашивает Феликс, — мафуссалин этот и от ботулизма поможет?

— Как вы сказали?

— Мафуссалин, по-моему... — произносит Феликс смущенно.

— Впервые слышу, — сухо говорит врач.

— Какое-нибудь новое средство, — предполагает Феликс.

Врач не возражает.

— Может быть, даже наинovelшее, — говорит Феликс. — Это, знаете ли, из того института, что на Богородском... Кстати, а куда вы моего Курдюкова сейчас повезете?

— Во Вторую городскую.

— А, это совсем рядом...

У неотложки они расстаются, и Феликс, гремя бутылками, бежит на середину улицы останавливать такси.

Выбравшись из машины, Феликс поудобнее прихватывает авоську и, крелясь под ее тяжестью, поднимается по широким бетонным ступенькам под широкий бетонный козырек институтского подъезда. Навалившись, он распахивает широкую стеклянную дверь и оказывается в обширном холле, залитом светом многочисленных ртутных трубок. В холле довольно много людей, все они стоят кучками и дружно курят. Феликс зацепляется авоськой за урну, бутылки лягают, и все взгляды устремляются на авоську. Ежась от неловкости, Феликс подходит к ближайшей группе и осведомляется, где ему найти Мартынюка, председателя месткома. Его оглядывают и показывают в потолок. Феликс идет к стойке гардероба и вручает гардеробщику свой плащ и берет. Пытается он всучить гардеробщику и свою авоську, но получает решительный отказ и осторожноенько ставит авоську в уголок.

На втором этаже он открывает дверь в одну из комнат и вступает в обширное светлое помещение, где имеет место масса химической посуды, мигают огоньки на пультах, змеятся зеленоватые кривые на экранах, а спиной к двери сидит человек в синем халате. Едва Феликс закрывает за собой дверь, как человек этот, не оборачиваясь, рявкает через плечо:

— В местком! В местком!

— Ивана Давыдовича можно? — осведомляется Феликс.

Человек поворачивается к нему лицом и встает. Он огромен и плечист. Могучая шея, всклокоченная пегая шевелюра, черные, близко посаженные глаза.

— Я сказал — в местком! С пяти до семи! А здесь у нас разговора не будет. Вам ясно?

— Я от Кости Курдюкова... От Константина Ильича.

Предместкома Мартынюк словно бы налетает с разбега на стену.

— От... Константина Ильича? А что такое?

— Он страшно отравился, понимаете, в чем дело? Есть подозрение на ботулизм. Он очень просил, прямо-таки умолял, чтобы вы прислали ему две-три капли мафуссалина...

— Чего-чего?

— Мафуссалина... Я так понял, что это какое-то новое лекарство... Или я неправильно запомнил? Ма-фус-са-лин...

Иван Давыдович Мартынюк обходит его и плотно прикрывает дверь.

— А кто вы, собственно, такой? — спрашивает он неприветливо.

— Я его сосед.

— В каком это смысле? У него же квартира...

— И у меня квартира. Живем дверь в дверь.

— Понятно. Кто вы такой — вот что я хочу понять.

— Феликс Снегирев. Феликс Александрович...

— Мне это имя ничего не говорит.

Феликс взвизгивает.

— А мне ваше имя, между прочим, тоже ничего не говорит! Однако я вот через весь город к вам сюда перся...

— Документ у вас есть какой-нибудь? Хоть что-нибудь...

— Конечно, нет! Зачем он вам? Вы что — милиция?

Иван Давыдович мрачно смотрит на Феликса.

— Ладно, — произносит он наконец. — Я сам этим займусь. Идите... Стойте! В какой он больнице?

— Во Второй городской.

— Чтоб его там... Действительно другой конец города. Ну ладно, идите. Я займусь.

— Благодарю вас, — ядовито говорит Феликс. — Вы меня просто разодолжили!

Но Иван Давыдович уже повернулся к нему спиной.

Внутренне клопоча, Феликс спускается в гардероб, облачается в плащ, напяливает перед зеркалом берет и поворачивается, чтобы идти, но тут тяжелая рука опускается ему на плечо. Феликс обмирает, но это всего лишь гардеробщик. Античным жестом он указывает в угол на проклятую авоську.

Феликс выходит на крыльцо, ставит авоську у ноги и достает сигарету. Повернувшись от ветра, чтобы закурить, он обмирает: за тяжелой прозрачной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо свое, пристально смотрит на него Иван Давыдович Мартынюк. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Народу в трамвае великое множество. Феликс сидит с авоськой на коленях, а пассажиры стоят стеной, и вдруг между телами образовывается просвет, и Феликс замечает, что в этот просвет пристально смотрят на него светлые выпуклые глаза. Лишь на секунду видит он эти глаза, клетчатую кепку-касбетку, клетчатый галстук между отворотами клетчатого пиджака, но тут трамвай со скрежетом притормаживает, тела смыкаются, и странный наблюдатель исчезает из виду. Некоторое время Феликс хмурится, пытаясь что-то сообразить, но тут между пассажирами вновь возникает просвет, и выясняется, что клетчатый наблюдатель мирно дремлет, сложив на животе руки. Средних лет мужчина, клетчатый пиджак, грязноватые белые брюки...

В зале дома культуры Феликс, расхаживая по краю сцены, разглагольствует перед читателями.

— ...С раннего детства меня, например, пичкали классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека ежечасно пичкать классической музыкой, то он к ней помаленьку привыкнет и смирится, и это будет прекрасно. И началось! Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума — нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы — на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей — нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению классической музыки имели бы КПД ну хотя бы как у паровоза, мы бы все сейчас были знатоками и ценителями. Ведь это же тысячи и тысячи часов классики по радио, тысячи и тысячи телепрограмм, миллионы пластинок! А что в результате? Сами видите, что в результате...

Под одобрительный шум в зале Феликс отходит к столику и берет очередную записку.

— «Были ли вы за границей?»

Смех в зале. Возглас: «Как в анкете!»

— Да, был. Один раз в Польше туристом. Два раза в Чехословакии с делегацией... Так. А что здесь? Гм... «Кто, по-вашему, больше боится смерти: смертные или бессмертные?»

В зале шум. Феликс пожимает плечами и говорит:

— Станный вопрос. Я на эту тему как-то не думал... Знаете, по моему, о бессмертии думают главным образом молодые, а мы, старики, больше думаем о смерти!

И тут он видит, как в середине зала воздвигается знакомая ему клетчатая фигура.



— А что думают о смерти бессмертные? — пронзительным фальцетом осведомляется клетчатая фигура.

Этим вопросом Феликс совершенно сбит с толку и несколько даже испуган. Он догадывается, что это неспроста, что есть в этой сцене некий непонятный ему подтекст, он чувствует, что лучше бы ему сейчас не отвечать, а если уж отвечать, то точно, в самое яблочко. Но как это сделать — он не знает, а поэтому бормочет, пытаясь то ли сострить, то ли отбрезаться:

— Поживем, знаете ли, увидим... Я, между прочим, пока еще не бессмертный. Мне трудно, знаете ли, о таких вещах судить...

Клетчатого уже не видно в зале, Феликс утирается платком и разворачивает следующую записку.

Покинув дом культуры, Феликс решает избавиться от проклятой авоськи с бутылками. Он пристраивается в небольшую очередь у ларька по приему стеклотары и стоит, глубоко задумавшись.

Вдруг поднимается визг, крики, очередь бросается врассыпную. Феликс очумело вертит головой, силясь понять, что происходит. И видит он: с пригорка прямо на него, набирая скорость, зловеще-

бесшумно катится гигантский МАЗ-самосвал с кузовом, полным строительного мусора. Судорожно подхватив авоську, Феликс отскакивает в сторону, а самосвал, промчавшись в двух шагах, с грохотом вламывается в ларек и останавливается. В кабине его никого нет.

Вокруг кричат, ругаются, воздевают руки.

— Где шофер?

— В гастроном пошел, разгильдяй!

— На тормоз! На тормоз надо ставить!

— Да что же это такое, граждане хорошие? Куда милиция смотрит?

— Где моя посуда? Посуда-то моя где? Он же мне всю посуду подавил!

— Спасибо скажи, что сам жив остался...

— Шофер! Эй, шофер! Куда завалился-то?

— Убирай свою телегу!

Выбравшийся из развалин ларька испуганный приемщик в грязном белом халате вскакивает на подножку и ожесточенно давит на сигнал.

Потряхивая головой, чтобы избавиться от пережитого потрясения, Феликс направляется на Курсы иностранных языков к знакомой своей, Наташе, до которой у него некое маленькое дельце.

По коридорам Курсов он идет свободно, как у себя дома, не раздеваясь и нисколько не стесняясь своих бутылок, раскланиваясь то с уборщицей, то с унылым пожилым курсантом, то с молодыми парнями, устанавливающими стремянку в простенке.

Он небрежно стучит в дверь с табличкой «Группа английского языка» и входит.

В пустом кабинетике за одним из канцелярских столов сидит Наташа, Наталья Петровна, она поднимает на Феликса глаза, и Феликс останавливается. Он ошарашен, у него даже лицо меняется. Когда-то у него была интрижка с этой женщиной, а потом они мирно охладели друг к другу и давно не виделись. Он явился к ней по делу, но теперь, снова увидев эту женщину, обо всем забыл.

Перед ним сидит строго одетая загадочная дама. Прекрасная Женщина с огромными сумрачными глазами ведьмы-чаровницы, с безукоризненно нежной кожей лица и лакомыми губами. Не спуская с нее глаз, Феликс осторожно ставит авоську на пол и, разведя руками, произносит:

— Ну, мать, нет слов!.. Сколько же мы это не виделись? — Он хлопает себя ладонью по лбу. — Ну что за идиот! Где только были мои глаза? Ну что за кретин, в самом деле! Как я мог позволить?

— Гуд ивнинг, май дарлинг, — довольно прохладно отзывается Наташа. — Ты только затем и явился, чтобы мне об этом сказать? Или заодно хотел еще сдать бутылки?

— Говори! — страстно шепчет Феликс, падая на стул напротив нее. — Говори еще! Все, что тебе хочется!

— Что это с тобой сегодня?

— Не знаю. Меня чуть не задавили. Но главное — я увидел тебя!

— А кого ты ожидал здесь увидеть?

— Я ожидал увидеть Наташку, Наталью Петровну, а увидел фею! Или ведьму! Прекрасную ведьму! Русалку!

— Златоуст, — говорит она ядовито, но с улыбкой. Ей приятно.

— Сегодня ты, конечно, занята, — произносит он деловито.

— А если нет?

— Тогда я веду тебя в «Кавказский»! Я угощаю тебя сациви! Я угощаю тебя хачапури! Мы будем пить коньяк и «Твиши»! И Павел Павлович лично присмотрит за всем...

— Ну, естественно, — говорит она. — Сдадим твои бутылки и гульнем. На все на три на двадцать.

Но тут Феликс и сам вспоминает, что сегодняшней вечер у него занят.

— Наточка, — говорит он. — А завтра? В «Поплавок», а? На плес, а? Как в старые добрые времена!..

— Сегодня в «Кавказский», завтра в «Поплавок» ... А послезавтра?

— Увы! — честно говорит он. — Сегодня не выйдет. Я забыл.

— И завтра не выйдет, — говорит она. — И послезавтра.

— Но почему?

— Потому что ушел кораблик. Видишь парус?

— Ты прекрасна, — произносит он, как бы не слушая, и пытается взять ее за руку. — Я был слепец. У тебя даже кожа светится.

— Старый ты козел, — отзывается она почти ласково. — Отдай руку.

— Но один-то поцелуй — можно? — воркует он, тщась дотянуться губами.

— Бог подаст, — говорит она, вырывая руку. — Перестань кривляться. И вообще уходи. Сейчас ко мне придут.

— Эхе-хе! — Он поднимается. — Не везет мне сегодня. Ну, а как ты вообще-то?

— Да как все. И вообще, и в частности.

— По-дурацки у нас с тобой получилось...

— Наоборот! Самым прекрасным образом.

— По-деловому, ты хочешь сказать?

— Да. По-деловому.

— А чего же тут прекрасного?

— Без последствий. Это ведь самое главное, диар Феликс, чтобы не было никаких последствий. Ну, иди, иди, не отсвечивай здесь...

Феликс понуро поворачивается к двери, берет авоську и вдруг спохватывается.

— Слушай, Наталья, — говорит он. — У меня же к тебе огромная просьба!

— Так бы и говорил с самого начала...

— Да нет, клянусь, я как тебя увидел — все из головы вылетело... Это я только сейчас вспомнил. У тебя на курсе есть такой Сеня... собственно, не Сеня, а Семен Семенович Долгополов...

— Ну, знаю я его. Лысый такой, из Гортранса... Очень тупой...

— Святые слова! Лысый, тупой и из Гортранса. И еще у него гипертония и зять-пьяница. А ему нужна справка об окончании ваших Курсов. Вот так нужна, у него от этого командировка зависит за бугор... Сделай ему зачет, ради Христа. Ты его уже два раза проваливала...

— Три.

— Три? Ну, значит, он мне наврал. Постеснялся. Да пожалей ты его, что тебе стоит? Он говорит, что ты его невзлюбила... А за что? Он жалкий, невредный человек... Ну, что ты так смотришь, как ледяная? Что он тебе сделал?

— Он мне надоел, — произносит Наташа со странным выражением.

— Так тем более! Сделай ему зачет, и пусть он идет себе на все четыре стороны... Отсвечивать здесь у тебя не будет... Пожалей!

— Хорошо, я подумаю.

— Ну, вот и прекрасно! Ты же добрая, я знаю...

— Пусть он ко мне зайдет завтра в это время.

— Не зайдет! — произносит Феликс, потрясая поднятым пальцем.

— Не зайдет, а приползет на карачках! И будет держать в зубах плитку «Золотого якоря»!

— Только не в зубах, пожалуйста, — очень серьезно возражает Наташа.

Вечереет. Феликс предпринимает еще одну попытку избавиться от посуды. Он встает в хвост очереди, голова которой уходит в недра какого-то подвала. Стоит некоторое время, закуривает, смотрит на часы. Затем, потоптавшись в нерешительности, обращается к соседу:

— Слушай, друг, не возьмешь ли мои? По пять копеек отдам.

Друг отзывается с мрачноватым юмором:

— А мои по четыре не возьмешь?

Феликс вздыхает и, постояв еще немного, покидает очередь.

Он вступает в сквер, тянущийся вдоль неширокой улицы, движение на которой перекрыто из-за дорожных работ. Тихая, совершенно пустынная улица с разрытой мостовой, с кучами булыжников, громящихся на тротуаре.

Феликс обнаруживает, что на правом его ботинке развязался шнурок. Он подходит к скамейке, опускает на землю авоську и ставит правую ногу на край скамейки, и вдруг авоська его словно бы взрывается — с лязгом и дребезгом.

Невесть откуда брошенный булыжник угодил в нее и произвел в бутылках разрушения непоправимые. Брызги стеклянного лома усеяли все пространство вокруг ног Феликса.

Феликс растерянно озирается. Сквер пуст. Улица пуста. Стущаются вечерние тени. В куче стеклянного крошева над распластанной авоськой закопался испачканный глиной булыжник величиной с голову ребенка.

— Странные у вас тут дела происходят... — произносит Феликс в пространство.

Он делает движение, словно бы собираясь нагнуться за авоськой, затем пожимает плечами и уходит, засунув руки в карманы.

В шесть часов вечера Феликс входит в зал ресторана «Кавказский». Он останавливается у порога, оглядывая столики, и тут к нему величественно и плавно придвигается метрдотель Павел Павлович, рослый смуглый мужчина в черном фрачном костюме с гвоздикой в петлице.

— Давненько не изволили заходить, Феликс Александрович! — рокочет он. — Дела? Заботы? Труды?

— Труды, вашество, труды, — невнимательно отзывается Феликс. — А равномерно и заботы... А вот вас, Пал Палыч, как я наблюдаю, ничто не берет. Атлет, да и только...

— Вашими молитвами, Феликс Александрович. А паче всего — беспощадная дрессировка организма. Ни в коем случае не распускать себя! Постоянно держать в узде!.. Впрочем, вы-то сюда приходите как раз для другого. Извольте вон туда, к окну. Анатолий Сократович вас уже ждут...

— Спасибо, Пал Палыч, вижу... Кстати, мне бы с собой чего-нибудь. Домой к ужину. Ну, там, пару калачиков, ветчинки, а? Но в долг, Пал Палыч! А?

— Сделаем.

В этот момент за спиной Феликса раздается оглушительный ляг. Феликс подпрыгивает на метр и в ужасе оборачивается. Но это всего лишь молоденький официант Вася уронил поднос на металлический столик-каталку.

— Шляпа, дырявые руки, — с величественным презрением произносит метрдотель Павел Павлович.

Главный редактор местного журнала Анатолий Сократович Романюк любит в меру выпить, вкусно закусить и угостить приятного, а тем более — нужного человека.

— Ты, Феликс, пойми, что от тебя требуется прежде всего, — произносит он, выставив перед собой вилку с насаженным на нее ломтиком кеты. — Прежде всего требуется выразить ту мысль, что в наше время понятие смысла жизни неотделимо от высокого морально-нравственного потенциала...

Феликс трясет головой.

— Это, Анатолий Сократыч, я все уже понял... Я хочу тебе возразить, что нельзя все-таки так, с бухты-барухты... Надо все-таки заранее, хотя бы за неделю, а еще лучше — за две... Ты сам подумай: разве это мыслимо — за ночь статью написать?

— Журнал должен быть оперативен! Как вы все этого не понимаете? Журнал по своей оперативности должен приближаться к газете, а не удаляться от нее! Ты знаешь, я тебя люблю. Ты сильно пишешь, Феликс, и я тебя люблю... Печатаю все, что ты пишешь... Но оперативности у тебя нет!

— Так я же не газетчик! Я — писатель!

— Вот именно! Писатель, а оперативности нет! Надо вырабатывать! Возьми, к примеру, этого... Курдюкова Котьку... Знаю, поэт посредственный и даже неважный... Но, если ты ему скажешь: «Костя! Чтобы к вечеру было!» — будет. Он, понимаешь, как Чехов. За что я его и люблю. Тут же, понимаешь, на подоконнике пристроится — и готово: «По реке плывет топор с острова Колгуева...» Или еще что-нибудь в этом роде.

Феликс спохватывается.

— Ч-черт! Надо же позвонить, узнать, как он там...

— Где? — кричит редактор уже вслед убегающему Феликсу.

В вестибюле ресторана Феликс звонит на квартиру Курдюкова.

— Зочка, это я, Феликс... Ну, как там Костя вообще?

— Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс! Я только что от него! Только-только вошла, пальто еще не снимала... Вы знаете, он очень просит, чтобы вы к нему зашли...

— Обязательно. А как же... А как он вообще?

— Да все обошлось, слава богу. Но он очень просит, чтоб вы пришли. Только об этом и говорит.

— Да? Н-ну... Завтра, наверное. Ближе к вечеру...

— Нет! Он просит, чтобы обязательно сегодня! Он мне просто приказал: позвонит Феликс Александрович — скажи ему, чтобы пришел обязательно, сегодня же.

— Сегодня? Хм... — мямлит Феликс. — Сегодня-то я никак... Тут у меня Анатолий Сократыч сидит.

Зоя не слушает его.

— А если не позвонит, говорит, — продолжает она, — то найди его, говорит, где хочешь. Хоть весь город объезди. Что-то у него к вам очень важное, Феликс... И важное, и срочное...

— Ах, черт, как неудобно получается!..

— Феликс, миленький, вы поймите, он сам не свой... Ну забегите вы к нему сегодня, ну хоть на десять минут!

— Ну ладно, ну хорошо, что ж делать...

Феликс вешает трубку. Беззвучно и энергично шевелит губами. На физиономии его явственно изображен бунт.

Когда Феликс входит в палату, Курдюков сидит на койке и с отвращением поедает манную кашу из жестяной тарелки. Он весь в больничном, но выглядит в общем неплохо. За умирающего его принять невозможно. Палата на шесть коек, у окна лежит кто-то с капельницей, а больше никого нет — все ушли на телевизор смотреть футбол.

Увидевши Феликса, Курдюков живо вскакивает и так ярко к нему бросается, что Феликс даже шарахается от неожиданности. Курдюков хватает его за руку и принимается пожимать и трясти, трясти и пожимать, и при этом говорит как заведенный, почему-то все время оглядываясь на тело с капельницей и не давая Феликсу сказать ни слова:

— Старик! Ты себе представить не можешь, что тут со мной было! Это же десять кругов ада, клянусь тебе всем святым! Сначала меня рвало, потом меня судороги били, потом меня несло, да как! Стены содрогались! Тридцать три струи, не считая мелких брызг! Страшное дело! Но и они тоже времени не теряли... Представляешь, понабежали со всех сторон, с трубками, с наконечниками, с клистирами наперевес, все в белом, жуткое зрелище, шестеро меня держат, шестеро промывают, шестеро в очереди стоят...

Он все оглядывается и, наступая на ноги, теснит Феликса к дверям.

— Да что ты все пихаешься? — спрашивает Феликс, уже оказавшись в коридоре.

— Давай, старик, пойдём присядем... Вон там у них скамеечка под пальмой...

Они усаживаются на скамеечку под пальмой. В коридоре пусто и тихо, только вдаль дежурная сестра позвякивает пузырьками да доносятся приглушенные взрывы эмоций футбольных болельщиков.

— Потом, представляешь, кислород! — с энтузиазмом продолжает Курдюков. — Сюда — трубку, в нос — две... Ну, думаю, все, врезаю дуба. Однако нет! Проходит час, проходит другой, прихожу в себя, и ничего!

— Не понадобилось, значит, — благодушно вставляет Феликс.

— Что именно? — быстро спрашивает Курдюков.

— Ну, этот твой... мафусаил... мафуссалин... Зря, значит, я хлопотал.

— Что ты! Они мне, понимаешь, сразу клизму, промывание желудка под давлением, представляешь? Такой кислород засадили, вредители! Только тут я понял, какая это страшная была пытка, когда в тебя сзади воду накачивают... У меня, понимаешь, глаза на лоб, я им говорю: ребята, срочно зовите окулиста...

И тут Курдюков вдруг обрывает себя и спрашивает шепотом:

— Ты что так смотришь?

— Как? — удивляется Феликс. — Как я смотрю?

— Да нет, никак... — уклоняется Курдюков. — Я вижу, отец, ты малость вдетый нынче, а? Поддал, старик, а?

— Не без того, — соглашается Феликс и, не удержавшись, добавляет: — Если бы не ты, я и сейчас бы еще продолжал с удовольствием.

— Ничего! — с легкомысленным жестом объявляет Курдюков. — Завтра или послезавтра они меня отсюда выкинут, и мы с тобой тогда продолжим. Без балды. Я тебе знаешь какого коньячку выставлю? Называется «Ахтамар», прямо с Кавказа... Это, знаешь, у них такая легенда была: любила девушка одного, а родители были против, а сама она жила в замке на острове...

— Слушай, Костя, — прерывает его Феликс стеснительно, — знаю я эту легенду. Ты меня извини, ради бога, но мне сегодня еще работать всю ночь. Сократыч статью заказал...

— Да-да, конечно! — вскрикивает Курдюков. — Конечно, иди! Что тут тебе со мной? Навестил, и спасибо тебе большое.

Он встает. И Феликс тоже встает — в растерянности и недоумении. Некоторое время они молчат, глядя друг другу в глаза. Потом Курдюков вдруг снова спрашивает полушепотом:

— Ты чего?

— Да ничего. Пойду сейчас.

— Конечно, иди... Спасибо тебе... Не забуду, вот увидишь...

— Ты мне больше ничего не хочешь сказать? — спрашивает Феликс.

— Насчет чего? — произносит Курдюков совсем уже тихо.

— А я не знаю — насчет чего! — взрывается Феликс. — Я не знаю, зачем ты меня выдернул из-за стола... Ни поесть толком не дал, ни выпить... Сократыч обиделся... Мне говорят: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно. Какое дело? Что тебе необходимо?

— Кто говорил, что срочное дело?

— Жена твоя говорила! Зоя!

— Да нет! — объявляет Курдюков и снова делает легкомысленный жест. — Да чепуха это все, перепутала она! Совсем не про тебя речь шла, и было это не так уж срочно... А она говорила — сегодня? Вот дурища! Нет, Феликс, она просто не поняла с перепугу. Ну, напугалась же баба...

Феликс машет рукой.

— Ладно. Господь с вами обоими. Не поняла, так не поняла. Выздоровел — и слава богу. А я тогда пошел домой.

Феликс направляется к выходу, а Курдюков семенит рядом, забегая то справа, то слева, то хватая его за локоть, то сжимая его плечо.

— Ну, ты ж не обиделся, я надеюсь... — бормочет он. — Ну, дура же, молодая еще... Не понимает ничего... Ты, главное, знай: я тебе благодарен так, что если ты меня попросишь... о чем бы ты меня ни попросил... Ты знаешь, какого я страху здесь натерпелся? Не дай бог тебе отравиться, Снегирев, ей-богу... Ну, ты не сердись, да? Ну скажи, не сердись?

А на пустой лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, происходит нечто совсем уж несообразное. Курдюков вдруг обрывает свою бессвязицу, судорожно вцепляется Феликсу в грудь, прижимает его к стене и, брызгаясь, шипит ему в лицо:

— Ты запомни, Снегирев! Не было ничего, понял? Забудь!

— Постой, да ты что? — бормочет Феликс, пытаясь отодрать от себя его руки.

— Не было ничего! — шипит Курдюков. — Не было! Хорошенько запомни! Не было!

— Да пошел ты к черту! Обалдел, что ли? — гаркает Феликс в полный голос. Ему удается наконец оторвать от себя Курдюкова, и, с трудом удерживая его на расстоянии, он произносит: — Да опомнись ты, чучело гороховое! Что это тебя разбирает?

Курдюков трясется, брызгается и все повторяет:

— Не было ничего, понял? Не было!.. Ничего не было!

Потом он обмякает и принимается плаксиво объяснять:

— Накладка у меня получилась, Снегирев... Накладка у меня вышла! Институт же секретный, номерной... Не положено мне ничего про него знать... А тебе уж и подавно не положено! Не нашего это ума дело, Феликс! Я вот тебе ляпнул, а они уже пришли и замечание мне сделали... Прямо хоть из больницы не выходи!

Феликс отпускает его. Курдюков, морщась, принимается растирать свои покрасневшие запястья и все бубнит со слезой одно и то же:

— Накладка это... А мне уже влетело... И еще влетит, если ты болтать будешь... Загубишь ты меня своей болтовней! Секретный же! Не положено нам с тобой знать!

— Ну хорошо, хорошо, — говорит Феликс, с трудом сохраняя спокойствие. — Секретный. Хорошо. Ну чего ты дергаешься? Сам посуди, ну какое мне до всего этого дело? Не положено, так не положено... Надо, чтобы я забыл, — считай, что я все забыл... Не было и не было, что я — спорю? Что за манера, в самом деле?

Без всякой жалости он отодвигает Курдюкова с дороги и принимается спускаться по лестнице с наивозможной для себя поспешностью. Он уже в самом низу, когда Курдюков, перегнувшись через перила, шипит ему вслед на всю больницу:

— О себе подумай, Снегирев! Seriously тебе говорю! О себе! Феликс только сплевывает в сторону.

\* \* \*

Дома, в тесноватой своей прихожей, Феликс зажигает свет, кладет на столик объемистый сверток (с едой от Павла Павловича), устало стягивает с головы берет, а затем снимает плащ и принимается аккуратно напяливать его на деревянные плечики.

И тут он обнаруживает нечто ужасное.

В том месте, которое приходится как раз на левую почку, плащ проткнут длинным шилом с деревянной рукояткой.

Несколько секунд Феликс оцепенело смотрит на эту округлую деревянную рукоятку, затем осторожно вешает плечики с плащом на вешалку и, придерживая полу, двумя пальцами извлекает шило.

Электрический блик жутко играет на тонком стальном жале.

И Феликс отчетливо вспоминает:

искаженную физиономию Курдюкова и его шипящий вопль: «О себе подумай, Снегирев! Seriously тебе говорю! О себе!»;

стеклянный лязг и дребезг, и булыжник в куче битого стекла на авоське;

испуганные крики и вопли разбегающейся очереди и тупую страшную морду МАЗа, накатывающуюся на него, как судьба...

и вновь бормотанье Курдюкова: «Не дай бог тебе отравиться, Снегирев...»

Слишком много для одного дня.

Феликс, не выпуская шила из пальцев, накидывает на дверь цепочку и произносит вслух:

— Вот, значит, какие дела...

Глубокая ночь, дождь. В свете уличных фонарей блестит мокрая листва, блестит брусчатка мостовой, блестят плиты тротуара. Дома погружены во тьму, лишь кое-где горят одинокие прямоугольники окон.

У подъезда десятиэтажного дома останавливается легковой автомобиль. Гаснут фары. Из машины выбираются под дождь четыре неясные фигуры, останавливаются и задирают головы.

Женский голос. Вон три окна светятся. Спальня, кабинет, кухня... Седьмой этаж.

Мужской голос. Странно... Почему у него везде свет? Может, у него гости?

Другой мужской голос. Никак нет. Один он. Никого у него нет.

Кабинет Феликса залит светом. Горит настольная лампа, горит торшер над журнальным столиком с телефоном, горит трехрожковая люстра, горят оба бра над полосатым диваном напротив книжной стенки.

Феликс в застиранной роскошной пижаме работает за письменным столом. Пишущая машинка по ночному времени отодвинута в сторону, Феликс пишет от руки. Заполненная окурками пепельница придавливает стопу исписанных страниц. На углу стола — пустая турка с перекипевшим через край кофе и испачканная кофейная чашечка. Страшное шило лежит тут же, в деревянном ящичке с каталожными карточками.

Звонок в дверь.

Феликс смотрит на часы. Пять минут третьего ночи.

Феликс глотает всухую. Ему страшно.

Он поднимается, идет в прихожую и останавливается перед входной дверью.

— Кто там? — произносит он сипло.

— Открой, Феликс, это я, — отзывается негромко женский голос.

— Наташенька? — с удивлением и радостью говорит Феликс.

Он торопливо снимает цепочку и распахивает дверь.

Но на пороге вовсе не Наташа. Давешний мужчина в клетчатом. Под пристальным взглядом его светлых выпуклых глаз Феликс отступает на шаг.

Все происходит очень быстро. Клетчатый неуловимым движением оттесняет его, проникает в прихожую, крепко ухватывает его за запястья и сразу же прижимает спиной к двери в туалет.

А с лестничной площадки быстро и бесшумно входят в квартиру один за другим:

огромный, плечистый Иван Давыдович в черном плаще до щиколоток, в руке — маленький саквояж, войдя, он только коротко взглядывает на Феликса и проходит в кабинет;

стройная и очаровательная Наталья Петровна с сумочкой на длинном ремешке через плечо, нежно улыбается Феликсу и картинно делает ручкой, как бы говоря: «А вот и я!»;

и высокий смуглый Павел Павлович в распахнутом сером пальто, под которым виден все тот же черный фракный костюм с той же гвоздикой в петлице, с длинным зонтиком-тростью под мышкой, войдя, он приподнимает шляпу и, сверкнув лысиной, приветствует Феликса легким поклоном.

Феликс (обалдело). Пал Палыч?

Павел Павлович. Он самый, душа моя, он самый...

Феликс. Что случилось?

Павел Павлович ответить не успевает. Из кабинета раздается властный голос:

— Давайте его сюда!

Клетчатый ведет Феликса в кабинет. Иван Давыдович сидит в кресле у стола. Плащ его небрежно брошен на диван, саквояж поставлен у ноги.

Феликс. Что, собственно, происходит? В чем дело?

Иван Давыдович. Тихо, прошу вас.

Клетчатый. Куда его?

Иван Давыдович. Вот сюда... Сядьте, пожалуйста, на свое место, Феликс Александрович.

Феликс. Я сяду, но я хотел бы все-таки знать, что происходит...

Иван Давыдович. Спрашивать буду я. А вы садитесь и отвечайте на вопросы.

Феликс. Какие вопросы? Ночь на дворе...

Слегка подталкиваемый Клетчатым, он обходит стол и садится на свое место напротив Ивана Давыдовича. Он растерянно озирается, и по лицу его видно, что ему очень и очень страшно.

Хотя, казалось бы, чего бояться? Наташа мирно сидит на диване и внимательно изучает свое отражение в зеркальце, извлеченном из сумки. Павел Павлович обстоятельно устраивается в кресле под торшером и ободряюще кивает оттуда Феликсу. Вот только Клетчатый... Он остался в дверях — скрестивши ноги, прислонился к косяку и раскуривает сигарету. Руки его в черных кожаных перчатках.

Иван Давыдович. Сегодня в половине третьего вы были у меня в институте. Куда вы отправились потом?

Феликс. А кто вы, собственно, такие? Почему я должен...

Иван Давыдович. Потому что. Вы обратили внимание, что сегодня вы трижды только случайно остались в живых?.. Ну вот, хотя бы это... (Он берет двумя пальцами страшное шило за кончик лезвия и покачивает перед глазами Феликса.) Два сантиметра правее — и конец! Поэтому я буду спрашивать, а вы будете отвечать на мои вопросы. Добровольно и абсолютно честно. Договорились?

Феликс молчит. Он сломлен.

Иван Давыдович. Итак, куда вы отправились от меня? Только не лгать!

Феликс. В дом культуры. Железнодорожников.

Иван Давыдович. Зачем?

Феликс. Я там выступал. Перед читателями... Вот гражданин может подтвердить. Он меня видел.

Клетчатый. Правильно. Не врет.

Иван Давыдович. Кто была та полная женщина в очках?

Феликс. Какая женщина?.. А, в очках. Это Марья Леонидовна! Она завбиблиотекой.

Иван Давыдович. Что вы ей рассказывали?

Феликс. Я? Ей?

Иван Давыдович. Вы. Ей.

Клетчатый. Рассказывал, рассказывал! Минут двадцать у нее в кабинете просидел...

Феликс. Что значит — просидел? Ну, просидел... Она мне путевку заверяла... Договаривались о следующем выступлении... Она меня просила в район выехать... И ничего я ей не рассказывал! Что за подозрения? Скорее уж это она мне рассказывала...

Иван Давыдович. Итак, она заверила вам путевку. Куда вы отправились дальше?

Феликс. На Курсы! Наташа, скажи ему!

Наташа. Феликс Александрович, ты не волнуйся. Ты просто рассказывай все, как было, и ничего тебе не будет.

Феликс. Да я и так рассказываю все, как было...

Иван Давыдович. Кого еще из знакомых вы встретили на Курсах?  
Феликс. Ну, кого... (Он очень старается.) Этого... ну, Валентина, инженера, из филиала, не знаю, как его фамилия... Потом этого, как его... Ну, такой мордастенький...

Иван Давыдович. И о чем вы с ними говорили?

Феликс. Ни о чем я с ними не говорил. Я сразу прошел к Наташе... к Наталье Петровне...

Иван Давыдович. Потом вы оказались в ресторане. Зачем?

Феликс. Как это — зачем? Поесть! Я же целый день не ел... Между прочим, из-за этого вашего Курдюкова!

Иван Давыдович. А почему вас там дожидался Романюк?

Феликс. Он заказал мне статью. О морально-нравственном потенциале. О смысле жизни современного человека... Вот я ее пишу, вот она!

Иван Давыдович. А зачем вам понадобилось рассказывать ему про Курдюкова?

Феликс. Про Курдюкова?

Иван Давыдович. Да! Про Курдюкова!

Феликс. Ничего я ему не рассказывал про Курдюкова! С какой стати?

Павел Павлович. Ну как же не рассказывали? Только и слышно было: Курдюков, Курдюков...

Произнеся эти слова, Павел Павлович поднимается, секунду смотрит на телефон, выдергивает телефонный шнур из розетки и снимает аппарат со столика на пол. Затем произносит: «Эхе-хе...» и направляется к двери на кухню.

Иван Давыдович (раздраженно). Павел... э... Павлович! Я не понимаю, неужели вы не можете десять минут подождать?

Павел Павлович (приостановившись на мгновение в дверях). А зачем, собственно, ждать? (Издевательским тоном.) Курдюков, Курдюков...

Он скрывается на кухне, и оттуда сейчас же доносится лязг посуды.

Феликс (нервно кричит ему вслед). Не было этого! Может быть, и упоминали мы его один или два раза... С какой стати? (Ивану Давыдовичу.) А если бы даже я ему и рассказал? Что тут такого?..

Иван Давыдович. Значит, вы все-таки рассказали ему про Курдюкова.

Феликс. Да не рассказывал я! Скорее это уж Романюк мне о нем рассказывал! Как Курдюков свои стишки пишет, и все такое... А я про

Курдюкова только и сказал, что он отравился и я еду к нему в больницу... И все. И больше ничего.

Иван Давыдович. А о том, что Курдюков послал вас ко мне?

Феликс. Да господи! Да конечно — нет! Да ни единого слова!

Наступает внезапная тишина. Феликс обнаруживает, что все с жадным вниманием смотрят на него. В тишине отчетливо слышно, как Павел Павлович на кухне чем-то побрякивает и напевает неопределенный мотивчик.

Иван Давыдович (вкрадчиво). То есть вы уже тогда поняли, о чем можно говорить, а о чем нельзя?

Феликс молчит. Глаза его растерянно бегают.

Иван Давыдович. Феликс Александрович, будет лучше всего, если вы сами, без нашего давления, добровольно и честно расскажете нам: с кем вы сегодня говорили о Курдюкове, что именно говорили и зачем вы это делали. Я очень советую вам быть откровенным.

Феликс. Да господи! Да разве я скрываю? С кем я говорил о Курдюкове? Пожалуйста. С кем я говорил... Да ни с кем я не говорил! Только с одним Романюком и говорил... Да, конечно! С женой Курдюкова говорил, с Зоей!.. Она мне сказала, чтобы я поехал к нему в больницу, и я поехал... И все. Все! Больше ни с кем!

На кухне снова слышится звон посуды, и в кабинете появляется Павел Павлович. На нем кухонный фартук, в одной руке он держит шипящую сковородку, в другой — деревянную подставку для нее.

Павел Павлович. Прошу прощения. Не обращайтесь внимания... Я у вас, Феликс Александрович, давешнюю ветчину там слегка... Вы уж не обессудьте...

Феликс (растерянно). Да ради бога... Конечно!

Иван Давыдович (раздраженно). Давайте не будем отвлекаться! Продолжайте, Феликс Александрович!

Но Феликс не может продолжать. Он с испугом и изумлением следит за действиями Павла Павловича. Павел Павлович ставит сковородку на журнальный столик и, нависнув над нею своим большим благородным носом, извлекает из нагрудного кармана фрака черный плоский футляр. Открыв этот футляр, он некоторое время водит над ним указательным пальцем, произносит как бы в нерешительности: «Гм!» и вынимает из футляра тонкую серебристую трубочку.

Клетчатый (бормочет). Смотреть страшно...

Павел Павлович аккуратно отвинчивает колпачок и принимается капать из трубочки в яичницу — на каждый желток по капле.

Наташа. Какой странный запах... Вы уверены, что это съедобно?

Павел Павлович. Это, душа моя, «ухэ-тхо» ... в буквальном переводе — «желчь водяного». Этому составу, деточка, восемь веков...

Иван Давыдович (стучит пальцем по столешнице). Довольно, довольно! Феликс Александрович, продолжайте! О чем вы говорили с Романюком?

Феликс (с трудом отрываясь от созерцания Павла Павловича). О чем я говорил с Романюком?.. Он попросил меня написать статью. Срочно. Сегодня же... Вот эту. (Он касается пальцем стопки бумаг под пепельницей.)

Иван Давыдович. А о чем вы договорились с Курдюковым в больнице?

Феликс. С Курдюковым? В больнице? Н-ну... Ни о чем определенном мы не договаривались... Он обещал поставить бутылку коньяку, и мы договорились, что ее разопьем... Его ведь не сегодня-завтра выпишут...

Иван Давыдович. И все?

Феликс. И все...

Иван Давыдович. И ради этого вы поперли на ночь глядя через весь город в больницу?

Феликс. Н-ну... Это же почти рядом... И потом, просил же человек...

Иван Давыдович. Курдюков — ваш хороший друг?

Феликс. Что вы! Мы просто соседи! Раскланиваемся... Я ему — отвертку, он мне пылесос...

Иван Давыдович. Понятно. Посмотрите, что у вас получается. Не слишком близкий ваш приятель, чувствующий себя уже вполне неплохо, вызывает вас поздно вечером к себе в больницу только для того, чтобы пообещать распить с вами бутылку коньяка. Я правильно резюмировал ваши показания?

Феликс. Д-да...

Иван Давыдович. Вы бросили на середине деловой разговор с вашим работодателем, вы забыли, что вам предстоит всю ночь корпеть над работой, — и ради чего?

Феликс. Откуда я знал? Откуда мне было знать? Ведь мне его жена баки забила: срочно, немедленно!

Иван Давыдович. О чем вы сговорились с Курдюковым в больнице?

Феликс. Ей-богу, ни о чем!

Иван Давыдович поворачивается и смотрит на Клетчатого. Тот, раскуривая очередную сигарету, отрицательно мотает головой.

Иван Давыдович (Клетчатому). Вы полагаете?..

Клетчатый. Врет.

Иван Давыдович (с упреком). Феликс Александрович, ведь я же предупредил вас...

Феликс (трусливо). В чем, собственно, дело?

Клетчатый. Брешет он, сучий потрох! Не знаю, о чем они там сговорились, но на лестнице было у них крупное объяснение! Он же по ступенькам ссыпался — весь красный был, как помидор!

Феликс. Так я и не скрываю! Я и был злой! Я бы ему врезал, если бы не больница!

Клетчатый (уверенно). Врет. Врет. Я же вижу: где правда, там правда, а здесь — врет!..

Павел Павлович (негромко). А всего-то и надо было вам, Ротмистр, сделать два шага вверх по лестнице, вот вы бы все и услышали, а мы бы здесь не гадали...

Клетчатый (смирненно). Виноват, ваше сиятельство. Однако были некоторые причины... А пусть-ка этот аферист объяснит нам, господа, что означали слова: «О себе подумай, Снегирев! О себе!» Эти слова я слышал прекрасно и никак не могу взять в толк, к чему бы они!

Иван Давыдович. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс. Да ни о чем мы не сговаривались! Ей-богу же — ни о чем!

Иван Давыдович. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс. Господи! Да что вы ко мне пристали, в самом деле? Нечего мне вам добавить!

Иван Давыдович. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс. Наташа! Да кто это такие? Что им нужно от меня? Скажи им, чтобы отстали!

Клетчатый коротко и очень страшно гогочет.

Иван Давыдович. Слушайте меня внимательно. Мы отсюда не уйдем до тех пор, пока не выясним все, что нас интересует. И вы нам обязательно расскажете все, что нас интересует. Вопрос только — какой ценой. Церемониться мы не будем. Мы не умеем церемониться. И должно быть тихо, даже если вам будет очень больно.

Он берет саквояж, ставит его на стол, раскрывает, извлекает из него автоклавчик и, звякая металлом и стеклом, принимается снаряжать шприц для инъекций.

Феликс наблюдает эти манипуляции, покрываясь испариной.

Иван Давыдович. Разумеется, мы бы предпочли получить от вас информацию быстро, без хлопот и в чистом виде, без всяких примесей. Я думаю, это и в ваших интересах тоже...

Тем временем Клетчатый скользящим шагом пересекает комнату и намеревается встать у Феликса за спиной. Феликс в панике

отодвигается вместе со стулом и оказывается загнанным между столом и книжной стенкой.

Клетчатый (шепотом). Тихо! Сидеть!

Феликс (с отчаянием). С-слушайте! Какого дьявола? Наташа! Пал Палыч!

Наташа сидит на диване, уютно поджавши под себя ноги. Она подпиливает пилкой ногти.

Наташа (ласково-наставительно). Феликс, милый, надо рассказать. Надо все рассказать, все до последнего.

Павел Павлович. Да уж, Феликс Александрович, вы уж пожалуйста! Зачем вам лишние неприятности?

Феликс (он сломлен, дрожащим голосом). Да-да, не надо...

Иван Давыдович. Отвечать будете?

Феликс. Да-да, обязательно...

Иван Давыдович. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс не успевает ответить (да он и не знает, что отвечать). Дверь в комнату распахивается, и на пороге объявляется Курдюков. Он в мокром пальто не по росту, из-под пальто виднеются больничные подштанники, на ногах — мокрые растоптанные тапки.



— Ага! — с фальшивым торжеством произносит он и вытирает рот тыльной стороной кулака, в котором зажата огромная стамеска. — Взяли гада? Хорошо! Молодцы. Но как же это вы без меня? Непорядок, беспорядок, не по уставу! Апеллирую к вам, Магистр! Не по уставу... Итак? Кто ему рассказал про Эликсир?

Иван Давыдович (вскакивая). Он знает про Эликсир?

Наташа (тоже подскочив). То есть как это?

Павел Павлович. Что-что-что?

Клетчатый. А что я вам говорил?

Курдюков. Хе! Он не только про Эликсир знает! Он мне намекал, что ему и про Источник известно! Он мне уже и Крапивкин Яр называл, сукин сын!

Все взоры устремляются на Феликса.

Феликс (бормочет, запинаясь). Ты что, Курдюков? Какой еще Эликсир? Крапивкин Яр — знаю, а Эликсир... Какой Эликсир?

Курдюков (наклоняется к нему, уперев руки в боки). А Крапивкин Яр, значит, знаешь?

Феликс. З-знаю... Кто ж его не знает?

Курдюков. Ладно, ладно! «Кто ж его не знает...» А что ты мне про Крапивкин Яр намекал давеча? Помнишь?

Феликс. Про Крапивкин Яр? Когда?

Курдюков. А сегодня! В больнице! «Вот поправишься, Костенька, и пойдем мы с тобой прогуляться в Крапивкин Яр...» У меня глаза на лоб полезли! Откуда? Как узнал? «Придется тебе, Костенька, одну ложечку для меня уделить...» Ложечку ему! А?

Феликс (орет в отчаянии). Какую ложечку? Да ты что — опять консервами обожрался? Что ты мелешь?

Слышны глухие удары в потолок. Все притихают.

Феликс (понижив голос). Послушайте, ночь на дворе, мы же людям спать не даем! Что вы у меня здесь сумасшедший дом устроили!

Курдюков (сдавленным шепотом). Ты что — про Крапивкин Яр мне не говорил? Посмей только отпираться, скотина! И про ложечку Эликсира не говорил?

Феликс. Да ничего подобного я тебе не говорил! Дурак ты консервный, заблеванный!

Курдюков. Не отпирайся! И про Крапивкин Яр говорил, и про Эликсир говорил, и про Источник намекал... Я тебе предупреждал давеча? «Молчи! Ни единого слова! Никому!» Говорил я тебе это или нет?

Феликс. Ну, говорил! Так ведь ты про что говорил? Ты же ведь...

Курдюков. А! Признаешь! Правильно! А раз признаешь, то не надо запирается! Не надо! Честно признайся: кто тебе рассказал? Наташка? В постельке небось рассказала? Расслабилась?

Он оглядывается на Наташу и, тихонько взвизгнув, шарахается, заслоняясь кулаком со стамеской: Наташа надвигается на него

неслышным кошачьим шагом, слегка пригнувшись, опустив вдоль тела руки с хищно шевелящимися пальцами.

Наташа (яростно шипит). Ах ты, паскуда противная, душа гадкая, грязная, ты что же это хочешь сказать, пасть твоя черная, немытая?

Курдюков (визжит). Я ничего не хочу сказать! Магистр, это гипотеза! Защитите меня!

Наташа вдруг останавливается, поворачивается к Ивану Давыдовичу и спокойно произносит: «Ну, все ясно. Этот патологический трус сам же все и разболтал. Обожрался тухлятиной, вообразил, что подыкает, и со страху все разболтал первому же встречному...»

Курдюков. Вранье! Первый был доктор из «Скорой помощи»! А потом санитары! А уж только потом...

Наташа. И ты им всем разболтал, гнида?

Курдюков. Никому! Ничего! Он уже и так все знал!

Клетчатый, оставивши Феликса, начинает бочком-бочком придвигаться к Курдюкову. Заметив это, Курдюков валится на колени перед Иваном Давыдовичем.

Курдюков. Магистр! Не велите ему! Я все расскажу! Я только попросил его съездить к вам... Назвал вас, виноват... Страшно мне было очень... Но он и так уже все знал! Улыбнулся этак зловеще и говорит: «Как же, знаю, знаю Магистра» ...

Феликс (потрясая кулаками). Что ты несешь? Опомнись!

Курдюков. «Поеду, говорит, так и быть, поеду, но вечером мы еще с тобой поговорим!» Я хотел броситься, я хотел предупредить, но меня промывали, я лежал пластом...

Феликс. Товарищи, он все врет. Я не понимаю, чего ему от меня надо, но он все врет...

Курдюков. А вечером он уже больше не скрывался! Поймите меня правильно, я волнуюсь, я не могу сейчас припомнить его речей в точности, но про все он мне рассказал специально, чтобы доказать свою осведомленность...

Феликс. Врет.

Курдюков. Чтобы доказать свою осведомленность и склонить меня к измене! Он сказал, что нас пятеро, что мы бессмертные...

Феликс (монотонно). Врет.

Курдюков (заунывно, словно бы пародируя). «В Крапивкином Яре за шестью каменными столбами под белой звездой укрыта пещера, и в той пещере Эликсира Источник, точащий капли бессмертия в каменный стакан...»

Феликс. Впервые эту чепуху слышу. Он же просто с ума сошел.

Курдюков (воздевши палец). «Лишь пять ложек Эликсира набирается за три года, и пятерых они делают бессмертными...»

Феликс. Он же из больницы сбежал, вы же видите...

Курдюков (обычным голосом). Он вас назвал, Магистр. И Натасечку. И вас, Князь. «А пятого, говорит, я до сих пор не знаю...»

Все смотрят на Феликса.

Феликс (пытаясь держать себя в руках). Для меня все это — сплошная галиматья. Горячечный бред. Ничего этого я не знаю, не понимаю и говорить об этом просто не мог.

Все молчат. И в этой тишине раздается вдруг пронзительный звонок в дверь. Все застывают.

Иван Давыдович (глядя на Феликса). М-м?

Феликс (несколько ободрившись). Я думаю, это сосед сверху. Я думаю, вы слишком тут все орете.

Снова звонок в дверь — длинный, яростный.

Иван Давыдович. Идите и извинитесь. Никаких лишних слов. И вообще ничего лишнего. Ротмистр, проследите.

Сопровождаемый Клетчатым, Феликс выходит в прихожую. Наружная дверь, оказывается, наполовину раскрыта, и на пороге маячит фигура в полосатой пижаме.

— Я, гражданин Снегирев, жаловаться на вас буду, — объявляет фигура. — Полчетвертого ночи!

Феликс. Сергей Сергеич, простите, ради бога. Мы тут увлеклись, переборщили... Правильно, Ротмистров?

Клетчатый. Переборщили. Правильно. Больше не повторится, я сам прослежу.

Феликс. Простите, Христа ради, Сергей Сергеич! С меня полбанки, а?

Сергей Сергеич (плачуще). Мне, Феликс Александрович, вставать в шесть утра! А вы тут, понимаете, произведения свои читать затеяли, да еще не просто читать, а на три голоса, с выражением... Сил же никаких нет!

Феликс. А что, все слышно?

Сергей Сергеич. Да вот как над ухом прямо!

Феликс (Клетчатому). Вот видите? Говорил же я вам, что пора уже расходиться...

Клетчатый. Все! Все. Сергей Сергеич, все. С него полбанки и с меня тоже полбанки. И полная тишина. Как в могиле. Правильно я говорю, Феликс Александрович? Как в могиле!

— И-изх! — произносит Сергей Сергеич горестно и удаляется, шлепая тапочками.

Феликс пытается запереть дверь, но тут выясняется, что замок сломан.

Феликс (с отчаянием). Ну что за сволочь! Вы поглядите только, он же мне замок сломал!

Клетчатый (с жадным любопытством). Кто? Сергей Сергеич? А за чем?

Феликс. Да при чем здесь Сергей Сергеич? Курдюков этот ваш, псих полоумный! И что вы все свалились на мою голову? Забирайте вы его и уходите к чертовой матери, не то я милицию вызову!..

Клетчатый. Тихо! Эт-то еще что такое? А ну-ка, проходите и — тихо!

Едва Феликс вступает в кабинет, как на него сзади насккивает Курдюков. Он обхватывает Феликса левой рукой за лицо, чтобы зажать рот, а правой с силой бьет стамеской в спину снизу вверх. Стамеска тупая, рука у Курдюкова соскальзывает, и никакого смертоубийства не получается. Феликс лягает Курдюкова ногой, тот отлетает на Ивана Давыдовича, и оба они вместе с креслом рушатся на пол. Пока они барахтаются, лягаясь и размахивая кулаками, Клетчатый хватает Феликса за руки и прижимает его к стене.

Павел Павлович (насмешливо). Развоевались!..

Наташа (она уже возлежит на диване в позе мадам Рекамье). Шляпа. И всегда он был шляпой, сколько я его помню...

Павел Павлович. Но соображает быстро, согласитесь...

Иван Давыдович наконец поднимается, брезгливо вытирая ладони о бока, а Курдюков остается на полу — лежит, скорчившись, обхватив руками голову.

Иван Давыдович. Господа, так все-таки нельзя. Так мы весь дом разбудим. Я попрошу, господа...

Клетчатый отпускает Феликса, и тот принимается ощупывать ушибленную спину.

Феликс (дрожащим голосом). Слушайте, а может, вообще хватит на сегодня? Может, вы завтра зайдете? Ведь, ей-богу, дождемся, что кто-нибудь милицию вызовет. А так — завтра...

Иван Давыдович. Сядьте. Сядьте, я вам говорю! И молчите. (Курдюкову.) А вы вставайте. Хватит валяться, вставайте!

Наташа. Пусть валяется.

Иван Давыдович (поднимая кресло и усаживаясь). Хорошо, не возражаю. Пусть валяется.

Клетчатый. А может, вы его... того?

Иван Давыдович. Да нет. Притворяется... Перепугался. Ладно, пусть пока лежит... Вот что, господа. Ситуация переменялась. Я бы сказал, она усложнилась.

Павел Павлович. Тогда самое время сварить кофе.

Иван Давыдович. Нет, Князь. Кофе не надо. Нельзя.

Павел Павлович. Нельзя выпить по чашке кофе? Просто кофе?

Иван Давыдович. Просто?

Павел Павлович. Да! Просто кофе! Крепкий сладкий кофе по-венски.

Иван Давыдович. Хорошо. Сварите. Вы поняли, что ситуация усложнилась?

Павел Павлович. Ну, естественно!

Иван Давыдович. Тогда займитесь.

Павел Павлович умело и аккуратно собирает на поднос турку и чашечку со стола Феликса и уносит все это на кухню.

Иван Давыдович. Я, господа, прошу вас основательно усвоить, что сегодня нам ничего здесь делать нельзя. (Он принимается собирать обратно в саквояж свои медицинские причиндалы.) Если мы оставим здесь труп, милиция разыщет нас очень быстро. Это понятно?

Клетчатый. Виноват, герр Магистр, не совсем понятно. Нам же не обязательно оставлять труп здесь! Можно выкинуть его в окно... Седьмой этаж... Вдребезги! Самоубийство!

Иван Давыдович закрывает глаза, поднимает лицо к потолку и некоторое время молчит, сдерживаясь. Потом он говорит: «Пять минут назад сюда приходил человек. Вы заметили это, Ротмистр?»

Клетчатый. Так точно, заметил. Сергей Сергеевич. Это из верхней квартиры.

Иван Давыдович. Вы обратили внимание, что он вас тоже заметил, Ротмистр?

Клетчатый. Так точно.

Иван Давыдович. Он запомнил вас, понимаете? Ваш клетчатый пиджак, ваше кепи, ваши усики... Он вас опишет, и вас найдут. Самое большее — через неделю.

Курдюков (из угла, куда он незаметно переполз). А по-моему, ничего страшного. Ротмистр уедет куда-нибудь, отсидится годик...

Иван Давыдович. Вас, Басаврюк, спросят: откуда вы обрели в эту самую ночь такой великолепный синяк под глазом?

Курдюков. У меня алиби! Я в настоящий момент в больнице!

Пауза. Из кухни доносится гудение кофемолки.

Наташа (решительно). Нет, господа, я тоже против. Все знают, что мы с Феликсом дружили, вчера он ко мне заходил, ночью меня не

было дома... Зачем мне это надо? Затаскают по следователям. Я вообще против того, чтобы Феликса трогать. Его надо принять.

Курдюков (выскакивает из угла, как черт из коробочки). Это за чей же счет? Сука! Шлюха ты беспардонная!

Иван Давыдович. Да тише вы, Басаврюк! Сколько можно повторять? Тише! Извольте не забывать, что это по вашей вине все мы сидим здесь и не знаем, на что решиться. Так что советую вам вести себя особенно тихо... Молчите! Ни слова более! Сядьте!

Клетчатый. В самом деле, сударь! Труса отпраздновали, а теперь все время мешаете...

Иван Давыдович. Я, господа, просто не вижу иного пути, кроме как поставить Феликса Александровича перед выбором...

И тут Феликс взрывается. Он изо всей силы грохает ладонью по столу и голосом, сдавленным от страха и ненависти, объявляет: «Убирайтесь к чертовой матери! Все до одного! Сейчас же! Сию же минуту! Чтобы ноги вашей здесь не было!..»

В дверях кухни появляется встревоженное лицо Павла Павловича, Клетчатый, хищно присев, делает движение к Феликсу.

Феликс (Клетчатому). Давай, давай, сволочь, иди! Ты, может, меня и изуродуешь, бандюга, протокольная морда, ну и я здесь тоже все разнесу! Я здесь вам такой звон устрою, что не только дом — весь квартал сбежится! Иди, иди! Я вот сейчас для начала окно высажу вместе с рамой...

Иван Давыдович (резко). Прекратите истерику!

Феликс (бешено). А вы заткнитесь, председатель месткома! Заткнитесь и выметайтесь отсюда, и заберите с собой всю вашу банду! Немедленно! Слышите?

Иван Давыдович (очень спокойно). Вашу дочь зовут Лиза...

Феликс. А вам какое дело?

Иван Давыдович. Вашу дочь зовут Лиза, ваших внуков зовут Фома и Антон, и живут они все на Малой Тупиковой, шестнадцать. Правильно?

Феликс молчит.

Иван Давыдович. Я надеюсь, вы понимаете, на что я намекаю? Книжки читаете?

Феликс (угрюмо). По-моему, вы все ненормальные...

Иван Давыдович. Этот вопрос мы сейчас обсуждать не будем. Если вам удобнее считать нас ненормальными — пожалуйста. В известном смысле вы, может быть, и правы...

Феликс. Что вам от меня надо — вот чего я никак не пойму!

Иван Давыдович. Сейчас поймете. Судьбе угодно было, чтобы вы проникли в нашу тайну...

Феликс. Никаких тайн не знаю и знать не хочу.

Иван Давыдович. Пустое, пустое. Следствие закончено. Не об этом вам надлежит думать. Вам предстоит сейчас сделать выбор: умереть или стать бессмертным.

Феликс молчит. На лице его тупая покорность.

Иван Давыдович. Вы готовы сделать такой выбор?

Феликс медленно качает головой.

Иван Давыдович. Почему?

Феликс (морщась). Почему? Да потому что нет у меня никакого выбора... Если я выберу смерть, вы меня выкинете в окно... А если я выберу это ваше бессмертие... я вообще не знаю, какую гадость вы мне тогда сделаете. Чего от вас еще ждать?

Наташа. Святая дева! До чего же глупы эти современные мужчины! Я, помнится, моментально поняла, о чем идет речь...

Иван Давыдович. Не забывайте, мадам, это было пятьсот лет назад...

Наташа. Четыреста семьдесят три!

Иван Давыдович. Да-да, конечно... Вспомните, тогда ведь все это было в порядке вещей: бессмертие, философский камень, полеты на метле... Вам ничего не стоило тогда поверить по первому слову! А вы представьте себе, что пишете заметку для газеты «Кузница кадров», а тут к вам приходят и предлагают бессмертие...

Курдюков (из угла). Да врет он все. Ваньку он перед вами валяет. Давным-давно он уже все порешил и выбрал...

Иван Давыдович. Перестаньте, Басаврюк, вы уже надоели. Все это теперь несущественно. На самом деле даже интереснее, если Феликс Александрович действительно ничего не понимает. (Некоторое время он пристально, изучающе смотрит Феликсу в лицо, а потом начинает с выражением, словно читая по тексту, говорить.) Недалеко от города, в Крапивкином Яру, есть карстовая пещера, мало кому здесь известная. В самой глубине ее, в гроте, совсем уж никому не известном, свисает со свода одинокий сталактит весьма необычного красного цвета. С него в каменное углубление — кап-кап-кап! — капает Эликсир Жизни. Пять ложечек в три года. Этот Эликсир не спасает ни от яда, ни от пули, ни от меча. Но он спасает от старости. Говоря современным языком, это некий гормональный регулятор необычайной мощности. Одной ложечки в три года достаточно, чтобы воспрепятствовать любым процессам старения в человеческом организме. Любим! Организм не стареет! Совсем не стареет. Вот вам сейчас пятьдесят лет.

Начнете пить Эликсир, и вам всегда будет пятьдесят лет. Всегда. Вечно. Понимаете? По чайной ложке в три года, и вам навсегда останется пятьдесят лет.

Феликс пожимает плечами. Не то чтобы он поверил всему этому, но трезвая, разумная речь Ивана Давыдовича, а в особенности применяемые им научные термины производят на него успокаивающее действие.

Иван Давыдович. Беда, однако же, в том, что ложечек всего пять. А значит, и бессмертных может быть только пять. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Или нет?

Феликс. Шестой лишний?

Иван Давыдович. Истинно так.

Феликс (оживляясь). Но ведь я, кажется, и не претендую...

Иван Давыдович. То есть вам угодно выбрать смерть?

Феликс. Почему — смерть? Меня это вообще не касается! Вы идите своей дорогой, а я — своей... Обходились же мы друг без друга до сих пор!

Иван Давыдович. Я вижу, вы пока еще не поняли ситуации. Эликсира хватает только на пятерых. Надо ли объяснять, что желающих нашлось бы гораздо больше! Если бы сведения распространились, у нас бы просто отняли Источник, и мы бы перестали быть бессмертными. Понимаете? Мы все были бы давным-давно мертвы, если бы не сумели до сих пор — на протяжении веков! — сохранить тайну. Вы эту тайну узнали, и теперь уж одно из двух: или вы присоединяетесь к нам, или, извините, мы будем вынуждены вас уничтожить.

Феликс. Глупости какие... Что же, по-вашему, я побегу сейчас везде рассказывать эту вашу тайну? Что я, по-вашему, идиот? Меня же немедленно посадят в психушку!

Иван Давыдович. Может быть. И даже, наверное. Но согласитесь, уже через неделю сотни и сотни дураков выйдут на склоны Крапивкина Яра с мотыгами и лопатами... Люди так легковерны, люди так жаждут чуда! Нет, рисковать мы не станем. Видите ли, у нас есть опыт. Мы можем быть спокойны лишь тогда, когда тайну знают только пятеро.

Феликс. Но я же никому не скажу! Ну зачем это мне, сами подумайте! Ну поверьте вы мне, ради бога! Дочерью своей клянусь!

Иван Давыдович. Не надо. Это бессмысленно.

Феликс. Но вы же должны понимать: у меня дочь, внуки, как же я в таких условиях могу проговориться? Это же не в моих интересах!

Иван Давыдович. Вы прекрасно знаете, вы же писатель, что люди сплошь да рядом поступают именно против своих интересов.

В кабинете появляется Павел Павлович с подносом, на котором дымятся шесть чашечек кофе.

Павел Павлович. А вот и кофеек! Выпьем по чашечке кофе, и все проблемы разрешатся сами собой! Прошу! (Наташе.) Прошу, дочка... Ротмистр! Магистр, прошу вас... Вам приглянулась эта чашечка? Пожалуйста!.. Феликс Александрович! Я вижу, они вас совсем разволновали, хлебните черной бодрости, успокойтесь... Басаврюк, дружище, старый боевой конь, что же ты забился в угол? Чашечку кофе — и все пройдет!

Обнеся всех, он возвращается на свое место к журнальному столику с оставшейся чашечкой и, очень довольный, усаживается в кресло.

Феликс жадно, обжигаясь, выхлебывает свой кофе, ставит пустую чашечку на стол и озирается.

Один только Павел Павлович с видимым наслаждением вкушает «черную бодрость». Иван же Давыдович, хотя и поднес свою чашечку к губам, но не пьет, а пристально смотрит на Феликса. И Наташа не пьет: держа чашечку на весу, она внимательно следит за Иваном Давыдовичем. Ротмистр ищет, где бы ему присесть. А Курдюков у себя в углу уже совсем было нацелился отхлебнуть и вдруг перехватывает взгляд Наташи и замирает.

Иван Давыдович осторожно ставит свою чашечку на стол и отодвигает ее от себя указательным пальцем. И тогда Курдюков с проклятьем швыряет свою чашечку прямо в книжную стенку.

Феликс (вздвогнув от неожиданности). Скотина! Что ты делаешь?

Павел Павлович (хладнокровно). Что, муха попала? У вас, Феликс Александрович, полно мух на кухне...

Иван Давыдович. Князь! Ведь я же вас просил! Ну куда мы теперь денем труп!

Павел Павлович (ерничает). Труп? Какой труп? Где труп? Не вижу никакого трупа!

Наташа высоко поднимает свою чашечку и демонстративно медленно выливает кофе на пол. Ротмистр, звучно крикнув, ставит свою чашку на пол и осторожно задвигает ногой под диван.

Павел Павлович. Ну, господа, на вас не угодишь... Такой прекрасный кофе удался... Не правда ли, Феликс Александрович?

Курдюков (остервенело). Гад ядовитый! Евнух византийский! Отравитель! За что? Что я тебе сделал? Убью!

Иван Давыдович. Басаврюк! Если вы еще раз позволите себе повыситься голос, я прикажу заклеить вам рот!

Курдюков (страстным шепотом). Но он же отравить меня хотел! За что?

Иван Давыдович. Да почему вы решили, что именно вас?

Курдюков. Да потому что я сманил у него этого треклятого повара! Помните, у него был повар, Жерар Декотиль? Я его переманил, и с тех пор он меня ненавидит!

Иван Давыдович смотрит на Павла Павловича.

Павел Павлович (благодарно). Да я и думать об этом забыл!.. Хотя повар был и на самом деле замечательный... Уникальный был повар...

Феликс наконец осознает происходящее. Он медленно поднимается на ноги. Смотрит на свою чашку. Лицо его искажается.

Феликс (с трудом). Так это что — вы меня отравили? Павел Павлович!

Павел Павлович. Ну-ну, Феликс Александрович! Что за мысли?

Феликс (не слушая). Пустите, пустите! Меня тошнит, пустите!

Он выбирается из-за стола и, оттолкнув Клетчатого, устремляется в уборную.

Он сидит на краю ванны, весь мокрый, и вытирается полотенцем, тупо глядя перед собой, а Клетчатый, стоя в дверях, благодарно разглагольствует: «Напрасно беспокоитесь, Феликс Александрович. Это он, конечно, целился не в вас. Если бы он целился в вас, вы бы уже сейчас у нас тут похолодели... А вот в кого он целился — это вопрос! Конечно, у нас здесь теперь один лишний, но вот кого ОН считает лишним?..»

Феликс (бормочет). Зверье... Ну и зверье... Прямо вурдалаки какие-то...

Клетчатый. А как же? А что прикажете делать? У меня, правда, опыта соответствующего нет пока. Не знаю, как это у них раньше проделывалось. Я ведь при Источнике всего полтора года состою.

Феликс, вытираясь полотенцем, смотрит на него с ужасом и изумлением, как на редкостное и страшное животное.

Клетчатый. Сам-то я восемьсот второго года рождения. Самый здесь молодой, хе-хе... Из молодых, да ранний, как говорится... Но здесь, знаете ли, дело не в годах. Здесь главное — характер. Я не люблю, знаете ли, чтобы со мной шутили, и никто со мной шутить не рискует. Ко мне сам Магистр, знаете ли... хе-хе... не говоря уже о всех прочих... Быстрота и натиск прежде всего, я так полагаю. Извольте, к примеру, сравнить ваше нынешнее поведение с тем, как я себя вел при аналогичном, так сказать, выборе... Я тогда в этих краях по жандармской части служил и занимался преимущественно

контрабандистами. И удалось мне выследить одну загадочную пятерку... Пещерка у них, вижу, в Крапивкином Яру, осторожное поведение... Ну, думаю, тут можно попользоваться. Выбрал одного из них, который показался мне пожиже, и взял. Лично. А взявши, обработал. Обрабатывать я уже умел хорошо, начальство не жаловалось. Ну-с, вот он мне все и выложил... Заметьте, Феликс Александрович: то, что вам нынче на блюдечке преподнесли по ходу обстоятельств, мне досталось в поте лица... Всю ночь, помню, как каторжный... Однако, в отличие от вас, я быстро разобрался, что к чему. Там, где место только пятерым, там шестому не место. А значит — камень ему на шею, а сам — в дамках...

Феликс. Так вот почему этот идиот на меня кинулся... со стамеской со своей... как ненормальный...

Клетчатый. Не знаю, не знаю, Феликс Александрович... Думаю, понормальнее он нас с вами, как говорится... Да и то сказать: вот у кого опыт. С одна тысяча двести восемьдесят второго годика! Такое время при Источнике удержаться — это надобно уметь!

Феликс. Костя? С тысяча двести? Да он же просто рифмоплет грошовый!

Клетчатый. Ну, это как вам будет удобнее... Облегчились? Тогда пойдёмте.

Они возвращаются в кабинет. В кабинете молчание. Наташа вдумчиво, с каким-то даже сладострастием обрабатывает помадой губы. Павел Павлович озабоченно колдует со своими серебристыми трубочками над ломтиками ветчины, разложенными на дольках белого пухлого калача. Иван Давыдович читает рукопись Феликса, брови у него изумленно задраны. Курдюков же, заложив руки за спину, как хищник в клетке, кружит в тесном пространстве между дверью и окном. Битое лицо его искривлено так, что видны зубы. Увидев Феликса, он пятится к стене и прижимается к ней лопатками.

Павел Павлович (взглянув на Феликса). Ну? Всё в порядке? Мнительность, голубчик, мнительность! Нельзя так волноваться из-за каждого пустяка...

Иван Давыдович (бодро). Так! Давайте заканчивать. Ротмистр, пожалуйста, приглядывайте за обоими. Вы, Басаврюк, стойте, где стоите и не смейте кричать. Иначе я тут же, немедленно объявлю, что я против вас. Феликс Александрович, вы — сюда. И руки на стол, пожалуйста. Итак... С вашего позволения, я буду сразу переводить на русский... М-м-м... «В соответствии с основным... э-э-э... установлением... а именно, с параграфом его четырнадцатым... э-э... трактующим о

важностях...» Проклятье! Как бы это... Князь, подскажите, как это будет лучше — «ахэллан» ...

Павел Павлович. «Наизначительнейшее наисамейшее важное».

Иван Давыдович. Чудовищно неуклюже!

Павел Павлович. Да пропустите вы всю эту белиберду, Магистр! Кому это сейчас нужно? Давайте суть, и своими словами!..

Иван Давыдович. Вы не возражаете, Феликс Александрович?

Феликс. Я вам только одно скажу. Если ко мне кто-нибудь из вас приблизится...

Иван Давыдович. Феликс Александрович! Совсем не об этом сейчас речь... Хорошо, я самую суть. Случай чрезвычайный, присутствуют все пятеро, каждый имеет один голос. Очередность высказываний произвольная либо по жребию, если кто-нибудь потребует. Прошу.

Курдюков (свистящим шепотом). Я протестую!

Иван Давыдович. В чем дело?

Курдюков. Он же не выбрал! Он же должен сначала выбрать!

Наташа (глядясь в зеркальце). Ты полагаешь, котик, что он выберет смерть?

Все, кроме Курдюкова и Феликса, улыбаются.

Курдюков. Я ничего не полагаю! Я полагаю, что должен быть порядок! Мы его должны спросить, а он должен нам ответить!

Иван Давыдович. Ну, хорошо. Принято. Феликс Александрович, официально осведомляемся у вас, что вам угодно выбрать: смерть или бессмертие?

Белый как простыня, Феликс откидывается на спинку стула и в тоске хрустит пальцами.

Феликс. Объясните хоть, что все это значит? Я не понимаю!

Иван Давыдович (с досадой). Все вы прекрасно понимаете! Ну, хорошо... Если вы выбираете смерть, то вы умрете, и тогда голосовать нам, естественно, не будет надобности. Если же вы выберете бессмертие, тогда вы становитесь соискателем, и дальнейшая ситуация подлечит нашему обсуждению.

Пауза.

Иван Давыдович (с некоторым раздражением). Неужели нельзя обойтись без этих драматических пауз?

Наташа (тоже с раздражением). Действительно, Феликс! Тянешь кота за хвост...

Феликс. Я вообще не хочу выбирать.

Курдюков (хлопнув себя по коленям). Ну, вот и прекрасно! И голосовать нечего!

Иван Давыдович (с ошарашенным видом). Нет, позвольте...

Наташа. Феликс, ты доиграешься! Здесь тебе не редколлегия!

Павел Павлович. Феликс Александрович, это что? Шутка? Извольте объясниться...

Курдюков. А чего объясняться? Чего тут объясняться-то? Он же этот... гуманист! Тут и объясняться нечего! Бессмертия он не хочет, не нужно ему бессмертие, а отпустить его нельзя... Так чего же тут объясняться?

Наташа (взявшись за голову). Ой, да перестань ты тарыхтеть!

Иван Давыдович. Вы, Феликс Александрович, неудачное время выбрали для того, чтобы оригинальничать...

Павел Павлович. Вот именно. Объяснитесь!

Курдюков. А чего тут объяс...

Иван Давыдович обращает на него свой мрачный взор, и Курдюков замолкает на полуслове.

Феликс. Я в эту игру играть не намерен.

Наташа (нежно). Это же не игра, дурачок! Никак ты свой рационализм преодолеть не можешь. Убьют тебя — и все. Потому что это не игра. Это кусочек твоей жизни. Может быть, последний.

Курдюков. А что она вмешивается? Что она лезет? Где это видано, чтобы уговаривали?

Наташа (указывает пальцем на Феликса). Я — за него.

Курдюков. Не по правилам!

Наташа. Пусть он тебя удавит, а я ему помогу.

Курдюков хватается за лицо руками и с тоненьким писком съезжает по стене на пол.

Павел Павлович. Магистр, а может быть, Феликс Александрович просто плохо себе представляет конкретную процедуру? Может быть, нам следует ввести его в подробности?

Иван Давыдович. Может быть. Попробуем. Итак, Феликс Александрович, когда вы выбрали бессмертие, вы тотчас становитесь соискателем. В этом случае мы утверждаем вашу кандидатуру простым большинством голосов, и тогда вам с господином Курдюковым останется решить вопрос между собой. Это может быть поединок, это может быть жребий, как вы договоритесь. Мы же, со своей стороны, сосредоточиваем свои усилия на том, чтобы ваше... э-э... соревнование... не вызвало нежелательных осложнений. Обеспечение алиби... избавление от мертвого тела... необходимые лжесвидетельства... и так далее. Теперь процедура вам ясна?

Феликс (решительно). Делайте что хотите. В «шестой лишней» я с вами играть не буду.

Павел Павлович (потрясенный). Вы отказываетесь от шанса на бессмертие?

Феликс молчит.

Павел Павлович (с восхищением). Господа! Да он же любопытная фигура! Вот уж никогда бы не подумал! Писателишка, бумагома-рака!.. Вы знаете, господа, я, пожалуй, тоже за него. Я — консерватор, господа, я не поклонник новшеств, но такой поворот событий! Или я ничего не понимаю, или теперь уже новые времена наступили наконец... Хомо новус?

Курдюков (скулит). Да какой там хомо новус! Что вам, глаза позалепило? Продаст же он вас! Продаст! Для виду сейчас согласится, а завтра уже продаст! Да посмотрите вы на него! Ну зачем ему бессмер-тие? Он же гуманист, у него же принципы! У него же внуков двое! Как он от них откажется? Феликс, ну скажи ты им, ну зачем тебе бессмер-тие, если у тебя руки будут в крови? Ведь тебе зарезать меня придется, Феликс! Как ты своей Лизке в глаза-то посмотришь?

Наташа (насмешливо). А что это он вмешивается? Что он лезет? Где это видано, чтоб отговаривали?

Курдюков (не слушая). Феликс! Ты меня послушай, я ведь тебя знаю, тебе же это не понравится. Ведь бессмертие — это и не жизнь, если хочешь, это совсем иное существование! Ведь я же знаю, что ты больше всего ценишь... Тебе дружбу подавай; тебе любовь подавай... А ведь ничего этого не будет! Откуда? Всю жизнь скрываться, от до-чери скрываться, от внуков... Они же постареют, а ты нет! От властей скрываться, Феликс! Лет десять на одном месте — больше нельзя. И так веками, век за веком! (Зловеще.) А потом ты станешь такой, как мы. Ты станешь такой, как я! Ты очень меня любишь, Феликс? По-смотри, посмотри повнимательнее, я — твоё зеркало.

Все слушают, всем очень интересно.

Павел Павлович (блеет одобрительно). Неплохо, очень неплохо изложено. Я бы еще добавил из Шмальгаузена: «Природа отняла у нас бессмертие, давши взамен любовь». Но ведь и наоборот, господа! И наоборот!

Курдюков (не слушая). Это же нужен особый талант, Феликс, — получать удовольствие от бессмертия! Это тебе не рюмку водки выпить, не повестуху настрочить...

Феликс. Что ты меня уговариваешь? Ты своих вон динозавров уго-варивай, чтобы они от меня отстали! Мне твоё бессмертие даром не нужно...

Павел Павлович. Позвольте, позвольте! Не увлекаетесь ли вы, Фе-ликс Александрович? Как-никак бессмертие есть заветнейшая мечта

рода человеческого! Величайшие из великих по пояс в крови не постеснялись бы пройти за бессмертием!.. Не гордыня ли вас обуревает, Феликс Александрович? Или вы все еще не верите?

Феликс. Во-первых, я действительно вам не верю...

Павел Павлович. Но это же, простите, глупо. Нельзя же в своем рационализме доходить до глупости!

Феликс. А во-вторых, вы мне предлагаете не бессмертие. Вы мне предлагаете совершить убийство.

Курдюков (страстно). Убийство, Феликс! Убийство!

Феликс. Величайшее из великих — ладно. Знаю я, кого вы имеете в виду. Чингисхан, Тамерлан... Вы мне их в пример не ставьте, я этих маньяков с детства ненавижу...

Курдюков (подхалимски). Живодеры, садисты...

Феликс. Молчи! Ты мне никогда особенно не нравился, чего там... а сейчас вообще омерзителен. Такой ты подонок оказался, Костя, просто подлец... Но убить! Да нет, чушь какая-то... Несерьезно.

Павел Павлович. А вы что же, друг мой, хотите получить бессмертие даром? Забавно! Много ли вы в своей жизни получили даром? Очередь в кооператив получить — и то весь в грязи изваляешься... А тут все-таки бессмертие!

Феликс. Даром я ничего не получил, это верно. Но и в грязи никогда не валялся...

Курдюков. Ой ли?

Феликс. Да уж задниц не лизал, как некоторые! Я работал! Работал и зарабатывал!

Павел Павлович. Ну, вот и поработайте еще разок...

Феликс (угрюмо). Это не работа.

Клетчатый и Наташа (в один голос). Почему это не работа?

Павел Павлович ухмыляется. Феликс оглядывает их всех по очереди.

Феликс. Господи! Подумать только — Пушкин умер, а эти бессмертны! Коперник умер. Галилей умер...

Курдюков (остервенело). Вот он! Вот он! Моралист вонючий в натуральную величину! Неужели вы и теперь не понимаете, с кем имеете дело?

Наташа. Да-а, Феликс... Я, конечно, не Галилей, но Афродитой, помнится, ты меня называл, и не раз...

Павел Павлович (поучительно). Что жизнь, что бессмертие — и то и другое нам дарует Фатум. Только жизнь дается нам — грехами родителей — бесплатно, а за бессмертие надобно платить! Так что мне, кажется, господа, вопрос решен. Феликс Александрович погорячится-

погорячится, да потом и поймет, что жизнь дается человеку один раз, и коль скоро возникла возможность растянуть ее на неопределенный срок, то таковой возможностью надлежит воспользоваться независимо от того, какая у тебя фамилия — Галилей, Велизарий, Снегирев, Петров, Иванов... Феликсу Александровичу не нравится цена, которую придется ему за это платить. Тоже не страшно! Внутренне соберется, надуется... ну, нос зажмет в крайнем случае, если уж так его с души воротит... Кстати, вы, кажется, вообразили себе, Феликс Александрович, что вам предстоит перепиливать сопернику горло тупым ножом или, понимаете ли... как он вас, понимаете ли... стамеской... или шилом...

Курдюков. Только на шпагах.

Павел Павлович. Ну зачем обязательно на шпагах? Две пилюльки, совершенно одинаковые на вид, на цвет, на запах... (Лезет в часовой кармашек, достает плоскую округлую коробочку, раскрывает и показывает издали.) Вы берете себе одну, соперник берет оставшуюся... Все решается в полминуты, не более... и никаких мучений, никаких судорог, рецепт древний, многократно испытанный... И заметьте, мук совести никаких: Фатум!

Курдюков (кричит). Только на шпагах!

Наташа (задумчиво). Вообще-то на шпагах зрелищнее...

Павел Павлович. Во-первых, где взять шпаги? Во-вторых, где они будут драться? В этой комнате? На площади? Где? В-третьих, куда деть труп, покрытый колотыми и рублеными ранами?.. Хотя, разумеется, это гораздо более зрелищно. Особенно если принять во внимание, что Феликс Александрович сроду шпаги в руке не держал... Это вы совершенно правильно подметили, деточка: такие бои особенно привлекательны при явном превосходстве одной из сторон...

Иван Давыдович. Господа, я вынужден еще раз напомнить. Никаких акций в этой квартире. В том числе и с вашими пилюлями, Князь.

Павел Павлович (вкрадчиво). Ни малейших следов!

Иван Давыдович. Нет!

Павел Павлович. Я гарантирую вам совершенно. Просто с человеком случится инфаркт. Или апоплексический удар...

Иван Давыдович. Нет, нет и нет! Не сегодня и не здесь. Собственно, это вообще особый разговор. Вы забегаете, Князь! Давайте подбивать итоги. Вы, Князь, за соискателя. Вы, сударыня, тоже. Басарюка я не спрашиваю. Ротмистр?

Клетчатый (бросает окурок на пол и задумчиво растирает его подошвой). Всячески прошу вашего прощения, герр Магистр, но я против. И вы извините, мадам, целую ручки, и вы, ваше сиятельство.

Упаси бог, никого обидеть не хочу и никого не хочу задеть, однако мнение в этом вопросе имею свое и, можно сказать, выстраданное. Господина Басаврюка я знаю с самого моего начала, давно уже, и никаких внезапностей от него ждать не приходится...

Наташа (насмешливо). И нынешнюю прелестную ночь вы тоже ожидали, Ротмистр?

Клетчатый. В нынешней прелестной ночи, мадам, прелестного, конечно же, мало, но ничего такого уж совсем плохого в ней тоже нет. Все утрясется, все будет путем. Господин Басаврюк — человек слабый, остутился, и еще, может быть, оступится — больно уж робок. Но он же наш... А вот господин писатель, не в обиду ему будет сказано... Не верю я вам, господин писатель, не верю и никогда не поверю. И не потому я не верю, что вы плохой какой-нибудь или себе на уме — упаси бог! Просто не понимаю я вас. Не понимаю я, что вам нравится, а что вам не нравится, чего вы хотите, а чего не хотите... Чужой вы, Феликс Александрович. Будете вы в нашей маленькой компании как заноза в живом теле, и лучше для всех для нас, если вас не будет. Со всем. Извините великодушно, ежели кого задел. Намерения такого не было.

Курдюков (прочувствованно). Спасибо, Ротмистр! Никогда я вам этого не забуду!

Клетчатый с заметной опаской взглядывает на него, делает неопределенный жест и принимается раскуривать очередную сигарету. И тут вдруг Курдюков, сидевший до сих пор на корточках у стены, падает на четвереньки, быстро, как паук, подбегает к Ивану Давыдовичу и стучается лбом в пол у его туфли.

Иван Давыдович (брезгливо-небрежно). Хорошо, хорошо, я учту... Господа! Голоса разделились поровну. Решающий голос оказался за мной...

Он со значением смотрит на Феликса, и на лице его вдруг появляется выражение изумления и озабоченности.

Феликс больше не похож на человека, загнанного в ловушку. Он сидит вольно, несколько развалясь, закинув руку за спинку своего кресла. Лицо его спокойно и отрешенно, он явно не слышит и не слушает, он даже улыбается углом рта! Наступившая тишина возвращает его к действительности. Он как бы спохватывается и принимается шарить рукой по бумагам на столе, находит сигареты, сует одну в рот, а зажигалки нет, и он смотрит на Клетчатого.

Феликс. Ротмистр, отдайте зажигалку! Давайте, давайте, я видел! Что за манеры?.. (Ротмистр торопливо возвращает зажигалку.) И

перестаньте вы мусорить на пол! Вот пепельница, вытряхните и пользуйтесь!

Все смотрят на него настороженно.

Феликс. Господа динозавры, я тут несколько отвлекся и, кажется, что-то пропустил... Но, понимаете ли, когда до меня дошло наконец, что убивать вы меня сегодня не осмелитесь, мне значительно, знаете ли, полегчало... И знаете, что я обнаружил? У нас тут с вами, слава богу, не трагедия, а комедия! Комедия, господа! Забавно, правда?

Все молчат.

Курдюков (неуверенно). Комедия ему...

Наташа. Если комедия, то почему же не смешно?

Феликс (весело). А это такая особенная комедия! Когда смеяться нечему! Когда впору плакать, а не смеяться!

И снова все молчат, и каждый силится понять, что же это вдруг произошло с соискателем.

Иван Давыдович. Я хотел бы поговорить с соискателем наедине.

Павел Павлович. И я тоже...

Иван Давыдович. Куда у вас здесь можно пройти, Феликс Александрович?

Феликс. Что за тайны?.. А впрочем, пройдемте в спальню.

В спальне Феликс садится на тахту, Иван же Давыдович устраивается напротив него на стуле.

Иван Давыдович. Итак, насколько я понял по вашему поведению, вы наконец сделали выбор.

Феликс. Какой выбор? Смерть или бессмертие? Слушайте, бессмертие, может быть, и неплохая штука, не знаю... но в такой компании... В такой компании только покойников обмывать!

Иван Давыдович. Ах, Феликс Александрович, как вы меня беспокоите! Но смерть же еще хуже! Да, конечно, по-своему вы правы. Когда обыкновенный серенький человечек волею судьбы обретает бессмертие, он с неизбежностью превращается через два-три века в монотона... Черта характера, превалировавшая в начале его жизни, становится со временем единственной. Так появляется ваша эротоманка Наталья Петровна, маркитанточка из рейтарского обоза, — ныне в ней, кроме маркитантки, уже ничего не осталось, и надо быть, простите, Феликс Александрович, таким вот неприятительным кобелем, как вы, чтобы увидеть в ней женщину...

Феликс. Ну, знаете, ваш Павел Павлович не лучше!

Иван Давыдович. Нисколько не лучше! Я не знаю, с чего он начал, он очень древний человек, но сейчас это просто гигантский вкусовой пупырышек...

Феликс. Недурно сказано!

Иван Давыдович. Благодарю вас... У меня вообще впечатление, Феликс Александрович, что из всей нашей компании я вызываю у вас наименьшее отвращение. Я угадал?

Феликс неопределенно пожимает плечами.

Иван Давыдович. Благодарю вас еще раз. Именно поэтому я и решил потолковать с вами без свидетелей. Чтобы не маячили рядом со всем уж омерзительные рожи. Не стану притворяться: я — холодный, равнодушный и жестокий человек. Иначе и быть не может. Мне пять сотен лет. За такое время волей-неволей освобождаешься от самых разнообразных химер: любовь, дружба, честь и прочее. Мы все такие. Но в отличие от моих компаньонов я имею идею. Для меня существует в этом мире нечто такое, что нельзя ни сожрать, ни облапить, ни засунуть под зад, чтобы стало еще мягче. За свою жизнь я сделал сто семь открытий и изобретений. Я выделил фосфор на пятьдесят лет раньше Брандта, я открыл хроматографию на двадцать лет раньше Цвета, я разработал периодическую систему примерно в те же годы, что и Дмитрий Иванович... По понятным причинам я вынужден сохранять все это в тайне, иначе мое имя уже гремело бы в истории — гремело бы слишком, и это опасно. Всю жизнь я занимаюсь тем, что нынче назвали бы синтезированием Эликсира. Я хочу, чтобы его было в досталь. Нет-нет, не из гуманных соображений! Меня не интересуют судьбы человечества. У меня свои резоны. Простейший из них: мне надоело сидеть в подполье и шарахаться от каждого жандарма. Мне надоело опережать свое время в открытиях. Мне надоело быть номером ноль. Я хочу быть номером один. Но мне не на кого опереться. Есть только четыре человека в мире, которым я мог бы довериться, но они абсолютно бесполезны для меня. А мне нужен помощник! Мне нужен интеллигентный собеседник, способный оценить красоту мысли, а не только красоту бабы или пирожка с капустой. Таким помощником можете стать вы. По сути, Курдюков оказал мне услугу: он поставил вас передо мной. Я же вижу — вы человек идеи. Так подумайте: попадется ли вам идея, еще более достойная, чем моя!

Феликс. Я ничего не понимаю в химии.

Иван Давыдович. В химии понимаю я! Мне не нужен человек, который понимает в химии. Мне нужен человек, который понимает в идеях. Я устал быть один. Мне нужен собеседник, мне нужен оппонент. Соглашайтесь, Феликс Александрович! До сих пор бессмертных творил Фатум. С вашей помощью их начну творить я. Соглашайтесь!

Феликс (задумчиво). Н-да-а-а...

Иван Давыдович. Вас смущает плата? Это пустяки. Нигде не сказано, что вы обязаны убирать его собственными руками. Я обойдусь без вас.

Феликс. Всунете меня в сапоги убитого?

Иван Давыдович. Вздор, вздор, Феликс Александрович! Детский лепет, а вы же взрослый человек... Константин Курдюков прожил на свете семьсот лет! И все это время он только и делал, что жрал,пил, грабил, портил малолетних и убивал. Он прожил лишних шестьсот пятьдесят лет! Это просто патологический трус, который боится смерти так, что готов пойти на смерть, чтобы только избежать ее! Шестьсот пятьдесят лет, как он уже мертв, а вы разводите антимионии вокруг его сапог! Кстати, и не его это сапоги, он сам влез в них, когда они были еще теплые... Послушайте, я был о вас лучшего мнения! Вам предлагают грандиознейшую цель, а вы думаете — о чем?

Феликс. Ни вы, ни я не имеем права решать, кому жить, а кому умереть.

Иван Давыдович. Ах, как с вами трудно! Гораздо труднее, чем я ожидал! Чего же вы добиваетесь тогда? Ведь пойдете под нож!

Феликс. Да не пойду я под нож!

Иван Давыдович. Пойдете под нож, как баран, а это ничтожество, эта тварь дрожащая, коей шестьсот лет как пора уже сгнить дотла, еще шестьсот лет будет порхать с цветка на цветок без малейшей пользы для чего бы то ни было! А я-то вообразил, что у вас действительно есть принципы. Ведь вы же писатель. Ведь сказано же было таким, как вы, что настоящий писатель должен жить долго! Вам же предоставляется возможность, какой не было ни у кого! Переварить в душе своей многовековой личный опыт, одарить человечество многовековой мудростью... Вы подумайте, сколько книг у вас впереди, Феликс Александрович! И каких книг — невиданных, небывалых!.. Да, а я-то думал, что вы действительно готовы сделать что-то для человечества, о котором с такой страстью распинаетесь в своей статье... Эх вы, мотыльки, эфемеры!..

Феликс. Вот мы уже и о пользе для человечества заговорили...

Иван Давыдович поднимается и некоторое время смотрит на Феликса.

Иван Давыдович. Вам, кажется, угодно разыгрывать из себя героя, Феликс Александрович, но ведь сочтут-то вас глупцом!

Он выходит, и сейчас же в спальне объявляется Клетчатый.

Клетчатый. Прошу прощения... Телефончик...

Он быстро и ловко отключает телефонный аппарат и несет его к двери. Перед дверью он приостанавливается.

Клетчатый. Давеча, Феликс Александрович, я мог показаться вам дерзким. Так вот, не хотелось бы оставить такое впечатление. В моей натуре главное — прямота. Что думаю, то и говорю. Однако же намерения обидеть, задеть, возвыситься никогда не имею.

Феликс. Валите, валите отсюда... Да с телефоном поосторожнее! Это вам не предмет конфискации! Можете позвать следующего. Очередь небось уже выстроилась...

Оставшись один, Феликс валится спиной на кушетку и закладывает руки под голову. Бормочет: «Ничего... Тут главное — нервы. Ни черта они мне не сделают, не посмеют!..»

У двери в спальню Курдюков уламывает Клетчатого.

Курдюков. Убежит, я вам говорю! Обязательно удерет! Вы же его не знаете!

Клетчатый. Куда удерет? Седьмой этаж, сударь...

Курдюков. Придумает что-нибудь! Дайте я сам посмотрю...

Клетчатый. Нечего вам там смотреть, все уже осмотрено...

Курдюков. Ну я прошу вас, Ротмистр! Как благородный человек! Я вам честно скажу: мне с ним поговорить надо...

Клетчатый. Поговорить... Вы его там шлепнете, а мне потом отвечать...

Курдюков (страстно, показывая растопыренные ладони). Чем? Чем я его шлепну? А если даже и шлепну? Что здесь плохого?

Клетчатый. Плохого здесь, может быть, ничего и нет, но ведь, с другой стороны, приказ есть приказ... (Он быстро и профессионально обшаривает Курдюкова.) Ладно уж, идите, господин Басаврюк. И помогай вам бог...

Курдюков на цыпочках входит в спальню и плотно закрывает за собой дверь.

Феликс встречает его угрюмым взглядом, но Курдюкова это несколько не смущает. Он подсакивает к тахте и наклоняется к самому уху Феликса.

Курдюков. Значит, делаем так. Я беру на себя Ротмистра. От тебя же требуется только одно: держи Магистра за руки, да покрепче. Остальное — мое дело.

Феликс отодвигает его растопыренной ладонью и садится.

Курдюков. Ну, что уставился? Надо нам из этого дерьма выбираться или не надо? Чего хорошего, если тебя шлепнут или меня шлепнут? Ты, может, думаешь, что о тебе кто-нибудь позаботится? Чего тебе тут Магистр наплел? Наобещал небось с три короба? Не верь ни единому слову! Нам надо самим о себе позаботиться! Больше

заботиться некому! Дурак, нам только бы вырваться отсюда, а потом дернем кто куда... Неужели у тебя места не найдется, куда можно нырнуть и отсидеться?

Феликс. Значит, я хватаю Магистра?

Курдюков. Ну?

Феликс. А ты, значит, хватаешь Ротмистра?

Курдюков. Ну! Остальные, они ничего не стоят!

Феликс. Пошел вон!

Курдюков. Да почему? Дурак! Не веришь мне! Ну, ты мне только пообещай: когда я Ротмистра схвачу, попридержи Ивана Давыдовича!

Феликс. Вон пошел, я тебе говорю!

Курдюков рычит, совершенно как собака. Он подбегает к окну, быстро и внимательно оглядывает раму и, удовлетворившись, устремляется к двери. Распахнув ее, он оборачивается к Феликсу и громко шипит: «О себе подумай, Снегирев! Еще раз тебе говорю! О себе подумай!»

Едва он скрывается, в спальню является Наташа и тоже плотно закрывает за собой дверь. Она подходит к тахте, садится рядом с Феликсом и озирается.

Наташа. Господи, как давно я здесь не была! А где же секретер? У тебя же тут секретерчик стоял...

Феликс. Лизавете отдал. Почему это тебя волнует?

Наташа. А что это ты такой колючий? Я ведь тебе ничего плохого не сделала. Ты ведь сам в эту историю въехал... Фу ты, какое злое лицо! Вчера ты на меня совсем не так смотрел... Страшно?

Феликс. А чего мне бояться?

Наташа. Ну, как сказать... Пока Курдюков жив...

Феликс. Да не посмеете вы.

Наташа. Сегодня не посмеем, а завтра...

Феликс. И завтра не посмеете... Неужели никто из вас до сих пор не сообразил, что вам же хуже будет?

Наташа. Слушай. Ты же не понимаешь. Они же совсем без ума от страха. Они сейчас от страха на все готовы, вот что тебе надо понять. Я вижу, ты что-то там задумал. Не зарывайся! Никому не верь, ни единому слову. И спиной ни к кому не поворачивайся — охнуть не успеешь! Я видела, как это делается...

Феликс. Что это ты вдруг меня опять полюбила?

Наташа. Сама не знаю. Я тебя сегодня словно впервые увидела. Я же думала: ну, мужичишка, ну, кобелек, на два вечерка сгодится... А ты вон какой у меня оказался! (Она совсем придвигается к нему, и

прижимается, и гладит по лицу.) Мужчина... Хомо... Обними меня! Ну что ты сидишь, как чужой?.. Это же я... Вспомни, как ты говорил: фея, ведьма прекрасная... Я ведь проститься хочу... Я не знаю, что будет через час... Может быть, мы сейчас последний раз с тобой...

Феликс с усилием освобождается от ее руки и встает.

Феликс. Да что ты меня хоронишь? Перестань! Вот ужшла время и место!

Наташа (цепляясь за него). В последний разочек...

Феликс. Никаких разочков... С ума сошла... Да перестань, в самом деле!

Он вырывается от нее окончательно и отбегает к окну, а она идет за ним, как сомнамбула, и бормочет, словно в бреду: «Ну почему? Почему?.. Это же я, вспомни меня... Трупик мой любимый, желанный!..»

Феликс. Слушай! Тебе же пятьсот лет! Побойся бога, старая женщина! Да мне теперь и подумать страшно!..

Она останавливается, будто он ударил ее кнутом.

Наташа. Болван. Труп вонючий. Евнух.

Феликс (спохватившись). Господи, извини... Что это я, в самом деле... Но и так же тоже нельзя...

Наташа. Дрянь. Идиот. Ты что — вообразил, что Магистр за тебя заступится? Да ему же одно только и нужно — баки тебе забить, чтобы ты завтра по милициям не побежал, чтобы время у нас осталось решить, как мы тебя будем кончать! Что он тебе наобещал? Какие золотые башни? Дурак ты стоеросовый, кастрат неживой! Тьфу!

Тут в спальню заглядывает Павел Павлович. В руке у него бутерброд, он с аппетитом прожевывает лакомый кусочек.

Павел Павлович. Деточка, десять минут истекли! Я полагаю, вы уже закончили?

Наташа (злобно). С ним закончишь! И не начинали даже! (Решительными точными движениями она оправляет на себе платье, волосы.) Хотела напоследок попользоваться, но он же ни на что не годен, Князь! Не понимаю, на что вы надеетесь...

И она стремительно выходит вон мимо посторонившегося Павла Павловича.

Павел Павлович. Ай-яй-яй-яй-яй! Вы ее, кажется, обидели... Задели, кажется... Напрасно, напрасно. (Садится на тахту, откусывает от бутерброда.) Весьма опрометчиво. Могли бы заметить: у нас ко всем этим тонкостям, к нюансам этим относятся очень болезненно! Обратили внимание, как наш Басаврюк попытался Маркизу подставить вместо себя? Дескать, это она все наши секреты вам по женской слабости раскрыла? Ход простейший, но очень, очень эффективный! И

если бы не трусость его, могло бы и пройти... Вполне могло бы! А что в основе? Маленькое недоразумение, случившееся лет этак семьдесят назад. Или сто, не помню. Отказала ему Маркиза. И не то, чтобы он горел особенной страстью, но отказала! То есть никому никогда не отказывала, а ему отказала... Чувствуете? Вы не поверите, а вот семьдесят лет прошло, и еще сто семьдесят лет пройдет, а забыто не будет! А в общем-то мы все друг друга не слишком-то долюбливаем. Да и за что мне их любить? Вздорные существа, мелкие, бездарные... Этот Магистр наш, Иван Давыдович, высоко о себе мнит, а на самом деле — обыкновенный графоман от науки. Я же специально справки навел у него в институте... Он там вечный предместкома. Вот вам и друг Менделеева! Диву даюсь, что в нем этот Ротмистр нашел? Откуда такое собачье преклонение? Да вы не стойте в углу, Феликс Александрович, присаживайтесь, поговорим...

Феликс садится на другой край тахты, закуривает и исподлобья наблюдает за Павлом Павловичем. А тот неторопливо извлекает из своего футляра очередную серебристую трубочку, капает из нее на последний кусочек бутерброда и, закативши глаза, отправляет кусочек в рот. Он наслаждается, причмокивает, подсасывает, покачивает головой как бы в экстазе.

Павел Павлович (проглотив наконец, продолжает): Вот чего вы, смертные, понять не в состоянии — вкуса. Вкуса у вас нет! Иногда я стою в зале ресторана, и наблюдаю за вами, и думаю: «Боже мой! Да люди ли это? Мыслящие ли это существа?» Ведь вы же не едите, Феликс Александрович! Вы же просто в рот куски кидаете! Это же у вас какой-то механический процесс, словно грубый грязный кочегар огромной лопатой швыряет в топку бездарный уголь, коим только головы разбивать... Ужасающее зрелище, уверяю вас... Вот, между прочим, один аспект нашего бессмертия, который вам, конечно, на ум не приходит. Я не знаю, какого сорта бессмертие даровано Агасферу. По слухам, это желчный, сухопарый старик, совершеннейший аскет. Наше бессмертие — это бессмертие совсем иного сорта! Это бессмертие олимпийцев, упивающихся нектаром, это бессмертие вечно пирующих воинов Валгаллы!.. Эликсир — это что-то поразительное! Вы можете есть все что угодно, кроме распоследней тухлятины, которую есть вам просто не захочется. Вы можете пить любые напитки, кроме откровенных ядов, и в любых количествах... Никаких катаров, никаких гастритов, никаких заворотов кишок и прочих запоров... И при всем при этом ваша обонятельная и вкусовая система всегда в идеальном состоянии. Какие безграничные возможности для наслаждения!

Какое необозримое поле для эксперимента! А вы ведь любите вкусненько поесть, Феликс Александрович! Не умеете — да. Но любите! Так что нам с вами будет хорошо. Я вас кое-чему научу, век благодарны будете... и не один век!

Феликс. Да вы просто поэт бессмертия! Бессмертный бог гастрономии!

Павел Павлович. Оставьте этот яд. Он неуместен. По сути дела, я хотел помочь вам преодолеть вашу юношескую щепетильность. Я понимаю, что у вас нет и быть не может привычки распорядиться чужой жизнью, это не в обычаях общества... А может быть, вы просто боитесь рисковать? Так ведь риска никакого нет. Пусть он сколько угодно кричит о шпагах — никаких шпаг ему не будет. Будут либо две пилюльки, либо два шприца — Магистр обожает шприцы! — либо «русская рулетка» ... А тогда все упирается в чистую технику, в ловкость рук, этим буду заниматься я, как старший, и успех я вам гарантирую...

Феликс. Слушайте, а зачем это вам? Какая вам от меня польза, ваше шество? Чокаться вам не с кем, что ли? Нектаром...

Павел Павлович. Польза-то как раз должна быть вам очевидна. Во-первых, мы уберем мозгляка. Это поганый тип, он у меня повара сманил, Жерарчика моего бесценного... Карточные долги я ему простил, пусть, но Жерара! Не могу я этого забыть, не хочу, и не просите... А потом... Равновесия у нас в компании нет, вот что главное. Я старше всех, а хожу на вторых ролях. Почему? А потому, что деревянный болван Ротмистр держит почему-то нашего алхимика за вождя. Да какой он вождь? Он пеленки еще мочил, когда я был хранителем трех Ключей... А теперь у него два Ключа, а у меня — один!

Феликс. Понимаю вас. Однако же я не Ротмистр.

Павел Павлович. Э, батенька! Что значит — не Ротмистр? Физически крепкий человек, да еще с хорошо подвешенным языком, да еще писатель, то есть человек с воображением... Да мы бы с вами горы своротили вдвоем! Я бы вас с Маркизой помирил... что вам делить с Маркизой? И стало бы нас уже трое...

Феликс. Благодарю за честь, ваше шество, но боюсь, что вынужден отказать.

Павел Павлович. Почему, позвольте узнать?

Феликс. Тошнит.

Пауза.

Павел Павлович. Позвольте мне резюмировать ситуацию. С одной стороны, практическое бессмертие, озаренное наслаждениями, о которых я вынужденно упомянул лишь самым схематическим образом.

А с другой стороны — скорая смерть, в течение ближайшей недели, я полагаю, причем, может быть, и мучительная. И вам угодно выбрать...

Феликс. Я резюмирую ситуацию совсем не так...

Павел Павлович. Батенька, да в словах ли дело? Бессмертия вы жаждете или нет?

Феликс. На ваших условиях? Конечно, нет.

Павел Павлович (воздевая руки). На наших условиях, видите ли! Да что же вы за человек, Феликс Александрович? Ужасаться прикажете вам? Склонить перед вами голову? Или развести руками?

Феликс. Погодите, вашество. Я вам сейчас объясню...

Павел Павлович (не слушая). Я чудовищно стар, Феликс Александрович. Вы представить себе не можете, как я стар. Я сам иногда вдруг обнаруживаю, что целый век выпал из памяти... Скажем, времена до Брестской унии помню, и что было после Ужгородской — тоже помню, а что было между ними — как метлой вымело... Так вы можете представить, сколько я этих соискателей на своем веку повидал! Кого только среди них не было... Византийский логофет, богомил-еретик, монгольский сотник, ювелир из Кракова... И как же все они жаждали припасть к Источнику! Головы приносили и швыряли передо мной: «Я! Я вместо него!» Конечно, нравы теперь не те, головы не принято отсекают, но ведь и не требуется! Простое согласие от вас требуется, Феликс Александрович! Так нет! Отказывается! Да что же вы за человек такой? И ведь знаю, казалось бы, я вас! Не идеал, совсем не идеал! И выпить, и по женской части, и материальных потребностей, как говорится, не чужд... И вдруг такая твердокаменность! Не-ет, потрясли вы меня, Феликс Александрович. Просто в самое сердце поразили. Сначала вы не понимали ничего, потом стали понимать, но никак не могли поверить, а теперь и понимаете, и верите... Может быть, мученический венец принять хотите? Вздор, знаете вы, что не будет вам никакого венца... Фанатик? Нет! Мазохист? Тем более — нет. Значит — хомо новус. Снимаю перед вами шляпу и склоняю голову. А я-то, грешным делом, думал: человек я знаю досконально... (Он смотрит на часы и поднимается. Произносит задумчиво). Ну что ж, каждому свое. Пойдемте, Феликс Александрович, времени у нас больше не осталось.

В кабинете тем временем Наташа шарит по полкам с книгами, берет одну книгу за другой, прочитывает наугад несколько строчек и равнодушно роняет на пол. Из угла в угол по разбросанным книгам, по окуркам, по осколкам посуды снует Курдюков, руки его согнуты в локтях, пальцы ритмично движутся, словно он дирижирует

невидимым оркестром. Клетчатый, стоя столбом у стены, внимательно следит за его эволюциями. А Иван Давыдович листает газетную подшивку.

Светает. За окнами туман. Входят Павел Павлович и Феликс.

Иван Давыдович. Наконец-то! (Отбрасывает подшивку.) Итак, Феликс Александрович, ваше решение!

Павел Павлович. Одну минуточку, Магистр. Я хочу сделать маленькое уточнение. Я тут поразмыслил и пришел к выводу, что Ротмистр прав. Отныне я за нашего дорогого Басаврюка. Как говорится, старый друг лучше новых двух.

Курдюков. Благодетель!

Наташа. Я тоже. К дьяволу чистоплюев.

Курдюков. Благодетельница! (Торжествующе показывает Феликсу язык.)

Иван Давыдович (после паузы). Вот как? Н-ну что ж... А я, напротив, самым категорическим образом поддерживаю кандидатуру Феликса Александровича. И я берусь доказать любому, что он, несомненно, полезен для нашего сообщества.

Он бросает короткий взгляд на Клетчатого, и тот, сделав отчетливый шаг вперед, становится рядом с ним.

Клетчатый. Я тоже за господина писателя. Раз другие меняют, то и я меняю.

Курдюков (плачет). За что? Я же всегда за... Я же свой... А он сам не хочет...

Павел Павлович. Во-первых, он сам не хочет. А во-вторых, Магистр, вы все-таки оказались в меньшинстве...

Иван Давыдович. Но я и не предлагаю принимать какие-нибудь необратимые решения прямо сейчас! Уже светло, сделать сегодня мы все равно ничего не сможем, мы не готовы, надо все хорошенько продумать... Господа! Мы расходимся. О времени и месте следующей встречи я каждого извещу во благовремени...

Курдюков (хрипит). Он же в милицию... Сию же минуту!..

Иван Давыдович обращает пристальный взгляд на Феликса.

Иван Давыдович. Милостивый государь! Вам были сделаны весьма лестные предложения, не забывайте об этом. Обдумайте их в спокойной обстановке. И помните, пожалуйста, что длинный язык может лишь принести вам и вашим близким непоправимые беды!

Феликс. Иван Давыдович! Да перестаньте же вы мне угрожать. Ну как можно быть таким самовлюбленным дураком? Неужели же не понятно, что я скорее откушу себе этот мой длинный язык, чем хоть кому-нибудь раскрою такую тайну? Неужели же вы не способны

понять, какое это счастье для всего человечества — что у Источника бессмертия собралась именно ваша компания, компания бездарей, ленивых, бездарных, похотливых ослов...

Иван Давыдович. Милостивый государь!

Феликс. Какое это безмерное счастье! Помыслить ведь страшно, что будет, если тайна раскроется и к Источнику прорвется хоть один настоящий, неукротимый, энергичный, сильный негодяй!.. Что может быть страшнее! Бессмертный пожиратель бутербродов — да это же огромная удача для планеты! Бессмертный энергичный властолюбец — вот это уже беда, вот это уже страшно, это катастрофа... Поэтому спите спокойно, динозавры вы мои дорогие! Под пытками не выдам я вашей тайны...

Они уходят, они бегут. Первой выскакивает Наталья Петровна, на ходу запихивая в сумочку свои косметические цапки. Величественно удаляется, постукивая зонтиком-тростью, Павел Павлович, сохраняя ироническое выражение на лице. Трусливо озираясь, удирает Курдюков, теряя и подхватывая больничные тапочки. Клетчатый не совсем улавливает пафос происходящего, он просто дожидается Ивана Давыдовича. Иван же Давыдович слушает дольше всех, но в конце концов и он не выдерживает.

Феликс (им вслед). Под самыми страшными пытками не выдам!

Умру за вас, как последняя собака! Курдюкова буду беречь как зеницу ока, за ручку его буду через улицу переводить... И запомните: ежели что, не дай бог, случится, я в вашем полном распоряжении! Считайте, что теперь есть у вас ангел-хранитель на этой Земле!

Феликс стоит у окна и рассматривает всю компанию с высоты седьмого этажа. Курдюкова запихивают в кремовые «Жигули», Клетчатый за





ним, Наташа садится за руль, Иван Давыдович — с ней рядом. Павел Павлович приветствует отъезжающую машину, приподняв шляпу, а затем неспешно, постукивая тростью-зонтиком, уходит из поля зрения.

И тогда Феликс оборачивается и оглядывает кабинет. Вся мебель сдвинута и перекошена. На полу раздавленные окурки, измятые книги, черные пятна кофе, растоптанные телефонные аппараты, осколки фарфора. На столах, на листах рукописи валяются огрызки и объедки, тарелки с остатками еды, грязная сковородка.

Дом уже проснулся. Слышно, как гудит лифт, грохают где-то двери, раздаются шаги, голоса.

И тут дверь в кабинет растворяется, и на пороге появляется дочь Феликса Лиза с двумя карапузами-близнецами.

— Почему у тебя дверь... — начинает она и ахает. — Что такое? Что у тебя тут было?

Феликс. Пиршество бессмертных.

Лиза. Какой ужас... И телефоны разбили! То-то же я не могла тебе дозвониться... В садике сегодня карантин, и я привела к тебе...

Феликс. Давай их сюда, этих разбойников. Идите сюда скорее, ко мне. Сейчас мы с вами все тут приберем. Правильно, Фома?

Фома. Правильно.

Феликс. Правильно, Антон?

Антон. Неправильно. Бегать хочу.

## Содержание:

<b>ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ .....</b>	<b>67</b>
<b>ДНИ ЗАТМЕНИЯ .....</b>	<b>117</b>
<b>ТУЧА.....</b>	<b>171</b>
<b>ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА.....</b>	<b>217</b>

**Очень маленький томик получился, но больше киносценариев с журнальными иллюстрациями, нет. Побудет пока таким.**

**Идея, работа с текстом и иллюстрациями by formally**